



ПРУТСКИЙ ПОХОД. ГОД 1711-Й



Москва
АРМАДА
1996



Р. Гордин
**ЖЕСТОКАЯ
КОНФУЗИЯ
ЦАРЯ
ПЕТРА**

*Историческое
повествование*



Москва
АРМАДА
1996

Оформление серии
В. И. Харламова

Рисунок на суперобложке
Ю. Иванова

Иллюстрации
Б. Косульникова

Г 4702010101-26
9СЗ(03)-96 Без объявл.

ISBN 5-7632-0103-5

© Сост., художественное оформление,
комментарии, АРМАДА,
1996
© Гордин Р. Р., 1996

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед настоящим.

А. С. Пушкин

Много лет тому назад мною была задумана трилогия под условным названием «Отчаянные годы царя Петра». Первой в ряду должна была стать книга о несчастном Прутском походе, второй — о Персидском походе, наконец, третьей — о последних днях великого человека, его окружении и преемниках.

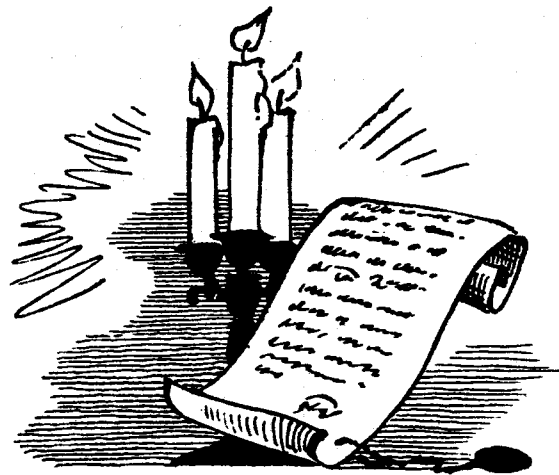
Прихотливое время, как водится, внесло свои коррективы. Впрочем, первая книга — перед вами, ее замысел не претерпел изменений. Вторая? Увы, до второй по труднообъяснимым причинам, как говорится, не дошли руки. Ну а третья... Она вышла в свет в 1984 году под названием «Колокола опалы и свирель любви» с подзаголовком «Ромео и Джульетта на российский

лад». И речь в ней идет о том, как разрушалось наследие царя-реформатора в царствование Петрова внука — мальчишки Петра, об опале «полудержавного властелина» Меншикова и о полной драматизма любви отпрысков двух враждебных фамилий — Меншиковых и Долгоруковых, этих российских Монтекки и Капулетти.

Верный своему обыкновению, я старался и в этой книге строго следовать историческим реалиям, помня крылатое выражение Цицерона: «История — учительница жизни». Он же, продолжая эту мысль, называет ее «свидетельницей времен, светом истины, жизнью памяти... вестницей старины».

Во всех цитируемых документах сохранены стиль и орфография оригинала. Подавляющее большинство писем Петра, приводимых в тексте, писано им собственноручно, а посему и орфография их своеобразна. Этому не следует удивляться: величайший реформатор на российском троне был, по существу, самоучкой и до всего доходил своим умом и опытом.

Автор



Глава первая ДЕСНИЦА ГРОЗНОГО СУДИИ

И Я говорю тебе: ты — Петр,
сиречь камень, и на сем камне Я
создам церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее.

Евангелие от Матфея

Голоса: год 1711-й, январь

Петр из Санкт-Питербурха — М. М. Голицыну

Господин генерал-лейтенант. Понеже мы от посла Петра Толстого из Царя-Града получили весть, ноября от 10-го числа, что султан турецкой против нас явственно объявил войну, и уже войска многия турецкия идут к Каменцу, как о том сказывал приезжий оттуда курьер, который их сам видел, також и от иных посторонних ведомостей

слышно, и что турки намерены сия зимы чрез татар мир нарушить и короля шведского чрез Польшу силою проводить, того ради буде пойдут к Каменцу и похотят оный добывать, и тебе их до того не допускать и с ними биться по крайней возможности, разве что усмотришь гораздо чрезмерную турецкую силу, против которой стоять там будет невозможно... В прочем, что к пользе чините неотложно с помощью Божиею, ибо нам издалека ныне написать вам невозможно, пока сами будем.

Петр — Шереметеву

Господин генерал-фельдмаршал. Получили мы весть от посла Петра Толстого; что султан турецкой конечно против нас войну объявил... Того ради надлежит вам приказать генералам Репнину и Аларту идти с квартир немедленно к Слуцку и к Минску... а наперед отпустить Ингерманландский да Астраханский полки и велеть им идти в случение прямо к князь Михайле Голицыну с поспешением; только накрепко, под жестоким страхом, приказать, дабы полякам никаких обид и разорений не чинили...

Петр — Голицыну

Господин генерал-лейтенант. Понеже татары уже в Украину вступили, того для и вам надлежит в границу вступить и потщиться конечно с помощью Божиею что-нибудь учинить против неприятеля...

Також при вступлении в границу волошскую смотреть того, чтоб не так, как в Польше, поступали и, ежели кто дерзнет, без милости казнить, а буде спустите, то вам то последовать будет.

Петр — послу в Польше Г. Ф. Долгорукову

Г-н амбасадер. Понеже ныне мы получили весть, что хан пришел на Украину, и того для диверсии зело нужно начать сим часы и выступить в

границу... А по нашему разсуждению — или на тот корпус неприятельский, который в Бреслав вступил, или лучше весьма, чтоб в Яссы войтить, и там выбив неприятелей, то место завладеть, о чем и страны неприятельской бедные христиане зело просят. В прочем отдаем вам на разсуждение, куда удобнее, о чем с совету генералов конечно учините...

Меншиков — сестре Анне

...пришлите ко мне Катерину Трубачеву, да с нею двух девок немедленно.

Петр

Ежели, что случится мне волею Божиею, тогда три тысячи рублеф, которые ныне на дворе г-на князя Меншикова, отдать Катерине Васильевской и з девочкою.

Петр — мурзам Кубанской и Ногайской Орды

...По учинении Буджацкой Орде от Хана Крымского и от турок многих обид начальники их Казыгир-султан с большею частию той орды к нам в подданство придти желали...

— Где царь-от?

— Царь-то где?

— Царь... Царя... Царем... Царю...

Шелестело короткое слово, дуновеньем катилось из уст в уста, легко, почти неприметно колебля язычки тысяч свечей. Промерзлый камень собора оттаял, уж парок дыханья оседал в притворе.

— Где царь-от?

Тысячный народ искал глазами царя. Пусто было царское место. Четыре преображенца охраняли его по углам. Царя и близ не было.

Выглядывали по простоте царя в пышном одеянии с державою да с бармами. А приметливые да памятные тотчас углядели его.

В зеленом преображенском мундире стоял царь у клироса. И был виден всем. Потому как возвышался над всеми. И еще потому, что солдатская голова его, с волосом коротким и жестким, стриженная в скобку, неблагоприятная, высоко торчала средь завитых да пудренных париков вельмож.

Успенский собор глухо дышал. Четыре слоновьих его ноги, казалось, подпирали Русь, клубившуюся в сумрачном поднебесье купола.

Служили торжественный молебен. Служил сам преподобный Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола.

Стояло стылое утро двадцать второго февраля по петровскому времени: царь приказал отсчитывать время по-своему, то бишь на европейский лад. Таково отсчитывалась и здешняя жизнь, и ее устроение.

Канцлер Гаврила Иванович Головкин, поворотившись задом ко владыке, читал царский манифест о войне с Турцией.

Манифест был про-о-тяженный. Гаврила Иванович хоть и репетировал допрежь публичного чтения, все ж косноязычил, сбивался и поскрипывал:

«Известно да будет всем, кому о том ведати надлежит... коим образом ныне владеющей салтан турский Агметь... тридесятилетний мир без всякой данной ему от его царского величества причины разорвал и войну в Цареграде прошедшего 1710-го в ноябре месяце публично объявить повелел... И того ради его царское величество, уповая на правость и справедливость оружия своего, намерен против одного вероломного и клятвопреступного неприятеля своего салтана турецкого и его союзников и единомышленников войну в Божие имя во оборону свою начинать...

И для того повелел войскам своим главным отовсюду к турским границам итти, куда и само особою своею вскоре прибыть изволит...»

Много чего было в царском манифесте — велеречивого и туманного, худославного и просторечного. Проще же всего было короткое и жесткое слово — война. И хоть утягивалась она за тридевять земель в тридесятое царство — Туретчину, но всяк понимал — дотянет до каждого, ко всем прикоснется жадными насытыми руками своими, отберет, окровавит, убьет...

Изнемог читаючи Гаврила Иванович Головкин, голос его вовсе истончился, то и дело запивал он царский манифест квасом. Казалось, вот-вот замолкнет и падет на каменный пол. Но, встрепенувшись, продолжал и дочитал-таки до последней точки.

Царь пожалел своего канцлера. Обернувшись к доверенному своему кабинет-секретарю Алексею Макарову, сказал:

— Экой двуличный: почитай два часа читал. Я бы не стерпел, — и он переступил ногами. Да, царь Петр был зело нетерпелив, то все за ним знали и не отваживались перечить. Он любил движение, быструю езду, всякий непокой. И тут, в соборе, меж долгой службы в одеревенелом состоянии чувствовал он себя не в своей тарелке.

Но надлежало терпеть, долг повелевал терпеть разные несообразности — долг его царского величества, который был в полном титуловании — об этом тотчас надлежит объявить — «Божией поспешествующею милостью... пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь смоленский, тверский, югорский, пермский, вятский, рязанский, ярославский, белоозерский, удорский, обдорский, кондинский и все

северные страны повелитель и государь Иверские земли карталинских и грузинских царей, и Кабардинской земли черкасских и горских князей, и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич и наследник и государь и обладатель...».

Всего этого было чрезмерно, и он приказал довольствоваться многозначительным «и прочая, и прочая, и прочая». Этого вполне хватало для утверждения его царского достоинства. Но дяки Посольской канцелярии писали по артикулу, и он подписывал не глядя.

Он был государь и обладатель — этого было вполне достаточно, этого хватало с избытком. Большинство к длинному этому списку титулования было присоединено батюшкой Алексеем Михайловичем, да и того прежде — Иваном Васильевичем с иными прочими не их романовского корня. Он же еще не определился пока, как ему писаться с новыми у шведа и у турка отвоеванными землями. Успеется!

Бумаги важные, письма конфиденциальные писал главным образом самолично, подписывался просто «Петр» либо «Piter». Любил слова простые и умел их то посахарить, то посолонить весьма круто.

Царь был крут и самовит во всем, а потому его более боялись, нежели любили.

Господь вельми постарался, произведя его на свет: все было в нем чрезмерно — рост, сила, ум пронзительно-острый, хватка, движения, голос, гнев либо милость, мужская жадность, голод и жажда, прямота без околичностей... Все, чего он достиг, произвел своим умом, силою, руками, — учителя были хилы и немощны.

Но всюду — на земле ли, в текущих либо стоячих водах, в самом поднебесье, в людях и скотах, в смердах и боярах — незримо витал долг. Он оковывал всех, однако же царя более всего. Ибо он был над всеми и должен был показывать пример повиновения долгу. И вот здесь, в Успенском соборе, на торжественном бо-

гослужении о даровании победы над супостатом, царь Петр в очередной раз испытывал муки долга.

Долг обязывал его покорно выстаивать всю тяготную церемонию. Она длилась уже более трех часов, а еще преосвященный не отпел и половины положенного.

— Муку мученическую терплю, — шепотом густым — все невольно обернулись — сообщил царь Алексею Макарову. — Пузырь полон, не ровен час изольюсь...

Немногословный Макаров понимающе кивнул — он был великий уловитель слов и даже мыслей своего повелителя, а потому ценим и оберегаем им. Алексей тронулся с места и пошел впереди, прокладывая дорогу царю. Денщики шли по бокам, бесцеремонно расталкивая толпу руками и плечами. С холопьем ладу не было: норовили протиснуться к царю, пасть на колени, ненароком коснуться одежды...

Царь с Макаровым выбрались на волю через охранявшийся патриарший придел. Стылое февральское солнце нехотя выкатывалось из-за зубчатой стены. Пахло снегом, дымком и еще, пожалуй, покамест неблизким рождением весны. Снежную пелену у придела изжелтили пятна конской мочи и затейливые дорожки чело-вечей.

Петр повернулся спиной к Ивану Великому, перекрестился и буркнул:

— Пушай смотрят, как царь опростается.

Зрители были в стороне, за строем топтавшихся на снегу окоченелых семеновцев.

— Облегчил Господь, — буркнул Петр. — Эк ты долго, Алексей.

— Застоялся, царь-государь. Все во мне застоялось.

Петр согласно покачал головой: эх, стояния было много и еще пребудет столько же.

Вошли. После зимнего благорастворения дух в соборе показался влажным, потным и нечистым, хотя и отдавал топленным воском и ладаном.

Служба шла своим чередом:

«Державного в крепости и сильного в бранех Господа рождающая Чистая, державною Твоею всемогущею рукою собори нам на враги борющиеся нас... Сennaхерибово якоже иное воинство вкупе потреби, и нынешнее все воинство, обошедшее нас, варварское, державною рукою Твоею, Владычице. И ныне: Тебе на борющиеся нас горькие враги против вооружаем и движем на них...»

Хор мягко выдохнул:

— Слава, слава, слава!

Варварское всевоинство, доносят конфиденты, уже собрано под зеленые стяги пророка, а царь только принялся собирать свое. Там, за стенами соборными, заколели его царские полки — Преображенский и Семеновский, ждут освящения стягов и хоругвей. Под их святой обороной — марш-марш! — в поход на юг, все на юг, к широкой реке Дунаю, в земли дальние, манившие и страшившие.

Он-то, царь, войны не страшился. Он был весь сложен для брани и неустанного движения, он был человек военный, человек походный. Но прежде всего — го-су-дар-ственный. Страх, испытанный в отрочестве, в юности, был смыт без остатка военными потехами, смертями близких, кровью вражьей и бунтовщицкой, обильно пролитой его царским палахом либо саблею.

Это все осталось позади. И Полтава осталась позади. Она его вконец освободила, развязала те малые завязочки, что еще остались где-то там, изнутри. Полтава дала ему ту легкость и свободу, ту полную уверенность в себе, уверенность всеконечную, которую прежде он в себе не испытывал. Пришло понимание, которое сродни откровению. Он знал, что одержит викторию в войне с турком. Он был в том непоколебимо уверен...

Возглашал Стефан:

— Сии в колесницах многих и на множайших конех, мы же людии Твои, во имя Твое призываем ныне и во-

пием: спаси ны, Владычице. Крепость и силу давай немощным и рог возносяй рабов Твоих, Христе, верному Твоему воинству, на варвары враги крепость подавай рождающе Тя. Воинство варварское, собращается от языков безбожных, огнем и зрящее и дышущее, радуется о убийствах и заклятиях и брань совоздвизает, Твоим рабам, Владычице, помози.

И снова хор выдохнул:

— Сла-ва!

«... А ведь султан там, в землях своих, среди своих рабов, — продолжал размышлять Петр, ибо мысль его витала в далеких пределах. — И все ему сподручно: и огневой припас, и амуниция, и солдатский харч, и конский корм... У меня же там союзники шаткие, можно ль станет на них положиться?»

О коне задумался он. Солдат выдюжит все, ремни варить станет, кору собирать, мало ли что... А конь в бескормицу падет. Коли трава выгорит, что в тех жарких странах не в редкость, то фуражу не запастись... Солдат да конь — опора войны. Конь обоз тащит, пушки, кавалерию... Не ровен час — и собою солдата прокормит... В столь дальние пределы не можно без коня. Сказано: добрый конь подо мною — и Господь надо мною...

Есть союзники, есть — Божьим соизволением. Господарь молдавский Кантемир, валашский — Брынковяну да и иных единоверных — сербов, болгар, черногорцев... Все сулились стать под его, Петрову, царскую руку, поднять меч за веру Христову.

Посулам, впрочем, цену знал — особенно коли посульщик за тридцать земель. Нет, надобно на себя, только на себя уповать, приготовления произвести с основательностью да с осмотрительностью, двигаться с поспешанием, однако в движении скором не обессилить солдата...

— Меч излей, Чистая, и заключи всех сопротивных ныне на ны борющихся врагов: побори враги крепостию

молитвы Твоея,— просил неожиданно напрягшийся голос.— Лук медян соделай людей Твоих верныя избранныя мышцы: и препояши их силою и крепостию, препепорочная, с небесе подая им силу... да не варварстии языцы накажут нас... Миру спасительница, Царица воспетая, град сей сохраняй... взятия горькаго пленения и нашествия избави...

— Слава! — возгласил хор, и облачко дыхания, словно некий дух, порхнуло над ним. Колебнулись свечные язычки паникадил, будто выполняя условленный экзерцис, и снова стали в ровный строй.

Медленно истаявали свечи, столь же медленно двигалась служба. Высокопреосвященный Стефан, воздев руки, произносил проповедь о нашествии варварском, о враге Святого Креста.

И царь продолжал думать о нем. Более чем когда-либо он нуждался в духовной опоре, он, привыкший во всем опираться на мысль и волю свою, превозвысивший все свои желания.

Ныне же слабое смущение запорхнуло в его душу и, мало-помалу разгораясь, поселилось там. Нет, не призраки войны то был: война казалась ему привычным и достойным занятием государя, принужденного отстаивать либо расширять свои пределы... Воинская сила была единственной опорой в любом споре. Сила надобилась ему и в этой войне, которой, впрочем, он не хотел. Не хотел об эту пору: годов эдак через десять взялся бы. Ради утверждения России на морях южных: на Азовском и Черном. Ныне же со шведом еще не развязался.

Будущее виделось ясно: чрез моря — флот российский, чрез него — могущество военное и торговое, приращение мануфактур. Бегут корабли под российским флагом из моря Белого в море Балтийское, а оттоль в Европу и таинственную Африку. А еще — бегут корабли по Волге-реке в море Каспийское, а оттоль к персианам и иным народам вести торг. А ежели по Днепру

да Дону в море Азовское, а оттоль в Черное море путь пробить...

Ради сего старался: завязывал союзы с государями, строил флот, покровительствовал ремеслам да художествам. И укреплял армию — она в единой связке с флотом. Созывал отовсюду умелых воинских людей, генералов, адмиралов, офицеров и капитанов да своих посылал за наукою к иноземцам, денег на то не жалея.

Обилен плод. Побит устрашавший Европу Карл шведский, отсиживается теперь в турках, опасаясь возвращаться в свое королевство, строя планы отмщения с опорой на турка. Должно быть, там, в полуденных странах, и может решиться их спор. Но сколько для сего надобно трудиться...

Служба под сводами храма едва касалась ушей царя — заботы были от нее далече. Однако же читали «О царе и воинстве его».

— Божественной Твоею силою, и враги его предавай подручники ему... иже царю и пророку Давиду крепость давший на сквернаго онаго Голиафа, и вконец его погубивый: иже угодником Твоим Моисеем род Еврейский свободивый от горькой работы, и Фараона непоборимою Твоею силою и крепкой Твоею рукою со всевоинством потопивый, и отславыи его глубине морстей... Сам и ныне Царю славы, низпошли от святаго жилища Твоего, от престола славы царствия Твоего столп световидный и пресветлый в наставление и победу на враги видимые и невидимыя Державнейшего и Святейшего моего Самодержца и укрепи его десною Твоею рукою, также с ним идущия верныя рабы и слуги: и подаждь ему мирное и немятежное царство... и разруши вражды и распри восстающих на державу его...

Последние слова владыка Стефан произнес без достойного напора. Но протодиакон густым басом исправил оплошку:

— Ты бо еси Царь мира и Спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отце и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков, аминь!

— Слава, слава, слава! — грянул хор.

«Эх, укоротить бы Стефана», — с тоской подумал Петр. А ведь еще предстояло выстоять Образ отрицания сарацинского, то бишь турецкого зловерного нечестия.

Вопрошал высокопреосвященный:

— В-первых, вопрошаю Тя: аще отрицаешься всяя богопротивныя турецкия веры и всего их скверного мудрования...

Клир скороговоркой выпевал:

— Отрицаюся всяя богопротивныя турецкия веры и всего их скверного мудрования.

— Отрицаешися Мехмета, его же турцы яко Божиего апостола и пророка чтут, и проклинаеши ли его яко диавольского, а не Божияго слугу и лживого пророка?..

Далее шло отрицание Ресулла и Алиа, зятя Мехметова, и Хасана и Гусейна, сынов его, и Абубекира, и Омера, и Талхана, и Абупакрина, и Садукина, и Зупира, и еще многих с именами похожими и звучными.

«Чрезмерна эта нетерпимость к турецким святым, — думал Петр, — да и много в церковных книгах напутано было, и не преуспел Никон в их полном исправлении. Разве что одно успел — претерпеть от темных, невеж-ных. И вот я от таковых же терплю всяческие поношения. В книгах же церковных черноты да беспонятицы — сами служители Божии растолковать не могут...»

Тем временем стали отрицать первых и сквернейших от жен Мехметовых и Фатману, дочь его. Имена жен тоже были непривычные: Задизе, Айше, Зеннеп и Им-келфиму...

«Жены-то при чем? — продолжал размышлять Петр. — Жен бы надо оставить в покое. Знатоки мусульманский Шафиров сказывал, что закон турецкий дозво-

лял иметь четырех жен законных и без счета рабынь, наложниц стало быть. Будто бы заповедан сей обычай со времен пророка: Мехмет-де был женолюбив и еди-новерцам не возбранял.

Что ж, в том есть правда: коли у христианского на-рода детишки зело мрут, то уж у нехристей, должно, само собою. Таковой закон служит ко умножению рода, притом мужами сильными и достаточными».

Он, Петр, женолюбив и не намерен сего скрывать, ибо таково мужское естество. Однако церковь возбра-няла и отрицала. Более всего по бедности и скудости паствы, а еще по образу и подобию священства.

«Одобряю закон Магометов, — решил царь. — Было бы у нас по-ихнему, не испытал бы нужды в наследни-ке престола, мог бы выбрать достойнейшего из зачатых. Нет, вовсе не худо задумали нехристи: коли есть доста-ток, отчего не завести лишних-то жен...»

Его, Петра, матушка женила против воли, нимало не дав испытать себя в сладком грехе. С Авдотьей сладости не отведал. И кабы не учителя на Кукуе, особенно Франц Лефорт, царствие ему небесное, истинного вкуса не понял бы. Эх, ему бы тогда мусульманский-то гарем! Он бы потруждался в нем во всю мочь. И избрал бы себе спустя время жену не токмо по душе, но и по те-лу. Четыре жены — лишек: начнутся свары, неудоволь-ствия, соперничество, придется разбирать, а то и, упаси Господь, растаскивать. Нет, на четырех не согласен, а супротив, к примеру, двух не стал бы возражать: одна другой замена, одна перед другой норovit угождение выказать, одна другую перещеголять, одна плодна, дру-гая ялова...

Думал обо всем об этом с усмешкою, ан глянул на позолоченные-то ризы, и улыбка погасла. Вспомнилось: когда отринул Авдотью, когда приняла она монашеский обет, и архиереи, и попы, и бояре иные оуждали его всяко. Он-де завет Господень нарушил, священность и таинство брака... И понесли-покатили. Авдотья-де из

славного боярского рода Лопухиных, стало быть, и боярству некий урон. Она-де была законная царица, то бишь совладычица, патриархом и первыми персонами в государстве признанная. Романовы, мол, так не поступали...

Царю никто не указ. Эвон, царь Иоанн по прозванию Грозный со своими царицами — семь у него их было — тоже иной раз не церемонился, и никто ему в том препятствовать не смел. Царь своеволен и по-царски, вот что... У нехристей этих, у турок, рассказывают сведущие люди, мулла не препятствует мужу изгнать неугодную жену, будь хоть тот муж из холопов...

Он, Петр, почитал установления церкви, превыше же всего Господа, а не земных слуг его. Богу — Богово, а кесарю — кесарево.

Господь, слава в вышних, надоумил упразднить патриаршество. Власть должна быть едина, а коли она поделена, то и умалена. Царь единовластен, двум царям не бывать. Пробовали: посадили на трон его с Иваном. Всяк зрил умаление власти, то бишь безвластие, хоть и были они в согласии. А что вышло? Поделились на партии: Милославских да Нарышкиных, стало меж них прекословие — тайное либо явное.

Царь и патриарх — двое владык верховных, ровно два царя в едином государстве. Двенадцатый год со времени успения патриарха Адриана. Дряхл был, немощен, а все тщился владычествовать, править по-своему не только в церкви, но и в миру...

Так вот и живем — двенадцатый год без патриарха. Роптали духовные: несвычно-де так жить православному люду, грех да непристойство. Во всех-де христианских царствах-государствах высшие духовные пастыри ведены в славе и почете.

«У нас отныне будет по-иному», — отрезал тогда он бившим челом первосвященникам. Как это — по-иному, — ответа не дал, недосуг было, война со шведом шла. Покамест определил в местоблюстители патриар-

шего престола митрополита Рязанского и Муромского Стефана — человека благовидного и высокой учености. Был разумен. Однажды в проповеди объявил: «Вожделение или похоть сама собою несть грех, но вожделение, на зло употребляемое, с безчинным произволением соединенное, то есть грех».

Запомнились ему слова эти: ибо вожделел и похоти не чурался. Смелость, с коей слова эти были произнесены, беспримерная в устах православного владыки, подкупила и утвердила его в верности выбора...

«Отрицаешилися всего богохульного писания проклятого Мехмета, еже нарицается Алкоран, и всех учений и законоположений, и преданий, и хул его? — осыплым от напряжения голосом вопрошал между тем Стефан. Видно было, что и он изнемог и не чает поскорей окончить: сбавил тон, перешел на скороговорку, многие слова комкал либо проглатывал. — И яко богопротивна и душегубна и хульна суца, проклиная...»

— Отрицаюся Алкорана и всего писания и учения, — с охотной торопливостью подхватил хор, и эхо заметалось и заглохло под необъятным куполом.

«...А сей Алкоран есть книга, не лишенная мудрости, и вовсе не след ее проклинать, — продолжал размышлять Петр. — Тем паче что Шафиров сказывал про Мехметов Алкоран прелюбопытно. Мол, перенес он туда из Священного Писания и Иисуса — по-ихнему Иса, и Авраама — Ибрахим, и Исаака — Исхак, и Иосифа — Юсуф, и многих иных, равно у них почитаемых.

Бог, надо понимать, един, и установления у него единые для всех племен и языков. Только всяк язык устраивает его по-своему, глядит на него своими глазами, поклоняется ему по своим обычаям. Иначе где бы поместились все эти боги, великое множество богов. Неужто все на небе?

Сойдутся в поле две армии — российская и турецкая, станут призывать одни Иисуса, другие Аллаха, а Бог рассудит по-своему: какая сильней да умней, та и победит...»

— Отрицаешились всех льстивых и хульных учителей турецких, и всех богохульных и блядивых басней Мехметовых, и по нем бывших всех... — Голос Стефана совсем упал. Впрочем, уж мало кто внимал ему, кроме прислужников. — Яже суть о бозе некоем всекованном, о раи же и о скотском в нем и скверном их по воскресении житии, и еже о брацех и брачных разрешениях, и всех о женах и наложницах нечистых, и сим подобных его, и восприемников его скверных повелений и ставов... »

«О брацех и брачных разрешениях», — повторил про себя Петр то, что весьма занимало его последние дни, о чем мало кто знал даже в Преображенском. Более всего хотелось ему туда сейчас: устал и озяб — духом и плотью.

Страшно подумать, что было бы, ежели бы Господь дал веку матушке Наталье Кирилловне! А ведь могла бы еще жить: ныне было бы ей всего-то шестьдесят да два года. Преставилась же, царствие ей небесное, сорока трех лет... Прознала бы про его брачное намерение — поперек бы легла, чего доброго и прокляла б. По крутому своему нраву, как есть прокляла бы, как ныне Стефан блядивых святителей турецких. Нарышкины были все таковы — нетерпимы да неукротимы, норовом он в их породе.

Не дал Бог веку и дяде Льву Кирилловичу, он матушку, впрочем, на десять лет пережил, правда, был много ее моложе. Тож не одобрил бы его, хоть и без матушкиной страстности. А ведь нравен был покойник, вечная ему память, много помог, однако смышлен и сноровист был, особливо в делах посольских...

Мало ныне, мало Нарышкиных на сем свете, пальцев на руке достанет, коли перечесть, извели их годы и смуты. Родня все-таки верная опора: дядя Лев с верностью, ревностью и мудростью правил на царстве в отсутствие племянника.

У кого ж поискать совету в сем неслыханном деле — его деле, но и государственном тож. Ибо ему, царю,

ответ держать перед царством. И не только пред своим, но и, как обычай велит, пред иноземными потентами.

После Полтавы он у них у всех на виду. Еще бы: грозу Европы всей разбил в пух и в прах. Победителя, известно, не судят, но охулят непременно.

Прикрытия не было: тут волею своею, желанием своим не прикроешься. Хоть воля и желание царские. Укажут на попрание священного обычая государственного.

Многое пограл, на многое, освященное обычаями, посягнул смело, без оглядки. Но в столь деликатном деле, смешно сказать, робел...

Владыка продолжал с трудом выталкивать из себя слова:

«Отрицаешились всех скверных, еже о молитвах Мехметовых, уставлений и яже в Мехху поклонений, и иже в нем молитвенного дому, и того самого места, нарицаемого Мехс, и всего обдержания его, и всех собраний, и молитвенных обычаев турецких... »

«Эк, сколь далеко забегли святители-то наши, — осердился вдруг Петр. — Можно ли, пристойно ли отрицать чуждые молитвы и обычаи?! Что город, то и норов, что народ, то обычай не тот. Взять латинскую веру: Бог у нас один, а обряды разные. Проклясть ли их?»

Он привык ничего не брать на веру, все испытывать на оселке сомнения. Только так открывалась истина. Мысль с годами оттачивалась, обострялась и убыстрялась, становилась все дотошней, все сердитей. Да, сердитей, ибо много претерпел в молодости из-за доверчивости своей, да и ныне случается... И многое из того, что исстари почиталось истинным и неложным, разрушалось при свете пытливой мысли. Хотелось многое перепроверить. Озадачивал вопросами, узнавал непознанное, мир же был неохватен...

Вот и в сем тяжком случае — Петр верил в это — надобно рубить, а не оглядываться. Бог на его стороне,

ибо чувство его не ложно, а от сердца. Видно, Он свел, соединил, по его воле все деется. Перст это Господень!

Можно открыться Алексею Макарову. От него ничего не уйдет, до времени на нем замкнется. Ему же и поручит объявление сделать, когда все слажено будет. С кабинет-секретарем повезло: скромненький да молчаливый, лишнего не промолвит, скор в деле, слог имеет ясный, мысль тотчас подхватывает и не упускает. Он и не озадачится и нечто верное присоветует: привык к прихотливой воле своего повелителя.

В Преображенском же одна Наташа, сестрица любезная, в сию тайну посвящена, остальным же до времени сказывать не велено. Дорогою обмыслит, на кого еще можно положиться...

Долгонько он нес в себе эту ношу, пора и скинуть. Смешно сказать, но была она грузней многих прочих. Вот здесь, в главном храме московском во имя Успения Богородицы, он ее и скинет. Поглядим, подаст ли она, Владычица, знак благоприятия. Ей ведомо, в каком грехе живет раб Божий Петр, Питер, царь московский и многая прочая, шаутбенахты флота российского. Да, грешен. А кто из вас без греха? Где ныне истинные праведники? То-то!

Все ведомо на небесах. Там сочтены все его метрески. Но таковой царский грех не есть грех. «Ныне отпускаешь раба Твоего по глаголу Твоему с ми-и-ром».

Ну вот, отлегло, скинул ношу душевную, все для себя порешил, а другим до того дела нет. И служба, благодарение Богу, спешно двигалась к концу. Клир и хор вторили друг другу устало, нестройно, без должной лепоты, приличествовавшей храму сему и самому событию. И владыка Стефан, словно бы прищипоренный приглашением и обретший свежее дыхание, спеша достойно завершить церемонию, распевно повел:

— Премудрость созда себе дом во царе и господине Петре и укрепи дом сей многожды и всяко. Все житие

свое в воинских делах изнуряет, еще отроком будучи, строить крепости и тын добывать, строить корабли и на тех же водным бранием поучатися, полки строить, пущечными громами тешиться — то его бывало воинское игрище...

Поперхнулся местоблюститель патриарший слюной умиления. Отхлебнул из чаши, тотчас поднесенной дьяконом — такое со владыкой не впервой случалось, и питье было наготове, — и голосом севшим, утомленным, но умильным продолжил:

— Никем же государь наш не гнушается, всякого, кто просит и требует, посещаеши, убогия хаты не презираеши, царских своих неоцененных порфир и венцов никогда же не употребляеши, толикия дальния разстояния подлыми поездками сам трудишися, воинские дела, аки един от воинов управляеши, делом работным скипетроносныя руцы свои труждаеши, и прочими неизчислимыми трудами, рабам своим приличными, здравие себе умаляеши. Провозгласим же славу многократно государю нашему!

— Слава, слава, слава! — теперь уже не только духовные и хор, но и весь храмовый люд восславил царя.

Петр скосил глаза, зоркие от природы и хватавшие далеко, и с высоты своего роста увидел, что многие лишь беззвучно рты разевают, иные и вовсе головы долу клонили. «Антихристу кляп!» — уловил он негромкое, но отчетливое где-то позади. Не обернулся, сделал вид, что не слышит. «Схватят, должны схватить смутителя», — беззлобно подумал он. В храме было не мало своих людей понаставлено, им должно видеть и слышать.

Его же продолжало занимать другое, хотя он и решил скинуть эту ношу. С новой силой воспрянет гоношение про антихриста, коли будет о том объявлено... На каждый роток не накинешь платок. Как ни странно, но трудней всего оказалось преодолеть себя. Обычно он легко принимал решения, в истинности которых был уверен. Но тут нашла коса на камень!

«Эх, моя воля — мой ответ!» — махнул рукою, как бы отгоняя наваждение. Жест не озадачил окружение — привыкли ко всему. Высокопреосвященный же Стефан понял его по-своему: продолжай, мол, одобряю. И зачастил:

— Храбрости достохвальные всероссийского Геркулеса и пресветлейшего и великодержавнейшего, Богом венчанного и Богом управляемого, великого государя нашего и царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России автократора ныне хвалим и преславной виктории над хищным воинством агарянским, Мехметовым нечестивым скотским стадом призываем. Да пребудет десница Божия над тобою, государь наш!

Стефан глядел теперь прямо на него. И во взоре его был некий призыв. Мол, надо идти к нему, преклонить колено, получить благословение...

Царь не любил всех этих церемоний, но понимая их обязательность. Нехотя приблизился — почитай в два шага, ибо шаг был истинно Геркулесов. И все свершилось с должным благолепием: благословение и помазание.

— Осеняю, благословляю и мечом архангельским непобедимым препоясаю, — скороговоркой бормотал Стефан.

— Царь я, царь, — неожиданно буркнул Петр, и владыка смешался. Смешались и остальные. Могло ли им прийти в голову, что возглас этот не для них, а для тех, кто вздумал бы противиться ему. — И воля моя есть царская повелительная воля! — закончил он.

— Пресветлый царь-государь, не изволь гневаться, — пробормотал Стефан недоуменно, — ни в чем вины нашей нету, и воле твоей никто не дерзнет прекословить. Она есть царская вышняя воля...

Петр поднялся с колена и снова вырос над всеми. Он был несколько сконфужен: забылся, смутил, все о своем, наваждение...

— Ныне отпускаеши... — привычно произнес Петр.

— Да будет мир душе твоей, государь, — обрадованно произнес Стефан, — и да свершится одоление полное и решительное над враги агарянския...

Видел митрополит: некое беспокойство колебало душу царя, а не знал, какова причина. И никто не знал. Оттого-то и опасались, ибо знали за царем вспышки беспричинной ярости. На самом же деле вовсе не беспричинной. То был недуг, который наложился на крутой норой царя. Некто черный и страховидный — по представлению того же Стефана — в нем поселился, в этом непомерно долгом, не очень-то складном теле, и вот живет и терзает царя, близко подошедшего к своему сорокалетию. Помнили: сильно пуган был в молодости, видел кровавые беснования стрельцов, сбрасывавших Нарышкиных на копья, секших их бердышами. Бежал вместе с роднею и верными под защиту Троице-Сергиева монастыря. И вот с той-то поры и случился с ним родимчик...

Может, и так. Но ведь зело разумен был царь, безо всякой духовной порчи, равно и без телесной: серебряные тарелки в трубку свертывал, не было ремесла, в коем не испытал бы себя с поразительным искусством. Нет, никак не смахивал на недужного — редкостною силою и непрестанным, не знавшим усталости и покоя напряжением тела и духа.

— Винюсь, коли благолепие нарушил, — вырвалось у царя, и он наклонил голову как бы в знак смирения. Но смирения не было: слишком высоко посажена была эта голова, даже преклоненная.

Мало кто ведал о беспрестанной и мятежной работе его души, его нетерпеливой, рвущейся вперед мысли. Им-то казалось: во храме — и мысль храмовна. Нет, царь был не таков, как все, и смирения не ведал.

Кончилось действие, и процессия потекла из храма. Несли знамена, хоругви, кресты, святые дары. Кадильный дым мешался с дыханием тысяч уст. Два знамени

осеняли гвардейские полки — под ними они должны были тронуться в поход. На первом из них было вышито: «За имя Иисуса Христа и Христианство», на втором — излучавший сияние крест и надпись: «Сим знамением победиши».

Трубачи истово дули в свои промерзлые трубы, выдувая хриплые, словно бы промерзлые звуки. Закаменевший солдатский строй колыхнулся, лица были жухлые, посинелые, и Петр ощутил легкий укол совести: сколь можно держать на холоду!

Оборотился, крикнул что есть мочи:

— Полки в поход! С Богом, ребяташки!

Не пошли — побежали бы! Притоптывали на ходу, прихлопывали, растирали уши, хлопали друг друга по спинам под пронзительный визг дудок, осатаневших с морозу. Поход обещал быть долгим. Они шли туда, где, как их уверяли, нет зимы, а деревья отягощены диковинными плодами. Стало быть, так, коли говорят начальники. А пока старались изо всех сил разогнать по жилам стылую кровь.

Духовные крестили и благословляли на ходу. Толпа все вываливалась и вываливалась из бездонного храмового чрева. Ивановская площадь была заставлена санными экипажами. Морды лошадей заиндевели, они стали похожи друг на друга и на диковинных зверей.

Ждали царева приказа: ехать либо погодить.

— Отпущай всех, — велел Петр Макарову. Кабинет-секретарь махнул рукой, и все мгновенно и радостно поняли этот жест.

— Ты, Алексей, со мною поедешь. А денщикам скажи — пушай за нами верхами скачут.

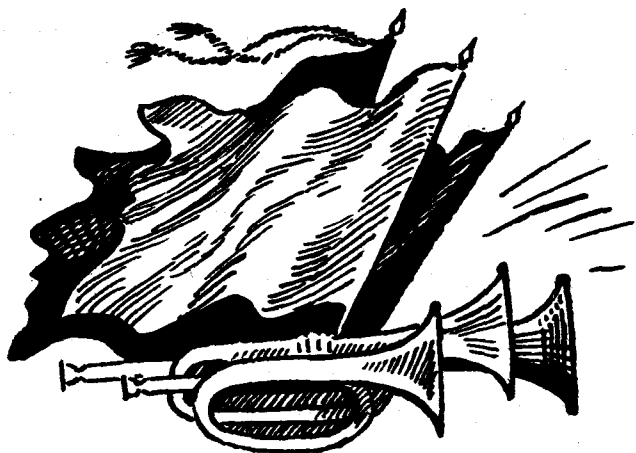
Подкатил царский возок одвуконь. Еле поместились вдвоем на сиденье. Макарову пришлось в очередной раз дивиться нецарской неприхотливости своего государя — ездил как простой купчина, а то и того хуже.

— Потрактует о некоем тайном деле, — начал Петр и замолк.

Молчал и Макаров. Он давно успел привыкнуть ко всем странностям царя, к его привычке решать многие дела на ходу, по большей части единолично. Он же был добросовестный исполнитель, ухватывавший мысль царя на лету... Но чтобы держать с ним совет о некоем тайном деле, да еще касавшемся лично его царского величества?..

— Чего молчишь? Готов ли?

— Слуга ваш, царь-государь, — отвечал Макаров, наклонив голову.



Глава вторая НЕКОТОРОЕ ТАЙНОЕ ДЕЛО

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.

Евангелие от Матфея

Голоса: год 1711-й, февраль — март

Стефан Яворский

От головы начинает рыба смердеть, от начальников множится в собраниях бедство.

Князь Борис Куракин, свояк царя

... в то ж время Александр Меншиков почал приходить в великую милость, и до такого градуса возшел, что все государство правил...

Характер сего князя описать кратко: что был гораздо среднего и человек неученой, ниже писать что мог кроме свое имя токмо выучил подписывать, понеже был из породы самой низкой, ниже шляхетства...

Карл XII — султану Ахмеду III, из Бендер

...Обращаю внимание вашего императорского высочества на то, что если дать царю время воспользоваться выгодами, полученными от нашего несчастья, то он вдруг бросится на одну из ваших провинций, как бросился на Швецию вместе со своим коварным союзником, бросился среди мира, без малейшего объявления войны.

Крепости, построенные им на Дону и на Азовском море, его флот обличают ясно вредные замыслы против вашей империи. При таком состоянии дел, чтобы отвратить опасность, грозящую Порте, самое спасительное средство — это союз между Турцией и Швецией: в сопровождении вашей храброй конницы я возвращусь в Польшу, подкреплю оставшееся там мое войско и снова внесу оружие в сердце Московии, чтобы положить предел честолюбию и властолюбию царя.

УКАЗ Г-НУ ФЕЛЬТМАРШАЛУ Г. ШЕРЕМЕТЕВУ

Ехать самому к Припети и гати ныне на снег и лед положить (дабы лед под покрывкою долее мог быть), также мосты или перевозы сделать, дабы как гвардию, так и рекрут, как возможно, перепустить через Припеть скорее также провианту собрать на месяц или недели на три.

Piter (собственноручное)

Две вражеские армии, впитывая в себя извилистые прихотливые потоки, ручейки и ручьи пополнений, малопомалу разбухая и оттого теряя форму войска, клубясь, ползли навстречу друг другу.

Движение было медленным — именно ползли. Разбитые ими биваки подолгу не снимались с мест, съедая, вытаптывая, пожирая и поглощая все окрест. Оставались после них черные плешины кострищ, сломанные, ободранные деревья да груды обглоданных костей.

Предводители не торопились: на смертоубийство не торопятся. Да и слишком велико было расстояние, разделявшее оба войска, слишком неопределенны обстоятельства, развязавшие войну, и непредсказуемы ее политические и военные последствия. Понятно: то была прежде всего стычка интересов и влияний европейских государств — неравнозначных и неравновлиятельных, но равно претендовавших на влияние и значение. Они стояли позади Турции и России, двух колоссов — дряхлевшего и как бы нарождавшегося вновь, наращивавшего силу, — и делали ставку на каждого из них. Турецкая ставка, признаться, была выше. И вот Европа замерла в ожидании, ибо, покамест армии сходились, многое могло измениться самым непредсказуемым образом.

Ждали со всех сторон. Ждали рекрутов, провианта, денег, пушек. Ждали первой травы — более желанной, нежели первый снег для легкобегучего санного пути.

Трава, известное дело, нужна была лошадям и волам — главной движущей и кормящей силе войска. Их значение было едва ли не равно солдатскому. Поди попробуй без них!

А пока царские полки — Преображенский и Семёновский — месили волглый снег, проседавший под ногами после первых, еще робких оттепелей, уже в нескольких переходах от древней столицы. Полки и батальоны текли и текли на юг с запада и востока.

На Москве же к войне готовились по-государственному. Приказано было господам министрам и всей верховодной братии собраться в Грановитой палате. Мало кто знал, чего ради собирает их царь. Притекли все — даже те, кто прежде сказался больным.

— Государство, всем то ведомо, зачало войну сугубо против нашей воли, — невесело произнес Петр. — И, как мы отбываем к армии, то и власть должно оставить в целую крепкую, да и быстродейственную, понеже нас не забудет. Чти указ, Гаврила Иваныч.

Гаврила Иванович Головкин, канцлер, то бишь, если мерить на европейский манер, — второе лицо в государстве, вышел вперед и, развернув бумажные листы, скорчил соответствующую мину, сведя широкие брови к самой переносице и от волнения забыв поправить съехавший набок парик.

«Повелеваем всем, кому о том ведать надлежит, — читал он надлежащим голосом, — как духовным, так и мирским, военного и земского управления вышним и нижним чинам, что мы для всегдашних наших в сих войнах отлучек определили управительный Сенат, которому всяк и их указам да будет послушен так, как нам самому, под жестоким наказанием или и смертию, по вине смотря. И ежели оный Сенат, чрез свое ныне пред Богом принесенное обещание, несправедливо что поступят в каком партикулярном деле, и кто про то уведает, то, однако ж, да молчит до нашего возвращения, дабы тем не помешать настоящих прочих дел, и тогда да возвестит нам, однако ж справясь с подлинным документом, понеже то будет пред нами суждено и виноватый жестоко будет наказан...»

Господа министры и иные правящие особы были давно приучены к частым царским новациям. Они лишь переглянулись меж собой и продолжали внимать канцлеру. Указ был, по обыкновению, многоречив, как видно выйдя из-под пера царевых сотрудников, а потому Гаврила Иванович приустал, читавши.

Определили быть в новозаведенном Сенате князьям Григорью Волконскому, Петру Голицыну, Михайле Долгорукову, графу Мусину-Пушкину, генерал-кригсцалмейстеру Самарину, Тихону Стрешневу, Племянникову, Мельницкому и Опухтину, а обер-секретарем при них состоять Онисиму Шукину.

— Кто свое суждение имеет, пушай скажет, — предложил Петр, оглядывая собрание.

— Чего там... Вышняя воля... Надобно... — нестройное бормотание было ему ответом. Не самые важные, не самые сановитые, не царевы фавориты вошли в сенатскую девятку, и это поначалу показалось странным. Не было в сенаторах всесильного Меншикова, не было князя-кесаря Федора Ромодановского, страхолудного как оборотень, не было и велемудрого Якова Брюса...

Царь был великий человековидец. И определил в сенаторы самых цепких да въедливых, кои, по его разумению, не попустят ни кривды, ни худа прежде всего государству.

— А что скажут духовные? — с веселой задоринкой спросил Петр — любил поддевать духовных — и воззрел на первосвященника.

Стефан встал, поклонился, сухое его лицо с выпуклинами глаз походило на щучье рыло, а сейчас оно еще больше вытянулось, и митрополит недоуменно уставился на царя.

— Царская воля — Божия воля, все мы под ее державной десницею пребываем, да будет она благословенна во веки веков, аминь!

Сказано было с подобающей торжественностью и то, что можно было ожидать.

— Духовным в Сенате дела нет, ибо ведать ему мирскою нуждою, — благодушно сказал Петр, все еще улыбаясь. — Однако же течение дел наблюдать полезно. А теперь отсюда перейдем в Успенский собор, а там, владыка, у господ сенаторов клятву примешь. Но допрежь, Гаврила Иваныч, чти наказ Сенату, дабы уже с этим покончить. Долгонько канителямися.

Предписывалось Сенату вот что: блюсти во всем государстве расходы и деньги повсеместно обирать, ибо деньги, как любил то и дело повторять царь, есть артерия войны. Еще учинить фискалов во всяких делах и, как было сказано, «персидский торг умножить, и армян,

как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда».

Толпою, с крыльца на крыльцо, перешли в холодный безлюдный собор. Приказано было всякий бесчинный люд не пускать, дабы благолепия клятвенной церемонии не нарушить, и маленькая кучка людей затерялась в огромном подкупольном пространстве.

В киотах дробились свечные огоньки, святые и ангелы то клонились долу, то кивали, а то и подмигивали, все было таинственно, торжественно, на стенах и столпах роились фигуры молящихся, рыскающих и встающих, кающихся и труждающихся.

Царь подошел к чтимой иконе, писанной знаменитым изографом Дионисием. На ней был изображен основатель сего дивного собора Петр-митрополит с житием, а на клеймах — возведение собора. Приложился благоговейно, за ним потянулись министры и сенаторы.

Собор был звучен. Он отзывался на стук шагов, на звяканье церковной утвари в алтаре и дьякониках, даже на вздохи. Эхо легко катилось вдоль стен и замирало в углах.

И душа его отзывалась на все — на каждый звук, доносившийся из алтаря, на бормотанье сенаторов, вторявших за Стефаном слова клятвы. Все в нем обострилось — словно бы перед припадком.

Торопливо кликнул Макарова:

— Едем, Алексей.

Торопливо влез в возок, стараясь не прислушиваться к себе. Макаров впрыгнул за ним. Денщики, как давеча, рысили за ними. Уехал, как бежал, — не попрощавшись, не сказав никому ни слова.

Ехали молча — так было впервой — все девять верст до Преображенского. Макаров скосил глаза и глянул на Петра. Царь сидел чуть сгорбившись и, казалось, дремал, полузакрыв глаза.

Макаров продолжал теряться в догадках о той «непроницаемой тайне», в которую собирался посвятить

его царь. Предположения были, но ни одно из них не казалось сколько-нибудь значительным.

Не турецкое же дело. Царь желал отвлечь войну во что бы то ни стало, и Макаров писал под его диктовку султану Ахмеду:

«Ежели получим от вашего салтанова величества обнадеживание, что мир с нами содержать изволите ненарушимо и король шведский добрым способом без нарушения препровожден будет... то войско российское от границ ваших отведено будет и мир с вашим величеством без нарушения с нашей стороны сохранен будет».

Ответа не было и не было, а воевать с турком было совершенно ни к чему. Со шведом война отстояла далеко до окончания, звали к себе дела западные, приходилось подпирать худых союзников — Данию и Саксонию.

Главный швед — король Карл отсиживался в турецких пределах и подзуживал султана. Конфиденты доносили: переместился Карл из Очакова в Бендеры. А те Бендеры, рассказывают, крепость первостатейная и взять ее боем будто бы вовсе не возможно...

Стало быть, «дело» не государственное, а личное, притом щекотливое. Личное, но царское. Видно, опасался государь совершить какую-нибудь неловкость, дабы не умножались слухи в народе.

В пыточной избе Преображенского приказа содержался отставной прапорщик Аника Попов сын. Говорил он тако: «У нас в царстве не государь царствует, а антихрист. Государь родился не от первой жены, а от другой: так и стало, что родился он от блуда, потому что законная бывает первая».

Царь его лично допрашивал. Вот-де многие государи женились не единожды, а у царя Ивана Грозного было семь жен. На это означенный Аника смело отвечал, что тот царь был тоже антихрист и в крови Россию утопил. Петр рассвирепел, приказал вздернуть Ани-

ку на дыбу, но тот твердил свое: «Царь-антихрист, царь-антихрист!»

«Царь — антихрист», — молву разносили монахи среди черного народа, раскольники-бородачи, порхала она и среди дворян да бояр. За то, что брил бороды, наложил контрибуцию на монастыри, побрал великое множество народу в солдаты, на работы крепостные, корабельные, городовые...

«Монахи да беглые мутят народ, — соглашался Макаров, — но казни, дыба, кровь... не устрашают, а ожесточают».

Тот же Аника не отрекся и смерть принял под личиной великомученика. Игумен монастыря Святой Троицы, что в Смоленске сеял таковую же крамолу, был ожесточен неподобно монашескому смирению, в мирские дела дерзостно мешался. Был запрещен и сослан в Колу. Игумен!

Да, небывалый царь правит на Руси — царь-обновитель. Такого Русь не знавала — взялся ее из болота вытащить, встряхнуть, обрядить в новые одежды. Поручен вековой устав жизни — как не страшиться, как не обзывать царя антихристом... Стало быть, опасается его повелитель некоего неверного шага, новых толков...

...Эвон и Преображенское повиднелось огнями, хоть день еще не угас: ждали его царское величество. У ворот стража с пищальми, горят-чадят факелы да плошки, а на самый верх вздернут большой корабельный фонарь.

— Царское величество, с благополучным прибытием!

Замельтешила, забегала челядь, дворовые люди. Царевы денщики тут же, рапортуют: все-де благополучно в вотчине государевой, никаких происшествий не случилось.

На крыльце — женский народ. С Крестовского, из своего санкт-петербургского имения, потащила в Москву за царем целая орава во главе с царицей Прасковьей — вдовой покойного брата Ивана, с коим вместе занимали престол.

Не могла не последовать за любимым братцем и повелителем его единственная и тож любимая сестра царевна Наталья. Они двое тут единственные Нарышкины, остальные же — Милославские.

Батюшка Алексей Михайлович, Тишайший царь, наплодил со своею первой супругой предостаточно детей и отроков. Кого Бог прибрал, кто вдовствует, кто в девичестве зачах — цариц и царевен не сочтешь. Тут же тетка, племянницы, кузины — и все содержатся в чести да в холе. Царского корня побегі неплодоносные. За ними карлы и карлицы скачут, катятся под ноги ровно собачонки. Шум, гам, суета.

Позади всех низко кланяется статная пригожая женщина, среди толстых, желтолицых да обрюзглых как маков цвет. На округлом белокожем лице с носом несколько вздернутым, но соразмерным — глаза с поволокой да с посверком; высокую грудь колышет частое дыхание — то ли от волнения, то ли от спешки.

Петр обошел всех, приблизился к ней, наклонив голову. Он улыбался:

— С добрым свиданьем, Катеринушка.

Макаров тотчас догадался: это она, Катерина, главная ныне царева полюбовница. Он о ней много слышал, а вот видеть не пришлось. Хороша, в самом деле хороша, ей-ей!

Премного о ней толковали. Будто происхождения она низкого, простая служанка у пастора в Мариенбурге. Была-де замужем за шведским трубачом, оттого одно из прозваний имела Трубачева. Тот же сгинул невдомо куда. А служанку пасторскую полонили как добычу. Будто перебивалась она во многих руках — и у Боура, и у Шереметева, и у Меншикова. У него-то и увидел ее царь. И позарился.

Пришлась она ему всею своею статью: сердечностью и красотою, женской силой и телом крепким и упругим, умением отдавать себя всю — полнотою слияния.

Царь Петр был из женолюбов — об этом все знали. И в постели у него разных женщин и девиц не мало перебивало. Никакой то не грех: плоть-то жива, естество не задавишь, не укротишь, коли наградил царя Господь жадной мужской силой.

Но на Катерине, сказывали, царь словно бы споткнулся да остановился. Известно: ничего ни от кого утаить нельзя — ни в царских хоромах, ни в холопей избе. Люди все видят, все подмечают. Заметили и цареву увлечение. Осудить — не осудили: можно ли. Но губы поджимали: дескать, царю пристойно не с простой служанкой спать, а с боярышней либо с дворянкой. А уж лучше всего — с иноземной принцессой, коли он столь слюбился с иноземцами.

Звон сколько достойных невест на Руси, красавиц писанных — только пальцем шевельни. Царю бы жениться как положено — с колоколами. Первую-то жену Авдотью заточил в монастырь, стало быть, грех сей и прикрыть надобно. А он с простыми бабами амуры закручивает, да еще у всех на виду. И успел-де с Катериной-служанкой двух дочек прижить...

Так-то оно так. Но не мог не признать Макаров, что хороша Катерина, истинный Бог, хороша! И ежели представить ее рядом с царем да в платье царском, то чем не царица. Он бы одобрил выбор своего повелителя... Но ведь простая служанка! Как тут быть?

В услужении она у Натальи Алексеевны, царевны, любимой и единственной царевой сестрицы. Наталья, стало быть, ездит за порфиноносным братцем, а Катерина с нею безотлучно. И с ним, вестимо.

«Вовсе не случайно определил царь полюбовницу свою к царевне, — смекнул Макаров. — Во-первых, догляд за нею верный, во-вторых, всегда под рукой, обидчинено не будет. Да и девочки, дочки царевы, под надежным присмотром...»

— Государя баснями не кормят, — к Петру вернулось хорошее расположение духа. — Ведите нас за стол да потчуйте по-царски.

— Все уже готово, батюшка царь, — пропела царица Прасковья. — Ждем не дождемся твоей государевой милости.

Петр жаловал Прасковью: за то, что не докучала просьбишками — довольствовалась малым, тем, что жалуют, хоть малое это по житейским меркам было премногим, не совалась не в свои дела и почитала царские желания высшим законом. Она и царевна Наталья хозяйничали за столом.

— А где ж Катерина? Чего ж Катеринушку не кличете? — напрямик спросил Петр. — Аль провинилась в чем?

Прасковья замаялась. А Наталья ответила:

— Заробела она. Кабы ты, государь, был один, то вышла бы.

— Алексей — человек свой, доверенный. Зови ее.

Катерина вышла, зардевшись от смущения, и в пояс поклонилась царю и его гостю, ровно бы не виделись они несколько минут назад.

— Посиди-ка с нами, Катеринушка, — царь жестом указал на место напротив. — Подносите нам, хозяйюшки, коли полон стол питья и брашна.

— А за что пить-то станем? — деловито осведомилась Наталья.

— Прежде за здравие пресветлого нашего государя, — опередила всех Катерина, ко всеобщему удивлению.

Петр благодарно глянул на нее, широкая улыбка раздвинула дерзко торчащие в стороны усы.

— Благодарствую, — наклонил он голову. — А вот я ноне выпью за некое дело, коему анфанг в Преображенском начнется.

— Какое же дело, государь-батюшка? — любопытствовала царевна.

— Женить тебя хочу, Наташа, — отвечал Петр и, наклонившись к сестре, поцеловал ее в лоб. — Засиделась ты в девках, а я племянничков хочу ласкать. Разве то не дело?

— Все-то ты, братец, не в свои дела норовишь мешаться, — смело проговорила Наталья. — Да и поздненько спохватился: мне уж не до мужниных ласок. — Похоже было, что она обиделась, и Петр это заметил.

— Полно сердиться, Натальюшка. Ты спросила про дело, я и пошутил. Ведомо тебе: вольна ты во всем. А о деле том заговорим мы, когда сладим его, — при этом он так остро взглянул на Катерину, что она снова зарделась: черные жгучие глаза Петра излучали откровенное желание. Взгляд их был физически ощутим и, казалось, пронзал человека.

— Когда ж ладить-то будете? — не отступала Наталья. Ей позволялось спрашивать о том, что у других было на уме. Она, однако, не переходила границ: была умна — нарышкинское колено.

— Уж совсем недолго ждать, Натальюшка, — пора нам ехать к армии. А тебя мне никак не обойти — первой будешь, — и при этом Петр снова пристально глянул на Катерину, сидевшую с потупленной головой — непонятное смущение оковало всю ее фигуру.

Отчего-то смутилась и царевна Наталья: уж она-то знала о «деле» — державный братец не мог не посвятить ее в него. Верно, все ж таки не верила, думала — перерешит, опомнится.

Остальные же пребывали в неведении либо в недоумении. Мало ли какими делами озабочен царь, открылась война с басурманами, швед не сложил оружия. Иных забот полон рот — каждый Божий день заседает: во «консилии» либо в новозаведенном Сенате, каждый Божий день курьеры скачут с бумагами — на юг, на север, на запад и на восток, скачут и из тех сторон с доношениями.

Казалось, старая столица возвратила себе бывшее значение и теперь все сызнова оборотится к кремлевским стенам и соборам. Обнадежился старый князь Федор Юрьевич Ромодановский, сидевший на Москве князем-кесарем. Власти его много было: был ближним, грозой парил над городом, чинил суд да расправу. Дыба ждала

тех, кто поносил царя, свирепы были расспросные речи в Преображенском приказе, не было спуску злоумышлявшим.

Но царь крепко утвердил свой Парадиз в сердце своем, нарек его столицей при том, что был он болотный да неустроенный. Верил: Данилыч устроит да, по обыкновению своему, внакладе не останется.

Москва же — шаг в южные пределы, навстречу турку. Москва — и другой шаг, перед которым царь странно робел и доселе не решался сделать.

— Пойдем-ка, Алексей, потолкуем. А вас, мадамки, отпускаю — нужды в вас пока нету.

Макаров пошел за Петром в его «апартамент» — старый деревянный домишко, приличествовавший более какому-нибудь захудалому приказному, нежели повелителю огромного царства.

Из окон открывался вид на Яузу, лежащую в снежных берегах и уже готовую проснуться и начать свой журчливый бег; на некогда грозную «Прешбургскую крепость», ныне полуобрушенную и запущенную. Снег вокруг нее был истоптан ребячьими следами. Полчище галок уныло кружили над ветлами и чернели на ветвях.

Макаров ждал начала разговора. Но Петр все медлил, теребя и подкручивая свои не дававшиеся ему жесткие глянцевиные усики.

— Дело неслыханное не токмо среди государей, но и мелких potentatov, — наконец заговорил он, казалось тщательно подбирая каждое слово. — Замыслил я, Алексей, жениться. И в невесты себе выбрал женщину низкого звания. Ты ноне ее видел. Она мне весьма прилежна, иной не вижу... Ну? Что скажешь?

Макаров опешил. Сколь он ни воображал о предмете «тайного дела», но сего никак не ожидал. Катерина была полубовница, фаворитка, как водилось у многих королей да принцев в европейских государствах, и уж это ее состояние было как бы узаконено, с ним смирились высшие персоны. Но чтобы служанку произвести в государыни царицы? Короновать?

Он привык к тому, что его повелитель ломит наперекор, без оглядки на кого бы то ни было. Он соображался лишь со своей волей и с государственным интересом. Но тут он собирался преступить нечто такое...

Макаров молчал, потупившись. Он лихорадочно искал ответ. Петр терпеливо ждал, не сводя с него пытливого взгляда.

— Как я могу, царь-государь, ваше величество, — слова выходили из него по слогам, как бы заторможенные оторопью. — Мне ли судить... Не могу осмелиться, — выдохнул он.

— А ты осмелся: даю тебе царево дозволение, — усмешливо произнес Петр.

— Коли так, — медленно выговорил Макаров, — то вот мое рассуждение: царь властен над подданными своими, властен он и над своею судьбой. Волен он избрать себе в жены кого восхочет, поднять до себя, до своей высоты свою избранницу. И никто ему не указ.

— Славно говоришь, — одобрил царь. — А бояре? Министры? Духовные? Короли да герцоги? А предки, Романовы во гробе? Не станут ли являться и грозить? Един, кто не покарает, — высший судия, Господь. Ибо то решил по сердцу, по любви — ему это ведомо. Ну, что скажешь, рабе верный?

— Более ничего не скажу, — отвечал Макаров. — На земле высший судия царь, на небе — Бог. Коли речь идет о делах земных, то их должно судить царю.

— Верно, — вздохнул Петр, как показалось Макарову, с облегчением. — И я уж рассудил.

— Стало быть, так тому и быть, — обрадовался Макаров.

— Благодарю, Алексей, — царь неожиданно наклонился и поцеловал Макарова в лоб. — Последние ты мои сумления снял. Свидетелем будешь. Теперь баб моих огоршить надобно. Ох и завоюют же они: с полубовницей смирились, царицу же отрицать станут. Однако вой сей недолго унять.

Да, были насельницы Преображенского, в голос выли. И на колени пали, и Христом Богом заклинали не срамить весь православный мир, и бунта бояр да дворян опасались... Забыли, что жили с Катериной душа в душу, еще сегодня миловались с нею.

— Лютерка ведь, лютерка! — заливалась слезами царица Прасковья. — Поношение всему царскому роду, всем Романовым, пресветлой их памяти...

— И патриарх не благословит, — вторила ей старая царица Марфа Матвеевна, вдова царя Федора. — Господь не попустит.

— Патриарха я своей волей поставил, — Петр продолжал усмехаться, колючие усы сердито топорщились. — Он лишь место блюдет. Коли захочу — сгоню с места. — И вдруг набылчился и крикнул: — Цыц, бабы! Не вашего ума дело. Моя воля — мой закон, понятно?!

Испугались, замолкли. Знали: страшен царь в гневе. И то знали: коли что решил — настоит на своем. Помнили: Петр есть камень.

Не бунтовала лишь царица Наталья: интерес братца был главным в ее жизни. Давно смирилась с его полубовницей: поняла — настоящее это, большое чувство. Безропотно пасла дочек, прижитых Катериной от царя, а потому и приняла его решение.

Все прежние увлечения братца Петруши прошли перед ее глазами. Обычно то бывал бурный наскок, вроде отроческого штурма Прешбурга, недолгое топтание во взятой крепости и скорая, часто стремительная ретирада.

Но бывало, бывало... З а т я г и в а л о. Затянула Монсова, да так затянула, что уж на Москве вовсю поговаривали: обусурманился, онемечился царь, на немке Монсовой оженился. Кабы не сама немка царя орогатила — с прусским посланником Кайзерлингом соблудила и тот ее в жены взял, так бы оно и стало.

Но царь, вестимо, не стерпел и оскорбился: ему, царю, мужу истинну, великой мужской силы, немку осча-

стливившему, до небес ее возвысившему, предпочесть какого-то пруссака!

Но царица Наталья женской своей натурой, прониканием сердцеведки понимала: царь для той Анны Монс был как бы журавль в небе, он был слишком огромен и непомерен для простой мещаночки, а тут подвернулся пруссак — синица в руки, человек простой, немецкий да вдобавок с положением. И схватилась за него нимало не мешкая.

Да и братец Петруша недолго досадовал, одну за другой переменял, случалось, собственной племяннице юбки задирали, пока не наткнулся на Марту-Катерину. Служанка-то она служанка, да ведь допрежь всего — ж е н щ и н а.

Женщина, прямо-таки по мерке царской скроенная! Носила его на себе радостно, не уставая и не жалуясь, была редкой выносливости, удивляя и радуя Петра. И что еще восхищало: каждый раз переменялась, умела быть иной, отдавалась своему повелителю как бы заново.

Вспыхивал возле нее жарким пламенем, разгорался и был неутолим. Столь великой жадности давно не испытывал — позабыл про всех своих метресок. Даже стал опасаться: кабы не истощиться, не иссякнуть, кабы не приковала к себе мягкой, но липучей бабьей цепью...

А когда стала рожать Катерина, и вовсе к ней прилепился. Стало быть, была плодна, а это тоже в радость. Стало быть, родит наследника, может, и не одного — выбор будет. И почал серьезное думать. И были те думы неотвязны. Они настигали его в самых неподходящих местах: в Адмиралтействе, среди стружек и тюканья топоров, либо в токарне, любимом его прибежище, а то и среди сидения консилиев, в круту пышных париков и не менее пышных стариков...

Стоял на самом краю. И предстояло сделать последний шаг.

З а р о б е л.

Отчего-то не мог в одиночку. И вот наконец разрешилось!

— Садись, Алексей, в ногах правды нет.

— Не смею при особе монарха в таковой торжественный момент.

— Садись, говорю! — и Петр пригвоздил его к креслу. — Итак, ты сказал, я сделал. А то ведь все стоял, подъявши ногу, а ступить не решался. И с царями таково бывает. А теперь, коли молвил ты слово мужское, верное, решил я. И зальем мы то решение...

На крытом зеленым сукном столе стоял штоф, три кружки, сбоку притулилась чернильница, в стакане — перья, лежала стопа бумаг.

Петр хлопнул в ладоши. Раз, другой, третий. Явился заспанный денщик.

— Не хлопай очами — принеси яблоч моченых. Чего стоишь — более ничего не надобно, ступай.

Не прошло и минуты, как полная миска яблоч стояла на столе, дразня обоняние запахами смородинового листа и той терпкой кисловатой свежестью, от которой сводит скулы и рот наполняется слюной.

Петр поднялся. Голова его едва не касалась потолка. Он сказал голосом умягченным против обычного:

— Теперь шагнем. Тяжек был приступ, шагнем легко. Ну, благословясь!

И он богатырскими глотками осушил кружку.

Морщины на его лице разгладились, усы перестали топорщиться, и весь он, непривычно умиротворенный, благодатный, опустил в кресло.

— Тяжело мне сие далось. Более всего непереносимо осуждение церковное, его же предвижу. Иерархи наши сего не перенесут. Однако заставляю! — И Петр коснулся кулаком столешницы. — Царь-де второбрачный да на простой девке оженился, на лютерке... Знаю я их песни. Бог есть любовь. И брак есть любовь. Брак мой нынешний освящен детьми: Катерина мне двух дочек принесла.

Улыбнулся умягченной улыбкой, вспомнив, и добавил:

— Мон. Нашего, нарышкинского роду...

Замолк Петр, брови снова сошлись на переносице, выпуклые глаза расширились — размышлял о чем-то заботившем.

— Первое дело — митрополита Стефана перебороть: упрям старый козел, Авдотьин радетель он тайный, понеже явно страшится гнева моего. Второе же дело — соблюсть закон христианский. Брак есть таинство, перед отъездом к армии должно совершить венчальный обряд.

Осмелел Макаров — вино развязало язык:

— Как же быть, государь? Царь венчается принародно, в Успенском соборе, обряд сей свершает сам патриарх, тот же Стефан, яко местоблюститель. Обойти сего не можно...

— Обойду! — Петр тряхнул головой, весь взъерошился, глаза же глядели весело. — Здесь, в Преображенском, и обойду.

И, прочтя в глазах Макарова недоумение, смешанное с недоверием, прибавил:

— Обвенчает нас духовник здешний отец Ювеналий, в церкви нашей домовый, а в свидетели поставлю тебя да сестрицу Наталью.

— Осмелится ли? — усомнился Макаров. — Узнают — запретят, а то и расстригут и в монастырь сошлют на вечное покаяние. Царя-де венчал самодурственно, невежественно, пренагло, не сказавшись прежде митрополиту.

— Царевой волей венчал. Мне важно Господнее установление соблюсть, быть чисту перед Богом. Я почему на сию дерзость покусился? — Таким доверительным, открытым Макаров царя не видел. — Мне голос был: прилежаны-де вы друг другу. Лучшему-де не бывать. Я и сам так чувствую.

— Знамо: вышняя воля, от ней не открестись.

— Так оно, так, — произнес Петр с видимым облегчением. — И отлагать сей обряд не будем: дел много, да и ехать надо.

Послали за царевной Натальей. Она выслушала брата молча, а потом неожиданно приникла к нему и расплакалась.

— Полно, Наташа, полно. Будто ты не ведала, будто сердце тебе не сказало.

— Да-да, — торопливо отвечала Наталья, меж тем как Петр неумело отирал ей щеки кончиками длинных загрубелых пальцев. — Один токмо отец Ювеналий испугается: статочное ли дело — венчать-де царя не соборно, а келейно.

— А мы ему скажем, — и Петр назидательно поднял вверх палец, — венчание есть таинство, и таинством оно и пребудет меж нас, посвященных. Поди оповести его. Да и Катерину тож.

— Скор ты, братец: Катерину приготовить надо. Разве к завтраму...

Отец Ювеналий, духовный наставник высокородных обитателей Преображенского, священник не из простых, умевший замаливать грехи своей паствы и не терявшийся при обстоятельствах крайне щекотливых, где его рядовому собрату головы бы не сносить, на этот раз пребывал в смятении.

Наталья, сообщившая ему цареву волю, перепугалась: отец Ювеналий побагровел, словно только что выскочил из бани, казалось, его вот-вот хватит кондрашка.

— Не можно мне, не можно, дочь моя, — и он простер перед собой руки, как бы обороняясь. — Не по сану, великий грех, грех неотмолимый взвалю на душу. Суровым духовным судом судим буду, епитимью наложат и в монастырь заточат.

— Его царское величество защитит и оправдает...

— Как бы не так! — вдруг вскипел Ювеналий. — Его царское величество отмахнется яко от мухи назойливой. Знать, мол, его не знаю и ведать не ведаю.

— Государь наш не таков, — укорила его Наталья. — Он услужливых не забывает. Да и я, отче, вступлюсь.

Ювеналий махнул рукой. Глаза слезились, борода, обычно ухоженная ради взоров его дамской паствы, растрепалась, весь он являл собою вид жалостный. Боялся он сурового царя, боялся и архиерейского суда и, оказавшись меж молота и наковальни, совсем пал духом. Одна у него оставалась надежда — на предстательство царевны Натальи. И, веря, что она не выдаст, плелся он готовиться к свершению обряда.

Макаров все еще продолжал пребывать в состоянии озадаченности. Коли дело дошло до тайного венчания, чего прежде ни с одной царевой полюбовницей не было да и быть не могло, стало быть, государь и в самом деле вознамерился сделать безродную служанку царицею. Макаров успел хорошо изучить характер своего повелителя. «Петр есть камень» — коли царь решил, ни громы земные, ни громы небесные не в состоянии отворотить его и переменить решение. Камень — твердость, камень — кремь, камень — храмина, камень — крепость.

Трудненько дался ему этот шаг, однако! То-то прямая как стрела линия жизни царя за последнее время несколько искривилась. Правда, примешалась ко всему злосчастная война с турком. Войско надлежало собрать да подготовить, озаботиться заготовкой припаса, провианта. Все лежало на царевых плечах — всюду нужен был его догляд. Ему приходилось додумывать многое за старого фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, ибо кого иного, способного занять его место, не было.

Велико было цареву нетерпение, требовательная мысль, а потому многие повеления писал своею рукою, не дожидаясь появления Макарова либо Головкина. После Полтавы Петр исполнился уверенности, что российское войско с любым неприятелем сладит. Так что турок представлялся ему слабосильным, внушая опасение лишь множеством своим. Зато обнадежился царь посу-

лами христиан, бывших под турецким игом, — сербов и негропонтцев, или черногорцев, греков и болгар, мунтян и молдаван, или волохов. Два княжества, Молдавия и Валахия, твердо обещали помочь не только провиантом, что было важно при столь великом отдалении от российских пределов, не только потребной амуницией, но и полками. На них, на православных, можно было положиться безо всякого сумнения.

Покамест сношения с ними были тайными, чрез верных посыльщиков. Уже обменялись они договорными пунктами, уже обещались подпасть под покровительственную царскую руку. И Петр был ими весьма и весьма обнадежен.

Беспокойство вызывал у него лишь главный швед — король Каролус, засевший в турецких пределах и, как видно, спевшийся с султаном и его пашами. Это он побудил турка открыть войну — Петр нимало в том не сомневался. Но как теперь выкурить шведа — вот вопрос, казавшийся неразрешимым...

Это были заботы до поры отдаленные. Сейчас же царя целиком заняла забота ближняя, матримониальная и представлявшаяся ему главной. Он таки наконец разрубил этот гордиев узел! И станет свободен пред Богом. А люди? Пред ними отчета он держать не намерен.

Шли поспешные приготовления к церемонии. Как ни противилась царевна Наталья, Петр облачился в парадный преображенский мундир — ей же хотелось царского облачения. Екатерина была в парчовом платье, как видно одолженном у какой-нибудь из цариц. Оно было тесно и коротковато для ее крепкого, сильного и стройного тела. У брачавшихся вид был одновременно торжественный и какой-то смущенный.

Отец Ювеналий, похоже, все еще не мог прийти в себя от той миссии, которая так неожиданно выпала на его долю. Это читалось и в наморщенном лице его, и в неуверенных суетливых движениях, лишенных той

плавности, к которой обязывает церемония бракосочетания...

Ради такого случая было возжжено великое множество свечей, и небольшая уютная церковь вся сияла позолотой царских врат, окладов, бронзой паникадил. Светилась и парчовая риза отца Ювеналия.

— Блаженны вси, боящиеся Господа! — возгласил он, выводя Петра и Екатерину на середину храма, а затем к царским вратам.

Все было необычно в этой церемонии: и тишина, нарушаемая лишь слабым потрескиванием свечных фитилей, а не пением церковного хора, и присутствие шестерых человек, из коих ни один не прислуживал священнику. Канон был нарушен, он нарушался с каждой минутой все более.

Отец Ювеналий взял чашу с красным вином. Он протянул ее сначала Петру. Тот, пригубив, с улыбкой передал ее Катерине.

— Брак честен есть и ложе не скверно, — как-то неуверенно произнес священник.

Соблюл апостольскую формулу отец Ювеналий, да только неуклюже и неуместно — можно было вполне обойтись без нее, помня, что венчающиеся второбрачны. Но он боялся царя, боялся панически. И, подняв на него глаза, едва мог удержать дрожь.

Круглое лицо царя медленно багровело, выпуклые глаза готовы были вылезти из орбит.

— Венцы! Пошто венцы не возлагаешь!

— Царь-государь, ваше царское величество, — пробормотал иерей побелевшими губами. — Номоканон возбраняет возлагать венцы на второбрачных...

— Что мне твой Номоканон! — рявкнул Петр. — Господь мой покровитель, а не Номоканон. Совершай все по уставу Божьему!

Отец Ювеналий поспешно закивал головой.

— Венчается р-раб Божий Петр с рабою Божией Екатериной, — дрожащим голосом протянул он.

Он стал возлагать венец на голову царя, и тому пришлось наклониться и даже слегка присесть, потом венчал Катерину. Они шли по церкви гуськом: впереди священник, за ним Петр с Екатериной. Шествие замыкали свидетели — Макаров, царица Прасковья, Петр принудил, и царевна Наталья. Полагалось быть ликующему церковному хору, множеству поздравляющего молодых народа. Но они шли в молчании, слышалось только недовольное сопение царя, которому хотелось поскорей завершить обряд.

Наконец отец Ювеналий разлепил губы и жидким тенорком прогундосил:

— Слава тебе, Боже, слава!

— Слава тебе, Боже, слава! — подхватили свидетели.

— Боговенчанных царей и равноапостольного Константина и Елену призываю в молитвенное ходатайство к брачащимся Петру и Екатерине, равно и великомученика Прокопия, приведшего двенадцать благородных жен от радостей земных, от одежд их брачных к радостям небесным...

— Слава тебе, Боже, слава! — теперь провозгласили уже все шестером.

Ритуал продолжался без задорин. Переменялись перстнями: Екатерина получила массивный золотой перстень супруга, свободно болтавшийся на ее пальце, ее же серебряный был Петру узок. Так женской слабости, олицетворяемой серебром, передавался мужественный дух злата.

— Венчаю вас в плоть едину, и да ниспошлет вам Господь плод чрева благодатный, восприятие благочадия на все времена.

Церемония закончилась. Отец Ювеналий и свидетели по очереди поздравляли новобрачных. Было церемонное целование, было и вольное: Петр на радостях впиивился в Катериныны сочные губы не по храмову обычаю.

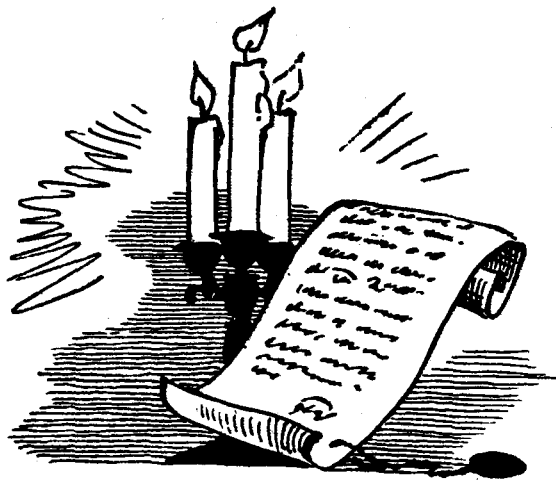
Впрочем, всех отпустило и все размякли. Более всех был весел сам царь. Скинул-таки ношу! Тяжка она бы-

ла, но теперь все позади. И он наконец обрел себе женщину и жену по давно вымеренной мерке. Он не заглядывал в ее прошлое, не воздвигнул между ним и собой плотную стену, хотя, разумеется, был о нем достаточно сведан.

Он нуждался в настоящем и в будущем. То, что было прожито, было изжито и поросло травой забвенья. Ему, как и любому его подданному, нужно было обрести счастье. А в этой своей ипостаси он и был всего только подданным. Подданным любви и счастья, как какой-нибудь плотник, либо солдат, либо корабельщик...

— Вознаграждение емлешь, отче Ювеналий, — и Петр подал ему золотой крест и кошелек с дукатами. — И ничего не опасайся — обороню. Ежели что — скажи дочери своей духовной, — и царь оборотился к ней. — А теперь, Наташа, поди распорядись: устроим у меня пирок малый. Большой же пир с торжеством — после одоления турка и посрамления салтана.

Воодушевленный, он снова обнял Катерину. Теперь уже свою перед Богом.



Глава третья ВИВАТ, ГОСПОДА СЕНАТ!

Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

Екклесиаст

Голоса: год 1711-й, февраль — март

Стефан Яворский — Петру

Великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу, всеа Великия и Малыя и Белья России самодержцу, богомолец твой государев Стефан, митрополит рязанский, Бога молит и челом бьет... об отдаче по милости вашего царского величества на Пресне двор с хоромы и садом и верхней пруд для московского моего жития. И за вашу

такую превысочайшую царскую милость, чего я, богомолец ваш, и не достоин был, по премногу благодарен и челом бью. Но понеже той верхней пруд, который был мне отдан, есть безрыбной, и рыба в нем не живет для тины великой, и сам в себе мал и мелок, того ради молю ваше царское пресветлое величество повели мне, грешнику, до указу своего царского величества владеть Красным прудом...

Д. М. Голицын, киевский губернатор — Петру

Всемиловитейший царь, государь. Получил я ваш, государев, указ, в котором изволите писать: послан капитан-порутчик в Белгород, велено ему паттоны (понтоны) вести оттоль чрез Киев в армяю, которые немедленно мне исправить, ибо зело нужно надобно, чтоб те в последних числах апреля тем стали... Писал я о паттонах в Белгород, чтобы оныя с великим поспешением отправлены были в Киев...

Г. Ф. Долгоруков — Петру

Премилосердый государь. По получении дву указов вашего величества... с общаго з генералом Янушом и с князем Голицыным, и з гетманом коронным з господином Синявским для диверсии из Украйны хана крымскаго и выгнания из здешнего краю з Буджацкой ордою ханского сына и воеводы киевского з изменником Орликом, которыхя обретаютца недалеко Белой Церкви, господин генерал-лейтенант князь Голицын з девятью драгунскими полками и з двумя пехотными, Ингермонланским и Астраханским, и с волохами и казаки, отправили, куда також и полских около петиدهсят хоронгвей посланы дабы тем походом диверсию хану в Украйне учинить и из здешнего краю выгнать... А в Ясы, государь, не послали для того, дабы тем не

дать Порте подозрения и не принудить бы турок чрез Дунай скорого и сильного в Волоскую землю приходу, по которое время наша армия не в случении. И ежели, государь, даст Бог, наша пехота со всем скоро сюда счастливо прибудет, то, чаю, лутче, государь, в то время всей нашей кавалерии марш иметь к Дунаю, где намерен неприятель мост делать, дабы оных о той реке удержать, куда також и всей нашей пехоте надлежит за оною следовать. И ежели, государь, даст Бог, можем во времени то учинить, то не токмо волохов и мультян, но и всем краем по Дунай за Божией помощью овладеть, что неприятель принужден будет или полезного нам миру искать или вовсе пропадать...

Петр — Меншикову

Благодарствую вашей милости за поздравление о моем пароле, еже я учинить принужден для безвестного сего пути, дабы ежели сироты останутся, лучше бы могли свое житие иметь, а ежели благой Бог сие дело окончат, то совершим в Питербурху.

Тайное венчание — о нем покамест никто не знал, кроме его участников, — преобразило Катерину.

Услужница с робкими манерами, осторожными движениями, старавшаяся пореже попадаться на глаза хозяевам Преображенского, даже благоволившей ей царевне Наталье, как-то сразу распрямилась. Прежде торопливые семенящие мелкие шажки сменились шагом твердым, уверенным, спокойным. Она как бы почувствовала на себе избраннический перст. Вещественным о нем напоминанием и стал царский обручальный перстень, который она, недолго поносив, спрятала, а взамен надела другой, плотно сидевший на пальце.

— Кабы не утерять, — объяснила она Наталья. — А еще — от глаз завистливых, злых, от языков чумных. Опасаюсь...

И речь ее переменялась: стала ровной, незаискивающей. Стала брать уроки у подъячего в Приказной канцелярии.

Служанка Марта, в святом крещении Екатерина, — Трубачева, Василевская, Сквородская, как только ее ни прозывали, — мало-помалу становилась государыней царицей Екатериной Алексеевной.

Теперь она нимало не сомневалась в прочности сказочной перемены своей судьбы. Залогом ее неизменности стал сам Петр, его твердость, его надежность.

Любил ли ее Петр? Прежде, когда их близость была в известной мере случайной и кратковременной, то была скорей привязанность — плотская, мужская.

Ныне, когда они жили под одним кровом и спали в одной постели, она уже не сомневалась — любил! Среди множества своих больших, важных, государственных и тревожных дел — любил.

Екатерина расцветала на глазах — только любовь может столь сказочно преобразить женщину, возвратив девичество и все связанное с ним: бархатистую, с легкой смуглиной кожу, упругость тела, искрящиеся глаза, счастливую улыбку, не сходящую с уст, летящую походку, грацию движений.

А к царю вернулась жадность возлюбленного. О, они были парой, рожденной друг для друга. И жадность Петра сторицей вознаграждалась Катериной.

Петр перестал ходить в токарную. Он набрасывался на нее по утрам — будил, если она спала. Он затаскивал ее в опочивальню с вечера, сразу после ужина. И начиналась та сладостная телесная борьба, в которой каждый попеременно становился победителем, где она уступала, но и требовала — мягко, по-женски умело, раззадоривая его все сильнее и сильнее.

Царь забросил все дела и пропадал в Преображенском. А Преображенское все видело, все замечало десятками пар завистливых женских — да и мужских — глаз. Преображенское как бы затаило дыхание, с жадным вниманием вглядываясь в едва ли не сотрясавшийся фахверковый домик царя.

Тайна открывалась сама собой. Впервой царь-государь был столь открыто поглощен любовью. Стало быть, это нечто серьезное, венец его жизни — эта Катерина-услужница.

Первой стала обращаться к ней с подчеркнутой уважительностью царевна Наталья. За нею — царица Прасковья. И все поняли: по-старому более нельзя. И переменились. Стали низко кланяться при встрече, бросались оказывать услуги, которых прежде требовали от нее.

И все продолжали придирчиво изучать царскую избранницу. Хороша? Пожалуй, но уж на царской-то дорожке попадались и покраше. Взять ту же Монсовну — экий цвет лазоревый. Видно, в этой, в Катерине, было нечто такое, некая особливость, тонкость, притягательность, телесный магнетизм, чего не было в других царских метресках. Что это было такое, мог сказать лишь сам царь, а все остальные обитательницы Преображенского терялись в догадках.

— Нет, тут дело нечисто, — шептались, — тут чары, зелье приворотное, иноземное. Ясное дело — лютерка она, а они искусны в колдовстве да в чернокнижии. Нечисто дело... — Высматривали да допытывались, но так допытаться и не могли.

А тем временем Наталья приставила к Катерине трех комнатных девушек для услуг. Стало быть, дело-то серьезное, стало быть, опасно шептаться и слухи разносить про колдовство — свиреп царь, эвон как в пыточном-то застенке вздергивают тех, кто распустил языки. Примолкли... Пробовали расспросить девушек — не могли они своей новой госпожой нахвалиться.

Катерина была добра к ним. Прошное не забывается, особенно когда ты не успел сильно отдалиться от него и когда все еще опасаясь ненароком в него вернуться. От прошлого у нее остались сильные руки работницы, проворство и умение, хозяйственность и доброты. Доброта человека, прошедшего все — огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы. И ничего не забывшего.

Ей выпал дивный жребий, и потому она хотела ладить со всеми и быть доброй. Она испытала подневольное состояние, и это усиливало в ней приливы доброты.

А потом... Она была царицей покамест лишь в постели государя. К ней пока еще никто не обращался: ваше царское величество, государыня царица. Официальной церемонии не было, не было и приказа относиться к ней как к венчанной царской супруге.

Она не торопилась. И не торопила. Она понимала: время все поставит на свое место. В ней было в достатке природного здравого смысла. И потому ее комнатные девушки Настена, Феклуша и Палаша преисполнились любви и преданности к своей госпоже, обращавшейся с ними как с ровней.

Они называли ее госпожой и лишь месяц спустя стали называть ее государыней — когда у Катерины уже был свой небольшой штат. Еще не статс-дамы, еще не фрейлины, а такие же услужницы, какой некогда была она сама.

Зато Екатерине стоило великого труда переменить обращение к царю. Она неизменно, даже в постели, среди ласк и объятий, среди телесного неистовства двух любовников, называла его не иначе как «ваше царское величество». С большим трудом дался ей «государь». Потом был найден счастливый вариант: «мой господин» и «мой повелитель». Но «ваше» осталось на всю жизнь, как на всю жизнь осталось прилюдное «ваше величество».

Порою Петр даже негодовал:

— Ну назови меня хоть раз по имени — Петею, Петрушею! Господь дал мне имя, а не титул. Неужли когда ты ложишься со мною, когда я вхожу в тебя, то все еще продолжаю быть величеством?

— О, еще каким! — радостно и благодарно смеялась она. — Самым великим величеством, каких больше в целом свете нет.

— Уж будто нету? — ревниво допытывался он.

Она глядела на него, искренне недоумевая: неужто он может сомневаться? Неужто он не слышит ее стонов, не видит ее изнеможенья? Она не могла сказать ему, что носила на себе многих, но он среди них — истинный царь. Царь-мужчина.

— Так будет всегда, — повторяла она. — Царь-государь, каких в свете нет и не будет.

Пролетали часы в любовных схватках, становившихся все ожесточенней, все изобретательней, с переменой мест, с полной потерей сил, когда оба внезапно засыпали с блаженной улыбкой. И вместе с тем текли, утекая, государственные дни и дела. Сотни верст успели протопать по снежным разбухшим весенним дорогам гвардейские полки, а царь все опоминался.

На носу был март. Февраль был ветродуй, март — зимобор. Он все сильнее борол зиму. А там, в тех краях, куда медленно текли русские полки, март был уже весновеем и грачевником. Там из-под снега уже пробивалась первая нежно-зеленая трава. А это был сигнал, что можно пускать своим ходом главную ударную силу — кавалерию.

— Время убегает, — опомнился наконец Петр, постепенно разговарившийся к делам. — Доложи, Алексей.

Макаров доложил. Утешительного было мало. Войска разворачивались вяло. Орды татар разоряли Украину. Союзники никак не пошевелились.

Петр взял лист бумаги и стал писать Михайле Голицыну, находившемуся на главной линии:

«Господин генерал-лейтенант. Понеже татары уже в Украину вступили, того для и вам надлежит в границу вступить и потщитца конечно, с помощью Божиею, что нибуть учинить против неприятеля...»

По мере того как Петр писал, усы вставали дыбом — первый знак того, что царь осердился.

— Давно надлежало войско двинуть и быть ему сейчас возле границ волосских: тамо-то уже тепло и коню трава выросла, — Петр выговаривал все еще спокойно. — Отправь немедля, да станем совет держать.

Грамоте царя учил Никита Зотов — далеко не изрядный грамотей. А далее Петр все ухватывал сам: и по-русски, и по-голландски, и по-немецки. И все с обычной своей смелостью да ухватистостью, не заботясь о верности слога, а все больше о точности мысли. Выходило, прямо сказать, без изящества, а точнее — коряво, но зато коротко, выразительно и по делу.

— Сенат уж собирался, да не раз, — сообщил Макаров. — Дела распределяли, кому за что ответ держать, сколь часто быть в консилии.

— Завтра все распишем: и Сенату, и губернаторам, и генералам — всем. Спрос со всех с них надобен строгий, а то дела не делают, а токмо топчутся да рты разевают. Завтра будь к моему выходу.

Это означало в пять утра — царь был ранней птахой, и Макаров привык следовать сему. И ровно в пять утра Петр вышел к нему застегнутый на все пуговицы, словно бы изготовившийся к походу.

— Садись, Алексей. Вот тебе допрежь всего указ Сенату, пускай себя окажут.

Указ был, по обыкновению, немногословен: «Собрать людей боярских, подьячих, емщиков (ямщиков), служек монастырских, к тем, которые отпускаются 800 человек, еще четыре тысячи двести человек, и чтоб конечно в последних числах марта месяца отсель пошли в команду господина адмирала Апраксина».

— Теперь очини перьев с дюжинку, станешь указы писать.

Невелик был царский кабинет в Преображенском: Петр тремя шагами покрывал его весь. Своими шагами, равными едва ли не трем шагам человека среднего роста. Он диктовал на ходу — так ему легче думалось. «На ходу, — говорил он, — мысль растрясается и легче выскакивает».

— Генерал-майору Бутурлину пиши: «Понеже ныне мы известны, что татары вошед в Украину без всякого супротивления по своей воле все действуют и черкасы (казаки) к ним пристают и в слободских полках дух бунташный, и для того надлежит вам старатца какой-нибудь против татар, где пристойно, промысл учинить, дабы тем и казаков ободрить, и против них возбуждать...»

Еще прибавь: и чтоб из корпуса солдат в разные поиски отнюдь не посылали, пушай прикажет их собрать. А в конце припиши вот что: «Також отъезжает отсюда господин Адмирал граф Апраксин на Середу и на Дон, и с ним немалое число войск... И ты пиши к нему о всем и впредь требуй от него указу, как поступать, а меж тем действуй по сему указу сколь возможно».

— Как прикажете, государь: по единой бумаге подавать на подпись либо все скопом? — спросил Макаров, не прерывая письма.

— Вестимо, скопом. Из веры не вышел, знаю: лишнего не допустишь, а то и лучше меня скажешь.

Писали долго — много всего накопилось. Не миновали и любезного царю корабельного строения.

— Пиши Ричарду Козенсу и Осипу Наю. Что-де новые сорокавосьмипушечные корабли надобно строить в ватерлинии пошире, дабы они устойчивей были. А Наю прокиши, чтоб у одного корабля палубу поднял выше на фут, а то и на все полтора.

«Пункты» доклада князя Василья Владимировича Долгорукова касательно подготовки полка к дальнему

воинскому походу царь взялся просмотреть сам. Он князю благоволил: ревностный служака. И положил произвести его из подполковников сразу в генерал-майоры.

Далее Макаров представлял бумаги, пришедшие на высочайшее имя, кои могут быть занимательны для царя.

Вот от суконного дела купчина прислал доношение важное: заботился о пополнении казны ввиду великих военных трат. Обличал фаворита царского Григорья Строганова и прочих соляных промышленников в том, что они-де, «не боясь Бога и не радея тебе, великому государю, берут в Помесном приказе подрядом за соль цену за всякой пуд мало что не вдвое...».

— Всякому купчине нажива прелестна, — покачал головой Петр. — Однако ж и совесть надобно иметь. — И размахисто вывел резолюцию: «Розыскать в Сенате».

Затем чли грамоты, сочиненные канцлером Головкиным и подканцлером Шафировым калмыцкому хану Аюке, мурзам и народу Кубанской и Ногайской Орды, мурзам и народу Крымской Орды, мурзам и народу Буджацкой Орды.

Из них Аюка был верноподданный, и предписывалось ему снарядить на Кубань и в Крым воинских людей ради промыслу в общей войне с турком и его пособниками. Остальные же мурзы призывались обще против турок и служников их биться, и содержалось обещание принять их в свою оборону; «больше вам вольностей и свободы позволим, нежели вы имели под Турской областью. Буде же противиться нам будете и с войсками нашими битися дерзнете, то повелим вас огнем и мечем разорять и в полон брать, как неприятелей своих».

— Народ дикий, и увещания сии напрасны, — махнул рукой Петр. — Вера Магометова им под нашу руку пойти запрещает. Однако послать надо.

— Станут ли читать, государь, — усомнился Макаров.

— Вот ежели бы нам средь татарского племени завесть орду да обратить ее в нашу веру, да чтоб ей привольно жилось, — возмечтал Петр, — был бы пример даден. А без примеру нет и веры.

— Единоверцы их, татары и башкирцы, на Волге есть, — напомнил Макаров.

— Не добром под нас шли, а неволею, — хмуро произнес Петр. — Покорил их царь Иван. И непокорство их сродни ордынскому. Думал я о сем много, нам татары разор и беспокойство чинят, а как их укоротить — не придумал. Народ беглый, бегучий, кочевой, разбоем кормятся. Неужто данью от них откупаться? Прошли те времена, нам нынче самим дань положена...

— За то, что от них в давние времена претерпели и ныне терпим, — подхватил Макаров.

— Вот погоди: ежели Господь сподобит разбить турка, то и татарское племя присмирее. А вдале предвижу времена, когда мы самое гнездо ордынское, Крым, возьмем под свою державу. И тогда только избудем беспокойства. И еще потому в том важность великую вижу, что тогда и Черное море нам покориться может.

«Достанет ли только веку моего и сил российских, — задумался Петр. — Подступили к Черному морю с востока, вышли на Азов: первый шаг сделан. Однако шаг малый...»

Мечтал царь о широком шаге — утвердиться в Крыму и оттолкнуть грозить Царьграду, захваченному турком, где святыни христианские поруганы басурманами. Сколь единоверцев томится под их пятою: сербы, греки морейские, болгары, волохи, мунтяне, кроаты, черногорцы, далматинцы... Кабы поднять их всех за веру Христову.

Вера едина, одному Богу молимся, а врозь смотрим. Знать, сам Господь попускает, раз не наставит народы сплотиться ради единой веры. Загадка сия велика. И что сильнее: вера либо обычаи? И какая же сила может сплотить, соединить единоверных?

Вечны сии вопросы. Мучили они Петра. Всесилен ли Бог христиан? Единосущ ли он, как утверждают служители его и священные книги? Опасные вопросы, кощунственные. Но ему, повелителю многих земель и народов, дозволено ими задаться... Право-то у него есть, да только ответа нет. Молчат небеса, молчат, боясь гнева Божьего, служители его, мудрецы и пророки...

Вздыхнул Петр и к делам возвратился. Сказал Макарову, молча дожидавшемуся повеления:

— Пиши указ войскам нашим в Польше и Великом княжестве Литовском. Объявляем-де всем, кому о том ведать надлежит, особливо господам генералам и офицерам и прочим команду имеющим, равно и солдатам, дабы опричь потребного провианту и фуража иных никаких поборов не брать и не вымогать под опасением суда и жестокого наказания...

Петр перестал вышагивать и опустился в кресло.

— Конца сей писанине нет, хватит на сегодня, — объявил он. — Который час сидим — проголодался я. — И Петр взял колоколец и позвонил. Вбежавшему денщику сказал: — Пущай на стол накроют, да поболее еды подадут. Катерина где, Алексеевна? Зови сюда.

Петр ел много и жадно — мог есть во всякую минуту. Равно и пить. Подзадоривал Макарова, отличавшегося умеренностью: какой-де мужик! Appetit должен быть ко всему: к еде, питью, к бабе — и во всякое время. Коли утроба здорова, здоров и дух.

Среди таких царевых сентенций вошла Катерина. Глядела она несмело: рабочие часы для нее запретны, и она даже на зов являлась с опаской.

— Катеринушка! — обрадовался Петр. — Посиди с нами, потрапезничай.

Макаров был свой, дружка, царь его не стеснял. Притянул Катерину к себе, поцеловал в губы. И, как видно, разгорячился. Поспешно доел, сказал Макарову:

— Ты езжай себе, Алексей. Мы с тобой ныне много переворошили. А я обычай соблюду — на боковую. — И он снова обнял Екатерину.

Макаров согнулся в поклоне и выкатился из дверей. Последнее, что он увидел, — Катерину, повисшую на шее царя, и его длинные руки, обвившие ее талию...

А потом, выпавшийся и убоготоренный, Петр отправился в токарню. Запах дерева действовал умиротворяюще. Мысль текла ровно и ясно вслед за стружкой, вытекавшей из-под резца. Мало-помалу в голове царя складывался образ. Сначала образ деревянной вазы, а уж потом, когда она стала проявляться, образ тех бумаг, которые ему предстояло сочинить.

У всякой бумаги, сочиненной человеком, пусть она и не из ряда изящной словесности, есть свой строй и свой образ. Он постепенно складывается, когда человек приступает к писанию. Неряшливый, многословный, безмысленный либо подтянутый, строгий, требовательный: как бы капитан в штормовом море среди своей команды, где нельзя молвить пустого, неверного слова.

Ручная работа подгоняла мысль, а резец, казалось, обтачивал и ее. Мысль принимала форму. Фраза ложилась к фразе, складываясь в предложение. А станок жужжал, нога Петра неустанно нажимала на педаль, стружка бежала и бежала. Провел в токарне три отрадных часа. А спать лег рано — натешился.

Катерина умела быть незаметной, ненавязчивой, понятливой и тихой как мышь. Она старалась оберечь покой своего господина. Понимала: сохранить себя в нынешнем да и в будущем ей удастся, если она станет нести свое счастье как полную до краев чашу — с величайшей осторожностью. Она научилась упреждать любое желание своего повелителя — наука не из простых. Ибо царь Петр был человек необыкновенный. Угодать необыкновенному человеку, быть легкой для него, дарить его одной только радостью — таков ее удел.

Рано лег — рано встал. Никого не тревожа, прошел в кабинет, очинил перьев и стал писать то, что обдумал накануне в токарне.

Указ о повиновении всем распоряжениям Сената, указ самому Сенату... С ожесточением ткнул перо в чернильницу, полетели брызги, перо смялось, и он бросил его под стол.

Взял другое перо, и мысли потекли ровней. Сенат оставался за него, стало быть, ему следовало быть на уровне государя. То есть суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать отнятием чести, а то и всего имения, тож и ябедникам последует. Отставить во всем государстве расходы излишние, напрасные. Денег как возможно больше обирать, понеже деньги суть артерия войны — полюбившийся ему образ. Собрать молодых дворян в офицеры, а наипаче тех, которые укрываются, сыскать... Предписывалось персидский торг умножить...

Кабы чего не забыть. Походил по кабинету, пощипал короткие усики, вспомнил и приписал: «Учинить фискалов во фсяких делах, а как быть им, пришетца известие».

Давно затенвал фискалов, да все как-то руки не доходили. А меж тем указы царские не исполняются, нерадение множится, а смотреть и предотвращать сие некому. Испытал облегчение: легло на бумагу, теперь Сенат о том порадует.

В шесть утра явились мужи государственные. Он вручил им свои бумаги, потрактировал несколько и велел все довести до кондиции. И, ощутив облегчение, отправился снова в токарню — доделать то, что не успел доточить вчера.

Успокаивающе журчал станок, вилась стружка, и влад с нею вились, множились мысли. Деньги, деньги, деньги — вот что заботило его более всего. Для того чтобы наплатить несытое брюхо войны, войны на два фронта, надобилось много денег. Соль — деньги, притом немалые, ремесла — деньги, торговля — деньги...

Божьих слуг потрясти не худо бы: у них мощна набита, притом более от жадности, а всего менее от нужды. А еще нужны России новые люди, кои могли бы влить свежину в ее закостеневшие артерии. Отчего бы не иноземцы? У них иной взгляд на жизнь, иной склад ума, иной кругозор.

Петр охотно привлекал новых энергичных людей, не глядя, какого они роду-племени. И окружал его ныне разноплеменный народ, сошлись в царской службе Запад с Востоком. Вот Владиславич-Рагузинский, серб, потомок княжеского рода из Рагузы — славянского Дубровника. В Турции живал, обычай тамошний знает, давал дельные советы послу в Царьграде Петру Андреевичу Толстому. Исправно служил в Посольском приказе, и был казне прибыток от его торговых дел. Ныне будет состоять при нем в походе на турка. А вот Бекovich-Черкасский, крещеный кабардинский князь. Вице-канцлер Шафиров — крещеный еврей, Антон Девьер, его соплеменник из Португалии, стал генералом в русской службе, шотландец Брюс — генерал-фельдцейхмейстер, главноначальствующий в артиллерии...

Он сложил инструмент, стал растирать ногу: прошла по ней судорога. Бросил прощальный взгляд на токарный станок. Увы, теперь свидание с ним откладывается надолго. Бог весть когда закончится эта нежданная нежеланная война с турком.

Министры и новоизбранные сенаторы покорно дожидались его возвращения. Воззрились на него в ожидании царева напутного слова.

— Господа Сенат! — воззвал Петр. — За отлучкою моей станете вы править в государстве. Указы вам на сей случай сочинены. Токмо не по единому слову указов, а по сердечной праведности вашей надлежит вам действовать. Главное же по отъезде моем нелицемерно трудиться о денежном сборе, понеже деньги, как писал я в указе, суть главная артерия войны, и без оных последует разбитие войск наших за недостатком оружия, амуниции и разных припасов...

От господ сенаторов речь держал граф Мусин-Пушкин.

— Ваше царское величество пусть не сумлеается — порядок в государстве будем содержать всенепременно и указам ревнительно следовать.

Граф говорил долго и витиевато: среди господ сенаторов он был главным златоустом. Петр слушал его вполуха. Время утекало меж пальцев, и царь не мог его удержать. То время, которое паче оружия служит иной раз победе либо поражению.

Он бесцеремонно прервал очередного оратора: им был князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский по прозванию «монстра».

— Сир, довольно языком молоть. Недосуг — война кличет, ехать надобно.

Петр раздувался от нетерпения. Как-то вдруг открылись ему все потери и протори. Он приказал собираться по-быстрому, ибо ожидать никого более не станет.

Много народу в свите, чрезмерно много. А что поделаешь? Огромный выходил обоз. Близ двух тысяч карет, поставленных на полозья, возков, саней. Да еще конного народу полтора полка. Не только люди военные да чиновные, походные канцелярии, но и жены офицерские да генеральские, иные с детушками, а с ними слуги да холопы, повара да мундшенки...

Отбывали из Кремля после торжественного молебна с освящением. Наперед пустили большую часть обоза — самую никчемую и неповоротливую ее часть — дамскую и челядинскую. Царь поглядел на нее издали и махнул рукой. Нету сладу со всей этой оравой, камнем повиснет она на шее армии.

Махнул рукой и вернулся в Преображенское. Там полным ходом шли сборы.

— Медленно ворочаетесь, — сердито буркнул он, проходя мимо Катерины. — Когда еще было сказано все увязать.

Она неожиданно расплакалась: день-деньской суетится, за хлопотами забыта еда и питье, а тут попрек... Несправедливость горше всего.

— Вот еще чего, — смягчился Петр. Последнее время он как-то ее не видел — занят был по горло. — Полно тебе, матушка, слезы-то лить. Чать, не обидел я тебя.

Говорил, а сам понимал: обидел, обидел. Не глядел в ее сторону, бурчал.

— Царь-государь, разлюбил, верно, рабу свою, — бормотала она сквозь слезы. — Али провинилась чем, рассердила, прогневала? Али негодна стала?

— Угодна, угодна, — торопливо произнес Петр и ушел к себе.

На столе все еще громоздилась кипа бумаг на резолюцию. Писал, разбрызгивая чернила, откладывал и снова писал. Раздражение, копившееся весь день, изливалось в надписях: они были коротки и ругательны, вовсе не для деликатного глаза.

Напоследок подумал о Екатерине. Теперь, когда она прикована к нему церковным обетом, как цепью железной, он утратил то беспокойство, которое постоянно ощущал, когда она жила на стороне.

Ощущение прочности — он добивался его во всех своих делах — теперь уж не оставляло его. Прочности их связи, освященной церковью. И сердцем.

Он погасил свечи и пошел на половину Екатерины. Она готовилась ко сну, но, увидев своего повелителя, засветилась.

— Ай, вспомнили меня, рабу свою верную, государь-батюшка, — всплеснула она руками.

— Не забывал, — усмехнулся он. — Забот полон рот, отодвинули тебя те заботы.

И обнял ее упругое податливое тело, повиновавшееся всякому его движению. И желанию.

Неожиданно она отодвинулась. Розовое тело светилось в полумраке.

— Рубаху сниму. Дозвольте и с вас.

И нетерпеливыми руками стала расстегивать его камзол.

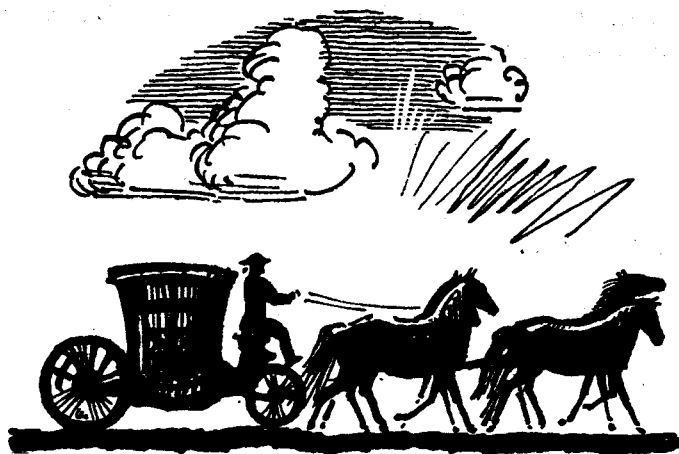
— Не успел, — оправдывался он.

— И не надо. Это мне в радость. Я все сама...

— И мне, — бормотал он, покорно отдаваясь ее рукам. Не покорствовал и не привык покорствовать, но тут это было ему в радость. Только тут. Желание все жарче и жарче разгоралось в нем.

— Катеринушка, — простонал он, уже мучимый ее руками, ее губами, всем ее жарким телом.

Теперь они царствовали оба.



Глава четвертая ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ

С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ.

Книга пророка Иезекииля

Голоса: год 1711-й

Петр — Мусину-Пушкину

При сем посылаем вам книгу артиллерискую Бухнерову, которую велите напечатать. Также велите поискать на дворах князь Александра Даниловича Меншикова или на Потешном дворе коляски маленькой, которая, едучи дорогою, чрез инструмент ука-

зывает, сколько уедет в час верст, и, обыскав, пришлите к нам.

ГРАМОТА ПЕТРА ХРИСТИАНСКИМ НАРОДАМ,
ПОДВЛАСТНЫМ ТУРЦИИ (С ГРЕЧЕСКОГО)

...Я, царь московский и всероссийский, посылаю это письмо... всем верным, всем митрополитам, любящим нас, а также воеводам, сардарам, предводителям клефтов, начальникам и всем единоверным христианам, и ромеям... а также сербам, хорватам, арнаутам боснийцам, и всем, находящимся в монастыре Румелии, в Черногории, черногорцам, яниотам, дерниклидам, торнувлидам... короче говоря, всем, кто любит Бога, и всем христианам шлю привет и вручаю вас Богу. Я беру на себя тяжкий труд ради любви к Богу, для чего я выступил на войну против Турецкого царства...

...каждый, кто любит нас и любит Бога и уповает на него и хочет войти в рай,— все с чистым сердцем пусть возьмут на себя тот же труд... Настоящая война, которую я веду, является справедливой... И объединимся против врага, и опояшем себя шпагой, начнем войну, прославив царство наше, ибо ради освобождения вашего я иду на муки...

Петр — Сенату

...О высылке в Смоленск правянтну подтвердите, дабы определенное число по указу было выслано, что зело нужно, ибо по наш в Смоленск приезд ничего в привозе не было, а половодье приближается и когда вода уйдет, то по Двине невозможно будет провезть.

Петр — Меншикову

...На маеора Шульца превеликая есть жалоба не точию в грабеже, но в убийстве; того ради изволь его к нам прислать с провожатым. Також зело удивляюсь, что обоз ваш с лишком год после вас

мешкает; к тому ж Чашники будто на вас отобраны или претендуют... В чем зело прошу, чтоб вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас не оскорбится о том, ибо первая брань лутче последней, а мне будучи в таких печалех уже пришло до себя и не буду желать никого.

В протчем предаю вас в сохранение Божие, и здесь пили в вашей вотчине про ваше здорovie.

Петр — Апраксину

Господин адмирал. Понеже мы слышали еще на Москве при отъезде своем, что татары как кубанцы, так и хан ушли паки в свои жилища, и когда так учинилось, то уже вам корпус Бутурлина требовать и с оным случатца, також и вам на Украине долго мешкать не для чего. Того ради и рассуждаю вам итьтить к Азову и казаками и калмыками и протчее действовать с начала весны водою и сухим путем, как говорено и как Бог вам вразумит...

Петр — королю Августу II

Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший брат, друг и сосед. Нашему королевскому величеству и любви не могу оставить, не объявляя, что я третьяго дни в Слуцк приехал и тотчас отсюды в Луцк на Волынь чрез почту еду. И понеже при нынешних случаях наша общая полза нужно требует, дабы нам с вашим королевским величеством, коль скоро возможно, видетися, и тако прошу ваше величество паки, да изволите такоже в близость от того места приехать и место назначить, где мы счастье и увеселение имети можем друг друга приветствовать и о настоящих нужнейших делах согласие учинить.

Утопали, уездили дороги к Преображенскому, стали они широкими да гладкими — до блеска, в лучах восходившей луны, в колеблющемся свете смоляных бочек, факелов, фонарей...

Весна все еще медлила, с вечера начинал хватать крепкий морозец. И слава Богу, слава зиме! Санний-то путь легок и быстр, не то что колесный. А ежели наездить дорогу, то вовсе распрекрасно.

Наездили, да еще как! Все дороги окрест были запружены. И самому царю пришлось бы пробивать себе путь.

Он же все еще приутоплялся. Домашние держали его за полы, мужи его совета, сенаторы и прочие, касавшиеся до управления, — за бумаги да резолюции. Словом, как перед всяким отъездом: на охоту ехать — собак кормить.

Стефан-митрополит с причтом из иерархов святили каждую карету, каждый возок да сани. Всем досталось по капле святой воды — обороны от нечистой силы.

Толпились вокруг царя сановники, отправлявшиеся с ним в неведомый путь, сенаторы, губернаторы, призванные для проводов царя: князь Матвей Петрович Гагарин, правитель всея Сибири, великий лихоимец; ближний боярин Петр Матвеевич Апраксин — губернатор казанский, братец адмирала; Алексей Курбатов — правитель архангелогородский, из простых мужиков, возвышенный царем за смекалистость; управитель Московской губернии Василий Семенович Ершов... Народ сиятельный и народ попроче — все толпились за оградою Преображенского — кто где.

Время утекало. Несильное мартовское солнце неспешно, но неотвратно укатилось на запад. Ему наследовал месяц, выныривавший из облачных ухабов. А в Преображенском все гомонили.

Петр вывел Екатерину на крыльцо. Он цепко держал ее за руку, словно боясь бегства.

— Почитайте Екатерину Алексеевну за царицу, — громогласно объявил он.

Новоявленная царица залилась краской, и это ей шло.

— Вот уж поистине маков цвет, — вполголоса сказал подканцлер Петр Павлович Шафиров канцлеру Гавриле Ивановичу Головкину. Они поклонились новой царице низким поклоном. Знали: старая царица пострижена под именем инокини Елены и надежно упрятана в Покровском монастыре в Суздале.

По людям как волна прошла — поклонились все. Среди вельмож не было, однако, таких, кто не знал бы происхождения царицы. А что было ведомо вельможам, ведали и холопы их.

— Царь Мидас прикосновением своим обращал все в золото, — вполголоса заметил Головкин. — Наш царь Петр Алексеевич и холопа прикосновением своим обращает в высокородного.

То был прозрачный намек не только на явление новой царицы, но и на стоявшего рядом подканцлера. Петр Павлович Шафиров был крещеный еврей и взят из лавочных сидельцев в Посольский приказ за знание языков разных. Гаврила Иванович несколько ревновал царя к своему подначальнику, волею прихотливого случая попавшего из грязи если не в князи, то в бароны. Петр нуждался в нем и часто призывал для совета — гораздо чаще, чем самого канцлера.

Ждали слова царя, глазели на новую царицу: мало кто лицезрел ее прежде.

— Пригожа, пригожа, — прошелестело в толпе, окружившей крыльцо.

И в самом деле пригожа. Статная, белокожая, чернобровая, она казалась боярского либо дворянского рода-племени, во всяком случае под стать царю. И выбор его был молчаливо одобрен.

— Езжайте, — наконец произнес Петр.

Сказал негромко, но был всеми услышан, ибо то было слово царя, и относилось оно ко всем и ни к кому в частности.

— Езжайте с Богом, — повторил он и оборотился в дом.

Открылась суета, задвигались кареты и возки, закрипели, зашуршали полозья, причудливо заплясали огни факелов. Место перед главными воротами, дотоле заставленное сплошь, быстро очищалось, давая дорогу царскому поезду.

Царь прощался с любимой и единственной кровной сестрицей своей царевной Натальей. Комнатные девушки, окружавшие ее в светлице, завидев его, в испуге прыснули за дверь.

— Прощай, Натальюшка, — он трижды поцеловал ее и перекрестил.

— Прощай, государь мой батюшка. Храни тебя Господь, — она трижды перекрестила Петра. — Наклонись-ка, дай поцелую тебя.

Петр покорно наклонился. Наталья обвила его шею руками и заплакала.

— Храни тебя Бог, — повторяла она сквозь слезы. — В Катериныны руки отдаю тебя. Они у нее сильные... Она тебя соблюдет...

Петр вздохнул. Он не любил чьих бы то ни было слез.

— Душа мается, — признался он и рукой отер слезы Натальи. — Перестала бы реветь, и так тошно. Далекий, неведомый путь...

— От Полтавы недалеко, — перебила его Наталья. Глаза ее высохли, она глядела ясно. «Мудро молвила, — подумал Петр. — И в самом деле, недалеко, и путь вроде свычен». Наталья же, словно угадав его мысли, продолжала: — Бывал ты тем путем. А потому освободи душу, братец. Господь будет над тобой. И все мои мысли с тобою.

— Спасибо, Наташа. Береги себя — ты мне надобна и любезна. — И он снова поцеловал ее в лоб. — Девочек моих призри, Аннушку и Лизаньку.

— Не беспокойся, государь-батюшка, глаз с них не спущу.

— Пошел я.

— Ступай, братец, с Богом.

Царица Прасковья с племянницами, царевны Мирославские поджидали его на крыльце. Мирославских было много. Все они не любили царя, но глубоко прятали эту свою нелюбовь: царь был грозен, страшен и непонятен. Непонятность и непредсказуемость страшили более всего. Полно, в самом ли деле зачала его Наталья Нарышкина от богобоязненного и милостивого царя Алексея? Не вмешался ли нечистый либо немчин окаянный? Эвон какой он, царь-то, огромный да рыкающий, с лютерским семенем якшается, одно оно ему по сердцу. В жены-то от живой православной супруги боярского корня взял безродную лютерку. Все установления презрел. Ну не срам ли!

Петр Прасковью облобызал и племянниц тож, остальным поклонился. После разговора с сестрой стало ему легче, душа и в самом деле мало-помалу облегчалась. Видно, от того, что ко времени вспомнила Натальюшка Полтаву. А и в самом деле: и тогда путь был далек и безвестен, а неприятель куда как грозен, не чета турку...

Была Полтава, был Азов — тоже край земли, вотчина татар да турок. Сладили. И со шведом, и с басурманом.

— Готова ль ты, государыня, в дорогу? — повернулся он к Екатерине.

Екатерина почти сбежала с крыльца. За нею следовали боярышни, назначенные в свиту, будущие фрейлины, и комнатные девушки. Присела перед ним в поклоне, торопливо произнесла:

— Готова, ваше царское величество.

Петр стоял, раздумывая. Хотелось бы ему в Катенькину карету, да привалиться к ее теплому плечу, вдохнуть запах ее тела и задремать под укачивающий бег саней. Но этикет нельзя было нарушить: в царицыной карете место ее боярышень...

Вздохнув, подозвал Макарова:

— Со мною кроме тебя да денщика Головкин и Шафиров. Выдужит карета нас?

— Во многих дорогах проверена, — отвечал Макаров. — Сильная карета.

— Ну и с Богом, — заключил Петр. И зашагал, не оскользаясь, саженными своими шагами. За ним засеменяли остальные.

Морозец хватал чувствительно, темень была раздвинута многими огнями, плясавшими на ветру. Огромный царский обоз, скрипя полозьями, правил на юго-запад.

Снежные просторы были немые и мертвые. Не было, казалось, окрест ни жилья, ни человеческого духа. А то, что гляделось тусклыми огоньками деревень, были рисковые волчьи глаза.

Невольная тоска пред этими просторами, тоска по теплому дому, с которым, Бог весть, придется ли свидеться, охватила всех...

Молчал Петр, молчал Головкин, молчал обычно говорливый Шафиров... Все они были немолоды, утеряти былую подвижность да и бывшее любопытство путешественника: успели на своем веку побывать в разных странах, наглядеться диковин. Покойной бы теперь жизни, в круту детей да внуков...

И даже царь — самый неумный из них, самый беспокойный и любопытный — притих и оборотился взором внутрь себя.

Там была Катерина. Ни за что и никому, даже сестрице Наташе, которой он доверял все, не признался бы в этом. То была его слабость. Слабость человека, а не повелителя огромной страны. Он же слыл, и совершенно справедливо, человеком, не ведающим слабостей. Можно ли было счесть слабостями корабельное строение, токарное ли дело и иное ремесло, коему он был привержен? Нет, разумеется, то было увлечение, коему подвержены и цари и короли. Такое же увлечение и Катерина. И бражничанье и шутейство...

Господь все простит, ибо несет он, Петр, сиречь камень, на плечах своих огромную тягость — великое царство. Трудяется ради блага его — единая то цель его жизни. Дабы могло оно, царство Российское, процветать среди всех языков и племен.

Катерина его — малая слабость. Единственная женщина в его жизни, без малого сорокалетней, которой он пока так и не насытился. Единственная женщина, в которой он испытывал нужду. Что-то в нем она открыла, какую-то задвижку. И хлынула из сердца теплота и нежность, которых в нем почти не было прежде. И не иссякает этот благодатный источник.

Ее ли это любовь беззаветная? Видно, любовь может из, казалось бы, заурядной женщины свершить чудо преображения в как бы природную царицу.

Не было в том игры, нет. Все было естественно. Любовь сотворила царицу. А в глазах глядящих со стороны? Осталась ли она безродной служанкой пастора Глюка, какой была до своего пленения?

Карета Катерины следовала за царской. Ох и хотелось Петру перебраться к ней! Но то была бы слабость, ее грешно было обнаружить.

Да, вот она, его ахиллесова пята. На первых порах. Со временем — он знал это — чувство загустится. Мало-помалу его заменит привычка, а за нею проберется равнодушие, быть может, даже отталкивание. К тому времени явится новая приманка. Может, и раньше... Ныне же все свежо, все остро, все так прекрасно, как прекрасно ясное весеннее утро...

Спутники царя молчали. Видно, ждали, когда заговорит их повелитель. Шафиров подремывал, Головкин тоже клевал носом. Слышен был лишь скрип полозьев и глухие удары конских копыт о наледь.

Молчание копилось, сгущалось и наконец стало невыносимым. Петр это почувствовал и первым разрядил его:

— Алексей, где ставить будем?

Спутники его мгновенно задвигались, а Макаров, которого тяготило молчание, обрадованно ответил:

— В Вязьме, стало быть, ваше царское величество.

Макаров ведал расписанием поездок в недалеких ее пределах и сочинял «Походный журнал».

— Всю ночь будем ехать, на подставках кормить лошадей, знать, еще полдня уйдет, пока достигнем. Ежели, государь, приказать изволите, то и посреди пути можем стать.

— Придется небось, — пробурчал Петр. — Нужда заставить может.

— А вот в Туретчине, — обрадованно заговорил Шафиров, — батюшка мой сказывал, ездят токмо днем, до захода солнца. Ночью же Аллах, мол, ихний возбраняет правоверным всякое передвижение. Кто сей закон нарушит, платит в казну бакшиш, то бишь штраф.

— Там будто за всякую мелочь откупаются, — поспешил вставить свое слово Головкин. — И налоги есть будто на зубы и на ноги...

— Насчет этого не знаю, — снова вступил Шафиров. Служа в Посольском приказе, он напился рассказами бывалых людей, и все они осели в его вместительной памяти. Он мог рассказывать часами свои, а более всего слышанные от других истории, и всегда находил охотников их слушать. — За все надобно платить, да. И чем чиновник именитей, тем плата дороже. Княжье место тоже выкупать надлежит. Кто боле заплатит, тому и место либо кресло.

Петр подивился:

— Неужто господари мултянский да валашский тож выкупали свои престолы?

— Беспременно, государь. Вот когда вступим в ихние пределы да достигнем их, тогда из первых уст скажется...

— Какие ж они князья? — фыркнул Головкин. — На откупленном-то месте?

— Над ними турок властвует, — подтвердил Шафиров.

— Все едино — союзники они наши, — недовольно заметил Петр. — Сказано: с волками жить, по-волчьи выть. В своей же земле они, полагаю, княжат без умаления.

— Сумлеваюсь, государь, сколь надежна их власть, — не унимался Головкин. — Там небось над ними турецкие соглядатаи поставлены и все султану докладывают.

— Слышал я о том, — удовлетворенно подтвердил Шафиров. — Все в сих княжествах от великого визирия и иных султанских чиновников направляется. И дань они платят не токмо натурой, скотом, хлебом, но и детишками своими. Называется сия дань по-турецки девширме — дань кровью. Детишек у них отбирают, стало быть, и увозят в неволю. А там из них выращивают янычар. И все-то они терпят, все сносят, потому как истинной власти у них нету.

Петр недоверчиво передернул плечами.

— Страсти рассказываешь. Мало мы знаем, сколь угнетены единоверцы наши. Вот когда придем, все там и откроется, — рассудительно заключил он.

Здравомыслием царь возвышался над своими приближенными, отметаая всяческие рассказы. Оно было порою слишком жестким и трезвым, но то было истинно царское здравомыслие, которое подчас не могли оценить современники.

Порою, слушая сентенции царя, ловя ход его мысли, ближние его министры да бояре переглядывались и перешептывались: «Не наш, не российский это царь, не по-нашему рассуждает, верно говорят — согрешила царица Наталья с немчином, вот и занемчилось ее дитя. Что в нем от батюшки, от блаженной памяти царя Алексея? Да ничего! Ни ликом, ни статью, ни мыслью не удался в отца. Эвон какой орясиной вымахал — несуразный, саженный, строптивый. Демонское в нем нечто, нечистое. Эк корчит его родимчик...»

Петр знал об этих пересудах, дак ведь не урежешь всем языки. Приказано было Ромодановскому сыски-

вать и хватать в кабаках за таковые зазорные речи. Но не в хоромах, нет. Довольно с них и того, что против воли бороды обрили да в немецкое платье вырядили.

Боялись царя. Боялись гнева его громоносного да поносного, боялись глаз, метавших молнии, и голоса, гремевшего громом. Верили, что во гневе да и просто так может царь наслать порчу.

Докладывал обо всех таковых пересудах страховидный ликом да повадками, но простодушный князь Федор Юрьевич Ромодановский — князь-кесарь, превосходной верности подданный. Он занимался сыском и дознанием, вздергивал на дыбу, жег огнем, сек плетями уличенных в поношениях царского имени.

Ныне Петр на него всю Московскую Русь оставил. Сенат Сенатом, губернатор губернатором, а Ромодановский годами испытан и верней их всех.

Катились навстречу морозные версты, разговор мало-помалу заглох, кони бежали ровно, усыпляюще покачивалась карета, сон накатывал волнами. И перед тем как сморило всех, Петр приказал:

— Господа министры, ступайте в свои кареты. Мне тесно, мне место надобно, кое вы заняли. Будет день, будет и беседа...

Сделали короткую остановку. Господа министры вывалились в ночь, подоспели молодцы с факелами и проводили их по каретам.

Петр с наслаждением вытянул ноги — малость не хватало до полного роста.

— Спим, Алексей, — пробормотал он, натягивая на себя шубу. И почти тотчас же истинно царский храп сотряс стекла.

Мартовские ночи все еще долги. Вот и просыпались и снова засыпали, убаюканные мерным скрипом полозьев. Не просыпались и на подставах — лошадей перепрягали споро. Случались и непонятные остановки.

Всякое случалось: царский обоз растянулся на несколько верст.

Петр спал без сновидений, и сон его был крепок и короток: хватало и пяти часов. В этот раз отоспав свое и пробудившись среди ночи, он увидел себя в каретном заточении безо всякого дела.

Это было непривычно. Он повернулся на другой бок и постарался заснуть. Странно — заснул. И увидел сон.

Они с Катериной взошли на корабль. Удивительно: их никто не встретил. Корабль был пуст — ни матросов, ни капитана... Почему-то он не удивился этому. Как не удивился тому, что корабль вдруг сам собой покрылся парусами и пустился в плавание. Он удалялся от берега все дальше и дальше, пока не оказался в открытом море.

Было легкое волнение, когда они отплывали. Но вот море взволновалось не на шутку. Корабль полетел как птица. Паруса раздулись, выгнулись мачты, их скрип становился все пронзительней — вот-вот сломаются.

— Спускай паруса! — крикнул Петр. Но палуба была пустынна, и некому было выполнить команду — команду самого царя, шаутбенахта, контр-адмирала.

И тут грот-мачта с грохотом обрушилась, едва не придавив его.

— В трюм, Катенька, в трюм! — воскликнул он. Но в это время корабль лег на воду и стал тонуть.

Он метался по палубе в поисках шлюпки, потом стал звать на помощь... И с бессвязным криком пробудился.

Макаров участливо глядел на него:

— Аль приснилось худое, государь?

Петр, еще потрясенный, неотошедший, откинул шубу, напоззшую чуть не до глаз, и, с трудом разлепив губы, пробурчал:

— Задохнулся... Дыханье сперло... И сон дурной, будто тону вместе с кораблем.

— То от шубы, — заметил Макаров. — А что корабль приснился — от качки: дорога дрянная, ухабистая. Уж забрезжило, государь.

— Дурной сон, дурной, — повторял Петр. — Кабы не в руку. И вспоминать неохота. Не лег на душу — и без того стеснена.

Спал всегда без сновидений, а потому этот никак не хотел уходить из памяти. Он казался неким предзнаменованием, видением бедствия.

— Господи, спаси и помилуй, — вздохнул он и трижды перекрестился. Нет, Бога он не забыл, что бы там ни говорили его хулители, какую бы напраслину ни возводили. Ныне царь в ответе и за церковь: патриарха нет и более не будет. Ибо один владыка должен быть у государства. И этот владыка — царь и великий князь, он, Петр Алексеевич.

Перед отъездом местоблюститель патриаршего престола митрополит Стефан представил пункты на высочайшее имя, дабы определил государь, куда какого архиерея поставить. Не Бог весть какой труд: все были поставлены. Изрядно насмешил последний, восьмой пункт. «Чтоб мне, — жаловался Стефан, — в Новодевичьем монастыре порядки духовные между духовным чином не возбранял князь Федор Юрьевич Ромодановский».

— Так, ваше кесарское величество, — выговаривал Петр, — не утесняй митрополита, да еще в Девицьем монастыре. Ишь, куда забрался, блядун старый. Небось всех монашек успел перепортить.

— И без того шалят монашки, мин херц Питер, — невозмутимо отвечал Ромодановский своим рыкающим басом. — Порядок меж их навожу, вот что.

— Глядишь, принесут тебе в подолах малых кесаренков, — засмеялся Петр. И уже серьезно добавил: — Без крайней нужды в дела духовные не мешайся, хоть ты и кесарь.

— Соблюду, мин херц Питер, — пообещал Ромодановский.

...Занялся рассвет, и снова открылись заснеженные просторы, леса и перелески, утонувшие в сутробах избы. Обоз вытянулся необозримой дугою, противоположный ее конец терялся в утренней мгlistой дымке. Солнце восходило за облаками, их неплотная завеса пропускала кое-где его лучи, и оттого все окрест было залито мягким жемчужным светом.

— Пора привалу быть, — промолвил Петр, потягиваясь. — Есть хочу, много еще чего хочу.

— Скоро Вязме быть, государь, — отвечал Макаров. — Там все приготовлено для привалу.

— Курьеров не было ли?

— Не успели, государь.

— Может, в канцелярии пристали?

— Канцелярским велено тотчас представлять доношения.

— Нерасторопны они, канцелярские, — пробурчал Петр. — Ох и застоялся я, залежался, размяться бы на воле, — пожаловался он.

— А вот я сейчас гляну: по времени пора бы и подъехать. — Макаров приоткрыл дверцу кареты и обрадованно воскликнул: — Край деревни, первые избы, государь! Знать, она Вязма и есть.

Путевой дворец? Нет, на дворцы царь согласия не давал. А вот пристойную избу подобрать и изрядно почистить — иное дело. Для кратковременного ли отдыха, для долгого ли пребывания, но чтоб было все устроено наилучшим образом. И чтоб — избави Боже! — не ползало б ни единого таракана: его царское величество весьма брезгует.

Соблюди: изба была натоплена, украшена, начищена, клопы да тараканы загодя выморены. У государя была своя половина, у государыни своя. Походная поварня прибыла наперед со всеми яствами и питьями. Равно и лейб-артц, то бишь придворный доктор со всей своей

амуницией и помощниками. Им отвели соседнюю избу. Хозяев переселили покуда. Зато эдакая честь: сам царь-государь изволил пребывать с министрами его. Вдобавок освятил сии избы иерей высокого сана, чего в Вязме сроду не бывало и быть не могло.

Завтракали чинно и в молчании — царь, царица и первые мужи государства. Царицу пожирали глазами — была еще в диковину. Петр усмехался: мужики и есть мужики, хоть глазами, а готовы слопать первую даму государства.

От долгого лежания в карете в стесненном состоянии, от неподвижности он чувствовал задержание и дыхания и кровотока. Ходил по избе, разминался, но стесненность не проходила.

— Идите, господа министры, по местам, — без обиняков объявил Петр. — Мы тут с государыней помешкаем после долгого пути.

Выдворил всех — и своих денщиков, и царицыных девиц. Постель была положена просторно. Он стянул камзол.

— Иди-ка, Катинька, ко мне.

— Иду, ваше царское величество, мой господин желанный.

Так она мягко, возбуждающе приговаривала, то шепотом, то вполголоса, то вовсе вскриком, что Петр тотчас разгорелся. То был взрыв — огненный, огнедышащий, дышащий часто, ровно кузнечный мех.

«И как это она умеет, сколько в ней женского, ворожейного, экое зелье приворотное, непостижимое», — думал он, приходя в себя и постепенно остывая.

Ее рука, как подушка, лежала у него под головой.

— Матушка мне сулила тебя, — медленно выговорил он. — Говорила: будет-де у тебя супруга лицом пригожа, сердцем обильна, телом щедра, и будешь ты любить ее по гроб жизни. Сама же взяла да и ожила на Авдотье.

— Стало быть, вы, господин мой великий и вечный, согласились, — осторожно произнесла Катерина.

— Она, покойница, царствие ей небесное, со мною совета не держала. Да и я мало что понимал в те года несмышленные. Осьмнадцать еще не было.

— Вы мой государь, мой господин, мой царь-батюшка, великий и преславный, — и она губами провела по его шее. Губы были мягкие, теплые и нежные.

— Да, — охотно подтвердил Петр, — и да будет так. — Но на лице его была печать какой-то иной мысли. Он начал с некой торжественностью: — Одиннадцатого августа, только меня понесла матушка, призван был к ней воспитатель детей царских, муж великой учености и сочинитель преизрядный Симеон Полоцкий. И велено было ему составить гороскоп на мое рождение. Сказывала матушка: все вышло точно, как он предрек. Что спустя де восемь месяцев родит она сына, который всех бывших в России славою и деяниями превзойдет. И имя его будет Петр, то бишь камень, ибо тверд пребудет в делах своих, яко камень... Сбылось все, и батюшка много тому дивился и велел наречь меня Петром. Не дождался только славы моей.

— Душенька его на небесах ликует, — Катерина снова провела пухлыми губами по его шее.

То были ласки, им не испытанные, как бы утаенные от него женщинами. Они были робки, пассивны, отдавались ему без чувства, словно бы по долгу верноподданных. Катерина же с самого начала была полна той женской смелости, жадной наступательности, которая приковывает мужчину крепчайшими узами. И он, как бы вняв ее неслышному призыву, повернулся к ней и сжал ее в объятиях.

Но некто беспокойный, нетерпеливый гонитель, поселившийся в нем с малолетства, вдруг ослабил его руки.

Он боялся его — того, кто в нем издавна поселился. Не бес ли это — опасался он, когда на к а т ы в а л о.

Этот некто, нечистый и зловредный, живший в нем сам по себе и своевольничавший, гримасничал помимо его воли, корчил рожи, гнал и гнал куда-то, вызывая припадки беспричинного гнева.

Временами нечистый становился и вовсе всевластен, настойчив и несносен, гудел, зудел и всяко терзал его. Тогда Петр вскидывался, ярился, становился страшен — этих припадков ярости панически боялись все.

Порой они заканчивались судорогами, беспамятством и одеревенением. То были припадки падучей. Никто не мог с ними сладить — ни придворные доктора, ни знахари-травники, ни заезжие медицинские светила.

Вот и сейчас бес, сидящий в нем, вдруг вскочил и стал терзать его.

Петр заскрипел зубами и отшатнулся от Катерины. Закрыв лицо руками, чтобы она не видела перекосившей его гримасы.

Единственный, кто не боялся царевых припадков во всем государстве, была она — Катерина. У нее хватало сил спеленать его своими руками. То были целительные объятия. И он постепенно затихал. И затих.

— Петруша, Петенька мой, владыка, царь великий, — приговаривала она, отирая пену, выступившую у него на губах, и глядя его голову. Царь засыпал у нее на руках. Он спал долго — иной раз часа три. И все это время она терпеливо поддерживала его.

...Наконец Петр очнулся. Глаза были мутны, рот полуоткрыт.

— Опять накатило, — выдавил он.

— Погодите, господин мой, сейчас принесу кваску...

— Принеси, принеси, Катеринушка.

Петр пил жадно, и бледность, заливавшая его лицо, постепенно отступала.

— Не напугалась? — спросил он, лишь бы о чем-нибудь заговорить.

— Разве ж впервой. Жалела я вас, батюшка царь. Чего ж пугаться.

— Бес-то, он, окаянный, за грехи мои терзает, — сокрушенно вымолвил царь. Он суеверно боялся этого своего беса, поселившегося в нем с отроческих лет, — боялся припадков падучей. Они посещали его нечасто, и когда при нем была Катерина, она по-матерински смирляла их остроту.

Отчего накаывает? Петр пытался дознаться у медиков. Они же напускали туману ученых слов, сквозь который не продиралась истина: состояние-де атмосферических сгущений и избыток желтых тел, что происходит от неумеренности...

Сгущения и желтые тела — это все ученая хреновина, а вот неумеренность, даже непомерность — это, пожалуй, верно. Был непомерен во всем: в еде и в питии, в свальном грехе... Медякусы об этом знали.

Смирлял себя елико возможно. Да как-то не смирялось. Господь наградил его непомерностью — во всем. Вот он и взыскивает. Не по-божески, а по-дьявольски...

Поди знай, что сейчас пробудило беса и он почал трясти? Ведь вина не пил, разве с Катинькой согрешил маленько. Так ведь грешил с нею куда как шибче, а ничего, кроме истомы, не бывало.

— Ослаб я. Беспокойства много.

— Может, погодить с ездою-то, батюшка царь? — обеспокоилась Катерина.

— Нет уж. И так промедлили. Отойду я, оклемаюсь. Накатило! Скажи дежурному денщику, пускай Макарова призовет и господ министров.

Явились одновременно — Макаров, Головкин, Шафиров и лейб-артц Яган Донель.

— Хворь на меня напала, — сообщил им Петр. — Трясло. Кабы не государыня моя, совсем бы оплошал. Более часу не помедлим в Вязьме — прием путь. Вот только доктор Яган Устиныч даст мне некую оживительную микстуру либо пилюлю.

Доктор с важным видом стал извлекать из своего походного саквояжа коробочки и склянки. Отыскал нужную, положил перед царем, примолвя:

— Ваше царское величество знайт, как принимайт сии успокоительный пилюлькен против э-эпилепсия.

Доктор Иоганн Юстин Донель был штадт-физикусом в Нарве, когда ее захватили русские. Тогда же он изъявил желание служить победителям. Вышло так, что он оказался способней, нежели придворные врачи. Нраву был покладистого, советы давал дельные, лекарства подбирал действенные. Русский язык медленно ему поддавался, но царь и по-немецки с ним объяснялся.

— А скажи, Яган Устиныч, не лучше ли нам с господами министрами опрокинуть для ободрения и лечения по стакану водки? — решил подзудить его Петр.

Доктор Донель обиженно поджал губы:

— Ви знайт, ваше величество, что я враг водка. Много водка — мало здоровья.

— Стакан — разве много?

— Не пейте, ваше царское величество, — умоляла Катерина. — Доктор добра хочет. Мы все хотим добра. После всего...

Министры включились в дуэт, и Петр нехотя согласился:

— Ладно, не стану. А вы примите — за мое здравие. И ты, государыня, прими, за-ради доброго пути.

Принесли, поднесли — выпили. Царица господам министрам не уступила — вровень с ними осушила стакан. Закусили семужкой деликатного соленья, присланной Меншиковым. И повеселели. Царь как бы и не недужил — шутил, над министрами подтрунивал, подзуживал: испейте-де по второму стакану — Бог любит пару, а пуще всего тройцу.

Отказались.

— Вольному воля, — водочный дух раздражил Петра, его тянуло выпить, благо доктор Донель с досто-

инством удалился, видя, что в его услугах больше нет нужды. Хотелось все пуще, да Екатерина глядела настороженно и с укоризною. Компания не складывалась.

— Знаю, пошто отказывается — доктора боитесь. Доктора бояться — водки не видать, — пошутил он. — Тогда едем, что ли.

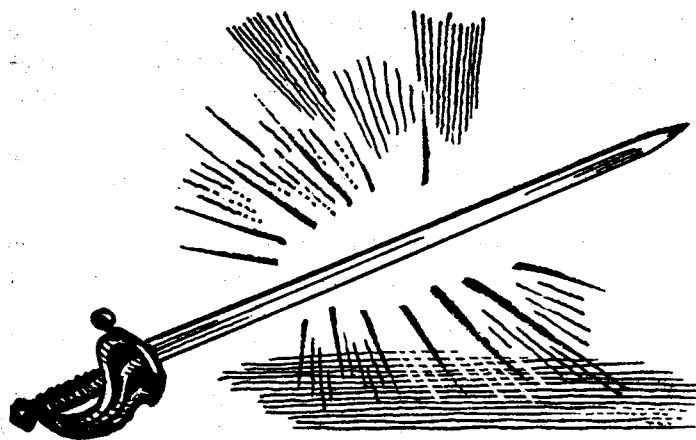
И все вывалились из избы. Кучера топтались возле карет. Яркое, по-весеннему светило солнце, и снег под его лучами плавился. Лужицы и лужи обратились в купальни для воробьев. Март решительно повернул на тепло.

— Пока на полозьях покатаем, — заметил Петр. — Ишь как высветлило, к вечеру дорога потает.

— В Смоленске переставим на колеса, — убежденно произнес Головкин.

— Видно, к тому пошло, — подтвердил царь.

Обоз тронулся в путь, к Смоленску. А над ним в небе распушились чистые, как свежесыпанный снег, облачка. И грачиная стая — беспечная вестница весны — летела в ту сторону, откуда прикатил обоз, к Москве.



Глава пятая

ВАРНИЦА, СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ...

Вспыльчивый человек возбуждает раздоры, а терпеливый утишает распрю.

Книга Притчей Соломоновых

Голоса: год 1711-й, март

Петр — подполковнику В. В. Долгорукову

Понеже вам в марше своем до самого Слуцка правянтю и фуражу нигде не получить мы не чаем, ибо места, как мы сами видели, весьма пустые, также и итти вам будет несколько миль лишку, того для не лутче ли вам итти на Мазырь, ежели там есть мосты. Также правянт и фураж за Припетью надеетесь себе получить, понеже вы сами там преж сего бывали и о тех местах сведомы.

Буде же там мостов нет и правианту и фуражу за Припетью получить не чае, то уже по нужде подите сюда, чего для в запас и мост велели изготавить здесь и правианту собрать.

Подполковник Семеновского полка князь П. М. Голицын — Петру

Премилостивейший царь, государь. Доношу вашему царскому величеству. Сего марта 18 дня получил я от вашего величества указ, в котором явлено, что нам в марше своем до самого Слуцка правианта и фуража получить невозможно и чтоб нам итить на Мазырь для лутчей выгоды в фураже... И нарочно посылал я по тому тракту вперед капитана для збору фуражу, не могли найти не токмо овса или сена, ни соломы...

Петр — Шереметеву

Ехать самому к Припети и гати ныне на снег и лед положить (дабы долее лед пот покрышкою мог быть). Также мосты или перевозки сделать, дабы как гвардию, так и рекрут, как возможно, перепустить чрез Припеть скоряя, также правианту собрать на месяц или недели на три.

УКАЗ ПЕТРА ПОСОЛЬСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

В Посольской канцелярии надлежит конечно к будущему 1712 году о первенстве детей и их наследстве перевесть из правил французских и аглинских (а буде возможно сыскать и из венецких).

УКАЗ ПЕТРА АСТРАХАНСКОМУ ПОЛКУ

Кой час сей указ до вас дойдет, то, не мешкав, как возможно, в Столине и от Столина до Луцка поставить подставы, чтоб на каждой было подвод ста по полтора, а по нужде хотя по сту, и чтоб подстава от подставы

не более была четырех или пяти миль (русская миля = 7 верст = 7469 м. — Р. Г.), також и самим по тем подставам с лошадьми разделитца. Сие зело нужно надлежит исправить под наказанием смерти.

Петр — Шереметеву

Господин генерал-фельтмаршал.

По получении сего письма вышлите к нам в Луцк, не мешкав, обер-камисара, которой роздает на пехотные полки жалование. Полки гвардии и с рекрутами, мы чаем, что уже ныне в Слуцк пришли, того для, дав им правиант, как наискоряя, извольте отправить так, как мы вам приказывали, препроводя сам оных чрез Припеть.

Сельцо называлось Варница.

Название странное, варварское. Король любопытствовал — у него было сейчас вдосталь времени на все, и на праздное любопытство тоже, — каково его происхождение и смысл.

Граф Понятовский, истинный кладезь учености, объяснил Карлу, что здесь, как видно, прежде варили соль. Ибо Варница означает солеварня. Слово это славянское, скорей всего русское...

Король не понимал.

— Что это значит — варить соль? Как это можно понять, любезный граф? Соль ведь, сколько я знаю, минерал. А как можно варить минерал?

— Соль бывает в природных растворах, ваше величество, — терпеливо стал объяснять Понятовский. — Для того чтобы она годилась в пищу, следует ее из раствора извлечь. Растворы эти бывают на поверхности, в соляных озерах, бывают и под землею. Складывают большую печь с вмазанным в нее котлом, разводят огонь, вода выпаривается, соль остается. И у нас, в Польше, такое сооружение называют варницей.

— Благодарю вас, граф. Вы, как, впрочем, и всегда, выводите меня из затруднений. Просветить можно и короля,— добавил он снисходительным тоном, однако безо всякой иронии. Но Понятовский отчего-то надулся и, торопливо откланившись, ушел к себе.

Вот уже скоро два года, как он, шведский король Карл XII, великий полководец, наводивший страх на всю Европу, томится в турецком захолустье, под стенами Бендерской крепости. Он, сокрушивший Данию, разбивший в пух и прах польско-саксонские войска во главе с королем-фигляром Августом II, который словно бы в насмешку был прозван Сильным. Он, Карл, и его генералы многожды бивали русских, в том числе и царя Петра.

И вот — Полтава.

Постыдное поражение. И бегство.

Бегство!!!

Он, Карл, снискавший имя непобедимого, принужден был бежать. Впервые за девять лет победоносных войн. И, по дьявольскому попущению, в день своего двадцатисемилетия!

Стоит ему возвратиться мыслью в те дни, как горло ему перехватывает ярость. Бессильная ярость. Ибо у него не было ни армии, ни денег — ничего. Он принужден жить на подачки и ждать своего часа.

Наступит ли этот час — час отмщения русскому царю? Он делал все, чтобы приблизить его. Он никогда ни перед кем не заискивал и мысли такой не допускал. И вот теперь он заискивает — заискивает перед турецким султаном, давнишним врагом России. На него — единственная надежда. Он снабдит его деньгами, он даст ему войско...

Король отправил к нему, к этому повелителю азиат, своего надежного, испытанного человека. Им был Нейгебауэр — некогда он служил в Московии и был даже воспитателем царевича Алексея, а потому служил источником ценнейших сведений о москвитях и нравах русского царя.

Нейгебауэр, этот искушенный в дипломатии и подкупках слуга короля, повез его послание султану. В нем были такие строки:

«Если дать царю время воспользоваться выгодами, полученными от нашего несчастья, то он вдруг бросится на одну из ваших провинций... Крепости, построенные им на Дону и на Азовском море, его флот обличают ясно вредные замыслы против вашей империи. При таком состоянии дел, чтобы отвратить опасность, грозящую Порте, самое спасительное средство — это союз между Турцией и Швецией; в сопровождении вашей храброй конницы я возвращусь в Польшу, подкреплю там мое войско и снова внесу оружие в сердце Московии, чтобы положить предел честолюбию и властолюбию царя».

То были сильные слова, слова истинного короля, уверенного в своем полководческом гении. Да, он подвергся тяжкому испытанию из-за рокового схождения планет. Но это преходяще, и его счастливая звезда снова засияет над ним.

Ныне он в самой поре — ему исполнится двадцать девять лет. Его ненавистник ровно на десять лет старше, стало быть, он уже старик. Его будет нетрудно обратить в бегство — Карл ныне опытен и предпримет все для победы. Русские говорят — Нейгебауэр просветил его: за битого двух небитых дают. Он, Карл, был бит, и этот урок пошел ему впрок.

Неспроста его враг, царь Московии, столь рьяно домогается у турок его выдачи и выдачи гетмана Мазепы. Мазепу Господь призвал к себе, а о нем, Карле, было отвечено, что шведский король и его свита — почетные гости Османской Порты. Московия не имеет права мешаться в дела империи, такое вмешательство будет рассматриваться как нарушение русско-турецкого договора о нерушимом мире.

И все. Никаких обещаний о заключении союза, о помощи войском. Граф Понятовский старался утешить его, говоря, что турецкое войско никуда не годится,

что оно может одолеть неприятеля лишь при одном условии — при подавляющем превосходстве, да и то не всегда.

— Они не любят воевать, ваше величество, — Понятовский наблюдал их в сражении, — они любят пограбить. Если же нет такой возможности, они просто ретируются с поля битвы. Вы ни за что не обучите их регулярному строю и согласованным действиям.

Да, эти увертливые азиаты водят его за нос вот уже два года. Единственное, чего он смог наконец добиться, затратив все сколько-нибудь возможное красноречие, приведя неотразимые аргументы, суля победы и всяческие приобретения, — это объявления войны Московии.

Рок продолжал тяготеть над ним, планеты ему не благоприятствовали. Он послал отряд из верных шведов и завербованных казаков, дабы пробился он в Померанию, где стоял корпус генерала Крассау, и побудил его выступить в освободительный поход на соединение с турецкой армией. Увы, русские каким-то образом проведали об этом, и под Черновцами бригадир Кропотов разбил отряд отборных воинов...

Господь отвернулся от него вместе с воинским счастьем. Но несомненно, что это временная немилость и планеты станут ему благоприятствовать. Он, Карл, любимец славы. И слава к нему непременно возвратится.

Зато султан объявил России войну. И началось сближение войск. Ему доносят: царь вышел из Москвы и его армия движется на юг. Великий визирь собирает войско в Эдирне.

Его час должен настать! А пока он вынужден прозябать в этой Варнице, под стенами Бендерской крепости. Правда, он окружен верными людьми. Полторы сотни шведов, более четырехсот драгун и драбантов да две тысячи запорожских казаков — вот покамест та сила, на которую он может положиться.

Ему здесь воздают королевские почести. При нем воевода Потоцкий со своим отрядом — бывший киевский воевода, прогнанный русскими. При нем — граф

Понятовский, тоже изгнанник, правая рука польского короля Лещинского, которого утвердил на троне он, Карл, но согнали те же проклятые русские; граф теперь его советник и прекрасный собеседник. Наконец, при нем шведы — верные подданные даже в несчастье, такие же изгнанники, как и он. Они верят в его звезду и терпеливо ждут ее восхождения.

Король Карл может теперь не опасаться диверсии московитов: он под защитой крепостных стен и сераскеру приказано оборонять его всеми силами. А гарнизон насчитывает двенадцать тысяч бойцов.

Потекла и денежная река, не столь обильно, как ему хотелось бы, но все-таки. От покойного Мазепы ему досталось восемьдесят тысяч дукатов. Прекрасный добытчик его казначей Гротгаузен выколол из Голштинии сотню тысяч талеров. Кое-что перепало и от султана. Вдобавок турки кормят его, его людей и лошадей.

Война оживила его надежды: он стал энергичней, возжаждал движения, действий. Его люди заканчивают строить дома на шведский манер. Они возвели ему пристойное жилище. Увы, это далеко не его замок в Стокгольме, но и не мазанка здешних аборигенов, где живут его офицеры. Малый Карлополис со своими службами порядка и чистоты, со своими приемами иностранных посланцев, с псовой охотой и безумной скачкой по холмистым окрестностям.

Втайне же король страдал. Страдало его честолюбие; удовлетворить его он был не в силах. Страдала его гордость — она была уязвлена, как бы ни сластили ее приближенные. Король Швеции, коего называли вторым Александром Македонским, прозябал в жалкой деревушке, забытой Богом и людьми. Лыстецы перестали льстить, Европа, которую он держал в трепете, казалась, вовсе забыла о нем.

Королю хотелось славы. Он жил в ожидании славы. Воинской славы. Он ждал, что его призовут под знамена многотысячного войска.

А пока что он фехтовал со своим адъютантом. Когда в залу вошел граф Понятовский, Карл отсалютовал ему шпагой, он был необычайно оживлен.

— Поглядите-ка на эту шпагу, граф.

Это был драгоценный клинок с эфесом слоновой кости, инкрустированным золотой сканью. Понятовский с любопытством разглядывал его. Разумеется, ему приходилось видеть шпагу и раньше, но она покоилась в ножнах, столь же драгоценных и столь же искусной работы.

По стальному жалу вились затейливые письмена.

— Похоже, это греческое слово, — сказал граф. И прочитал: — Промахос.

— Совершенно верно, граф. Это язык Александра Македонского. Такая же надпись была выгравирована на его акинаке — коротком мече. «Промахос» — ведущий в бой, вождь, предводитель. Это шпага моего отца, короля Карла Одиннадцатого. Вы знаете: он был доблестный воин, истинный вождь, прирастивший владения короны. Это наследственный клинок шведских королей.

— Прекрасный клинок. И старинный. Вы прославили его, государь, — сказал Понятовский, передавая шпагу королю.

— Промахос! — произнес Карл торжественно. — Наступает мой час. — Он взмахнул шпагой — блеснула молния. — И я снова поведу полки.

— Да будет так, — заключил Понятовский. Он верил в счастливую звезду шведского короля, он обязан был в нее верить — иначе зачем он здесь. Граф связывал с ним свое восхождение к власти, возвращение наследственных владений, богатства. Кроме того, его не могла не пленять непоказная мужественность короля, его презрение к невзгодам, его стойкость и даже — даже! — его истинно королевское высокомерие.

Впрочем, с ним, с Понятовским, Карл был всегда сердечен. Он был нужен королю — был нужен его гибкий ум, его дипломатические способности, его знание языков, наконец, его светскость и лощеность, тоже

сближавшие с ним короля. Шведские придворные и генералы были куда топорней, в них не было той гибкости и изысканности, которые так нужны дипломату, добивающемуся своей цели. Сказывалось то, что род Понятовских вел свое начало от знатного итальянца Сан-енгуэрры; итальянская струя, смешавшаяся с польской, дала благородный голубой цвет.

— Попрошу вас, граф, снова отправиться в Константинополь, — прервал молчание Карл. — Никто, кроме вас, не в состоянии убедить султана и его министров действовать более энергично и решительно и огласить наконец договор о союзе Швеции и Порты. Этот союз может подействовать на царя московитов как холодный душ.

— Султан Ахмед нерешителен и осторожен, — заметил Понятовский. — Он типичный восточный деспот и хочет лишь одного — покоя и нег в своем гареме. И в данном случае предпочтет оставить себе путь к отступлению, если фортуна окажется на стороне московитов...

— Война уже идет, — прервал его Карл, — и осторожничать — значит проиграть ее. Вы повезете султану мое послание и план кампании.

— План кампании? — удивился граф. — Вы успели составить его в подробностях?

— Как видите, я не сию сложа руки, — самодовольно произнес король. — Для вас он, разумеется, не составляет тайны. Извольте, я посвящу вас в него.

Карл вышел в соседнюю комнату, служившую ему кабинетом, и возвратился с листами бумаги.

— Глядите, граф. Тут я начертил схему сближения армий и нанесения главных ударов.

Разумеется, король планировал сосредоточить турецкую армию в Бендерах. Он, по-видимому, отводил себе при этом весьма значительную, быть может, даже главную роль, о чем предпочел пока не распространяться. Но наверняка рассчитывал по крайности стать вровень с великим визирем.

— Отсюда, от Бендер, мы двинемся на Каменец-Подольск, — увлеченно показывал король, — и через Польшу соединимся с моим корпусом в Померании. Соединенные шведско-турецкие силы очистят Польшу от войск московитов и Августа — этого жалкого фанфарона, трусливого как заяц...

— Говорят, что саксонец отличается недюжинной физической силой, — осторожно заметил Понятовский. — Посему к его имени и прибавляют «Сильный».

— Я доподлинно знаю одно: он — величайший трус. Когда я наголову разбил его войско, он дрожащей рукой подписал Альтранштадтский договор, согласившись на все мои условия. Но слушайте дальше, я продолжаю. В это время крымский хан, поддержанный своими вассалами из Буджака и Черкасс, вторгается в Правобережную и Левобережную Украину. Таким образом, мы принудим войска царя предпринять контрнаступление против татар. А в это время часть их сил атакует Харьков, другая же — Азов и Таганрог.

— Позвольте, ваше величество, неужели вы верите в то, что татары способны противостоять регулярным частям царя Петра? А тем более наступать на них. Вы же знаете их тактику: налететь, пограбить и умчаться...

— Да-да, знаю, — поморщился король. — Но что делать, это все-таки какой-то резерв. Против ружейного огня, а пушечного тем более они, конечно, не устоят. Их преимущество — в количестве. Пожалуй, вы правы: бессмысленно поручать им атаку крепостей. Они могут зато опустошать тылы.

— И это тоже немаловажно, — качнул головой граф. — Будут перерезаны пути снабжения русских войск, отбиты обозы.

— Едва ли не главная моя цель в этой кампании — освобождение Польши, — торжественно возгласил Карл, — низвержение фигляра Августа и утверждение на престоле Станислава Лещинского, при дворе которого вам уготовано почетное место.

Граф вздохнул. Вдох был невольный, и он поспешил заверить короля, что план его в своей основе превосходит и что лучшего в нынешних сложных условиях невозможно придумать.

— Итак, дорогой граф, требуется лишь ваше согласие отвезти этот план с моим посланием султану Ахмеду. И ваше красноречие, способное убедить его и его министров в осуществимости. Вера в победу есть сама победа. Главное, чтобы эти восточные сатрапы преисполнились этой веры.

— Я приложу все старания, ваше величество, — с кислой улыбкой отвечал Понятовский. — Увы, эти турки упрямы и своевольны, вам это известно еще лучше, нежели мне. Они внимательно выслушивают вас, но поступают по-своему, подчас наперекор вашим советам. На них совершенно нельзя положиться, ибо для них мы неверные.

— Что поделаешь, граф: таков восточный характер. Переменчивость и вероломство у них в крови, однако я полагаюсь на ваше красноречие, равно и на ваши связи среди турецких вельмож. Русские, как мне докладывают, изолированы: их посол Толстой заточен в Семибашенном замке. Вы же можете действовать в союзе с послами европейских держав, особенно с послом Франции — это совершенно наш человек, действующий в русле наших интересов. Когда вы думаете выехать?

Понятовский пожал плечами.

— Это зависит от вашей воли, — наконец произнес он.

— Промедление неуместно. Надо отправляться немедленно. Вам известно: войско царя движется к здешним пределам.

Понятовский согласно кивнул.

— На месте вашего величества я бы послал небольшой отряд лазутчиков для наблюдения за продвижением царя.

— Мне говорил сераскер Али-паша, что он отрядил конных разведчиков с этой целью. Они двинулись вверх по течению Днестра.

— Неужто вы полагаетесь на них? — Понятовский развел руками. — Они же ленивы и лживы. Уверяю вас: эти так называемые разведчики доберутся до ближайшей деревушки и приневолят тамошних крестьян. Заставят их кормить и поить, устроят себе гарем из молдаванок, а сераскеру станут слать донесения, что царь-де далеко и они за ним следят...

— Будь по-вашему, граф. Я пошлю своих разведчиков. — С этими словами король подошел к нему и порывисто обнял.

Это было так неожиданно и так непохоже на сдержанного в проявлении чувств Карла, что Понятовский растрогался. Его величество явил ему знак своего высокого доверия и расположения. И он готов верой и правдой служить этому, несомненно, великому монарху, по несчастной случайности оказавшемуся в тяжких обстоятельствах.

— Я готов выехать хоть завтра, — произнес граф дрогнувшим голосом. — Ваше величество, прикажите переписать ваш план и послание султану.

Во взгляде короля светилась благодарность. Но вот взор его неожиданно омрачился.

— Вы всегда должны помнить, дорогой граф, что сокровенное желание турок — поскорей избавиться от меня. Даже при том, что эта война развязана ими в значительной степени по моим наущениям. Поэтому вам в разговорах с ними надлежит постоянно подчеркивать, что Россия продолжает бояться меня и моего влияния на Порту, равно как и на всю европейскую политику. Швеция остается ведущей державой континента. И никто не вправе об этом забывать.

То были полные достоинства слова. И Понятовский в который раз поразился неукротимости духа короля. Короля, оказавшегося без страны и армии, в полной зависимости от своих невольных хозяев. Но, несмотря ни на что, остающегося королем.

На следующее утро Варницу покидал конный отряд. Его возглавляли Понятовский и воевода Потоцкий. Король провожал своих послов в сопровождении свиты.

Они миновали последние глинобитные мазанки сельца и вскоре вплотную приблизились к стенам крепости.

Бендерская крепость была грозным сооружением. Турецкие фортификаторы постарались как можно основательней укрепить ее. Она занимала ключевое положение, сторожа турецкие владения на границе с Польшей. Ее занимал сильный гарнизон.

— Глядите, граф, они настолько беспечны, что не выставили даже дозорных, — сказал король с усмешкой. — На башнях нет ни одного часового. И это при том, что идет война!

— Они свершают свой утренний намаз, — Понятовский махнул рукой, как бы говоря — что с них возьмешь. — Священный ритуал для правоверных. Полагают, что надежно ограждены от нападения рвами и рекой.

— Московиты скорей всего и изберут реку для того, чтобы приблизиться к крепости. Впрочем, сераскер уверил меня, что они еще далеко.

— Ах, ваше величество, и вы им доверяете!

— Отчасти. Но я последую вашему совету — отправлю своих.

Днестр огибал крепость подобно луку, тетива которого была направлена на северо-восток. Осталось лишь заложить стрелу и спустить тетиву...

Река была пустынна. У стен крепости она, казалось, замедляла свое течение, становясь шире. Русло ее простерлось по широкой луговине, чтобы потеряться за очередной излучиной.

Природа пробуждалась, как всегда, стремительно. Молодая трава поднялась по откосам, залила весь высокий крепостной берег. Деревья успели одеться кудрявой листвой, и эта нежная зелень в свете милостивого весеннего солнца радовала взор. Наступят немилосердные летние жары, и все краски поблекнут, выцветут и загорбуют.

Кавалькада выехала на Аккерманский тракт. Здесь была сторожевая застава. Заслыша приближение множества всадников, из мазанки вылезли три заспанных чауша.

— Прощайте, граф, — Карл протянул Понятовскому свою узкую ладонь не воина, но скорей музыканта. — Вы знаете, что я всегда мысленно с вами. Вы помните, что я возлагаю на вашу миссию большие надежды.

— Вы, ваше величество, можете положиться на меня, как на самого верного из слуг, — проникновенно произнес Понятовский.

Он и в самом деле был воодушевлен. Вера короля в то, что план его будет принят султаном и главные турецкие силы под предводительством великого визиря двинутся под Бендеры, передалась и ему. Отсюда их поведет король шведов, и этот поход призван вернуть ему военное счастье. Полтава будет искуплена, войско царя Петра разбито.

Пока что отряду Понятовского предстоял долгий путь. Предстояло достичь крепости Аккерман, Белой крепости по-турецки, стоявшей в устье Днестра. Там он надеялся погрузиться на один из кораблей, который бы доставил его в Константинополь.

У него на груди покоился хатт-и-шериф — султанская грамота, открывавшая все двери, все запоры и гарантировавшая полное благоприятствование во все время пути и во всех делах. С нею можно было беспрепятственно разъезжать по всем султанским владениям. Все подданные султана под страхом смерти обязаны были повиноваться владельцу грамоты, как существу высшего порядка.

Вначале Понятовский намеревался завернуть по пути в Эдирне, бывший Адрианополь, где великий визирь еще только собирал армию. Он полагал держать с ним совет о своих дальнейших действиях. Но по мере того как отряд продвигался к югу, мысли его приобретали другое направление.

Визирь — невольник султана, его власть временная и призрачная, каждый свой шаг он обязан соразмерять с повелениями Величайшего из великих, Солнца Вселенной, Повелителя правоверных. Он не поведет армию под Бендеры без соизволения султана.

Стало быть, нет смысла терять время понапрасну, а надо плыть напрямик в Константинополь, который москвиты по старой памяти называют Царьград, и добиться аудиенции у султана. Однако аудиенция эта должна быть прежде тщательно подготовлена, а результат ее предопределен. Для такого предопределения нужны деньги, очень много денег для подкупа высших чиновников Порты, входящих к султану. Деньгами располагают шведские дипломаты, аккредитованные при «кабинете Султанского стремени».

Старый знакомец Мехмед Челеби стал каймаком — тем лучше. Начать с того, что каймакам — заместитель великого визиря. Он вхож пред очи повелителя правоверных, он докладчик по текущим делам в Эски-сараях — Старом дворце, обиталище султана. Он может устроить аудиенцию — никто больше не в силах, даже реис-эфенди — министр иностранных дел.

Шведские дипломаты Функ и Нейгебауэр, несомненно, посвящены в политические хитросплетения султанского двора, оба в приятных отношениях с чиновниками Порты. Едва ли не более их все-таки Дезальер — посол Франции, хитрая bestia, более других проникший в эти хитросплетения, державший сторону Карла, как и королевский двор.

Итак, решено: он направляется напрямик в султанскую столицу. Рассудив так, он почувствовал нечто вроде облегчения. И прищипорил коня.

Можно было бы, конечно, достичь Аккермана на одной из барок либо фелюг, доставлявших грузы в крепость Бендерскую и спускавшихся вниз по реке порожняком. Но Днестр немислимо петлял, удлиняя путь едва ли не втрое, и мысль эта, мимолетно посетившая его еще в Варнице, тотчас изгладилась.

Аккерманский тракт поначалу держался реки, а потом стал забирать вправо, удаляясь от нее. Лиственные леса перемежались луговинами, все было в только что брызнувшей зелени, а потому радовало глаз.

А потом открылась бескрайняя степь. Она была прекрасна в эту пору — пору своей юности, она полнилась цветами и запахами.

Спугнутый отрядом, стремительно умчался прочь табун диких лошадей, и кони под всадниками напутствовали их призывным ржанием. Степь была полна разнообразной жизнью — зверьем и птицей, — наверное, потому, что места эти почти не были заселены.

Им предстояла трапеза в степи, и Понятовский приказал добыть несколько дроф. Стая тяжело поднялась лишь тогда, когда под выстрелами всадников пали три птицы.

— Благодатные места, — заметил Понятовский, обращаясь к Потоцкому. — Какая здесь охота!

— О да, — отозвался Потоцкий. — Превосходная дичь, особенно дрофа, элѐфантус среди птиц. Не меньше тридцати фунтов весу. А как вкусна. Нам с его величеством королем Карлом случалось охотиться на них.

...Им повезло в Аккермане. Большая турецкая фелюга отплывала напрямик в Константинополь. Здешний мирмиран — двухбунчужный паша, нечто вроде губернатора — с поклоном сопровождал Понятовского и его эскорт на судно, приказав капитану угождать гяурам, ибо они находятся под покровительством самого султана, да пребудет над ним вечно милость Аллаха и да сгинут враги его как туман. Хатт-и-шериф Понятовского производил повсеместно одинаковое впечатление: на пространствах Турецкой империи, объявшей часть Европы, Малую Азию, Северную Африку, повеление султана было равносильно воле самого Аллаха.

Фелюга была нагружена всякой снедью: бочонками меда, солонины, кипами шерсти и многим другим — очередной партией дани, взимаемой с Молдавского княжества натурой и деньгами. Путники с трудом по-

местились на корме, там было устроено нечто вроде кубрика.

...Другой свет, другой мир этот Константинополь! После трехсуточного корабельного заточения с его немилосердной качкой кипящий, торгующийся, бранящийся на всех языках город всякий раз ошеломлял поновому.

Столпотворение встретило их еще на воде — столпотворение судов и суденышек, фелог, каиков, кораблей под разными флагами и штандартами. Они еле сумели пробраться к пристани, с трудом нашли свободную причальную стоянку.

— Ах, этот Константинополь, — бормотал оглушенный Потоцкий. — Наверное, другого такого в подлунной нет.

— А Лондон? — возразил Понятовский. — Лондонский порт обширней. И Амстердамский. И Венецианский...

— Я не бывал ни в одном из них, — с легким оттенком зависти проговорил Потоцкий. — Это вы объездили весь свет.

— О, далеко не весь. Большую частью я пропадал в Варшаве, доколе король Станислав не увлек меня за собой. Потом настал черед другого короля — Карла. С тех пор я кочую по полудиким землям Подолья и Волыни, по турецким владениям, словно тень короля шведов.

— Почему вы говорите только о себе. Я тоже прикован к шведскому королю как галерный раб, — обиженно произнес Потоцкий. — Я воевода без воеводства — Киевским правит московский комиссар дьяк Оловянников, а губернаторствует там князь Дмитрий Голицын. Так что мне некуда возвратиться.

— И я точно в таком же положении. Супругу мою, как вы знаете, держат в заточении в нашем имении, словно преступницу, эти варвары московиты. Хотя единственная ее вина, если это можно назвать виной, то, что она Понятовская, а ее муж предан Станиславу Лещинскому...

— И слуга шведского короля, — добавил Потоцкий.

Их, Понятовского и Потоцкого, повязала одна и та же веревка, которую сплели два короля, оставшиеся без своих владений, — Карл и его ставленник Станислав Лещинский.

И вот они сошли на берег, подвязанные этой веревкой. На них накнулись здешние извозчики — одвуконь. По узким улочкам турецкой столицы можно было ездить только верхом: впереди извозчик, владелец лошадей, а за ним седок, он же всадник.

Они держали путь в Перу — район, где расположилось большинство посольств западных держав. То был новый район, разлегшийся на живописных холмах над Босфором.

Панорама, открывавшаяся сверху, завораживала взор: город уступами спускался к проливу, стройные башни минаретов, возникавшие то здесь, то там, словно копья нацелились в небо, рядом с ними притулились купола и куполки мечетей, а в самом низу блестящее зеркало Босфора отражало множество летящих по нему парусов.

Налюбовавшись вдоволь, Понятовский, Потоцкий и их отряд вломились в резиденцию шведских министров. Людей с трудом разместили во флигеле, служившем одновременно гостиницей и лакейской.

Функ и Нейгебауэр непритворно обрадовались Понятовскому и не очень Потоцкому.

— Как своевременно вы прибыли! — воскликнул Функ. — Наступил решительный момент, когда его величество король Карл сможет взять реванш за поражение под Полтавой.

— Да, сейчас никак нельзя терять время, — подхватил Нейгебауэр. — Надо ковать железо, пока оно горячо. А оно уж не то что горячо — оно просто раскалено.

— Мы все обязаны объединиться ради нашего общего дела. Нас поддержат послы Франции, Англии, Голландии, — возбужденно проговорил Функ.

— Я согласен с вами, — поддакнул Понятовский. — Кстати, как поживает мой друг маркиз Дезальер? Я очень бы хотел прежде всего встретиться с ним. Вам, разумеется, известно, что по пути сюда он посетил короля в Варнице и его величество оказал ему самый радушный прием.

— Да, маркиз много и подробно рассказывал об этом, как он считает, важном событии его жизни.

— А каймакам Мехмед Челеби еще не смещен? — продолжил Понятовский. Ему были хорошо известны турецкие нравы, подчиненные всецело капризам султана и духовного лидера турок шейх-уль-ислама. Вчерашний вельможа мог сегодня лишиться положения, а то и головы.

— Каймакам в силе, и он наш сторонник, ибо знает расположение своего повелителя к Швеции и королю. Турки полагаются на наше вмешательство в этой войне, на то, что корпус в Померании нападет на московитов с тыла. — Он вопросительно взглянул на Функа: верно ли он сформулировал.

— Пусть надеются, — буркнул Функ. — Вам, граф, наверняка известно, что наши дела плохи. Финансы в расстройстве, армия деморализована, от канцлера Мюллера приходят плохие вести...

— Король в плену — и этим все сказано, — отрезал Понятовский. — В плену великий полководец, который только и может возглавить и повести шведскую армию. Вот почему туркам не следует надеяться на корпус в Померании. Генерал Крассау, который его возглавляет, неспособен самостоятельно действовать. Я скажу об этом каймакаму.

«Король, увы, в роли просителя, он в унижении, — устало думал Понятовский. — Стало быть, у него в руках нет ни одной козырной карты. Он — король без страны, без армии, и ореол былой славы, осенявший его, померк. И быть может, навсегда».

Ну а он-то, граф Станислав Понятовский, отпрыск прославленного рода польских магнатов, он-то отчего

приковал себя к этой разбитой колеснице? Шведский король, по существу, потерял свое королевство. Так может ли он возратить королевство Станиславу Лещинскому, которого он, тоже Станислав, представляет при особе шведского короля?

Он, Понятовский, разлучен с семьей, он ведет кочевую жизнь, супруга его в заточении, она — заложница в руках русских. Все, все распалось. И подчас, когда он трезво оценивает действительность, то понимает эфемерность своего положения и самого существования.

Так в чем же дело? Что руководит им? Отчего он не может вернуть себе былую трезвость суждений и обрести наконец надежную пристань?

Король Карл обладает магнетической властью. Не только над ним, но и над всеми, кто его окружает, кто безропотно терпит все лишения ради того только, чтобы причислить себя к сподвижникам короля, кто сносит его самодурство...

«Будь я сейчас в Варнице, мне и в голову не могли бы прийти подобные мысли, — внутренние усмехнулся граф. — На расстоянии трезвеешь, дороги и мили ослабляют узы, начинаешь критически оценивать положение, в котором оказался, и роль тех, которые ввергли тебя в него».

Первым делом он отправился к маркизу Дезальеру — вот кто не ведал сомнений и мог укрепить его. В нем была та безапелляционность суждений, которая так необходима людям колеблющимся.

Экспансивный, как все французы, маркиз встретил его бурными восклицаниями.

— Какой сюрприз! Какая радостная неожиданность! Граф, вы просто ошастливили меня своим появлением. У меня к вам так много вопросов. И первый, разумеется: как поживает его королевское величество? Этот шведский Александр Македонский?

— Его королевское величество прозябает в своей глуши, — отвечал Понятовский в унисон своим недавним мыслям. — Равно как и все мы в его окружении. У

него отобрали решительно все, оставив только былую славу. А это слишком мало для короля.

— Эта слава приносит все-таки немалые дивиденды, — отозвался маркиз. — Мой повелитель, король Солнце, считает, что настоящая слава Карла шведского еще впереди. Он еще так молод!

— Полтава все разрушила. И дворец его величия придется отстраивать заново, как это ни прискорбно, — отозвался Понятовский, подумав, что выразился слишком витиевато. — Скажите мне, дорогой маркиз, только откровенно: что думает ваш повелитель о поединке русского царя и турецкого султана?

— Можете не сомневаться в моей совершенной откровенности, граф, ведь вы же мой единомышленник. Так вот, после Полтавы и столь великого усиления царя Петра, равно и умаления короля шведов, мой повелитель желает победы туркам. Русский царь должен умерить свой аппетит. Он чересчур распростерся, расшагался и, похоже, не желает остановиться. Но вместе с тем мой король не желает, — и маркиз назидательно поднял палец, — отнюдь не желает, чтобы его суждения на сей счет были бы преданы гласности. Его личные суждения тем не менее принадлежат большой политике. Вы меня поняли, граф?

— Я не злоупотреблю вашим доверием, — успокоил его Понятовский.

— Равновесие в Европе не может быть разрушено. Однако царь Петр покусился на него. Он захватил у шведов слишком много. Он умалил и Польшу, что совершенно нельзя терпеть. Так что султану отводится роль некой плетки, с помощью которой Европа должна его проучить. Франция в известной мере направляет движения этой плетки. — И Дезальер улыбнулся. — Но наш разговор, как вы понимаете, строго конфиденциален, и то, что я вам сейчас сказал, должно остаться между нами, — повторил Дезальер. — Как видите, моя доверительность совершенно полна.

— Равно как и моя, дорогой маркиз. Я благодарен вам за все, за ваше расположение и за откровенность.

Понятовский возвращался в свою резиденцию, продолжая размышлять о том, что доверил ему маркиз. Такой ли это секрет, если об этом говорят чуть ли не на всех перекрестках?..

Он ехал шагом вдоль сравнительно широкой улицы, застроенной домами европейского облика. Функ дал ему покладистого коня, который, казалось, понимал все желания своего всадника: ни поводья, ни шпоры ему не требовались.

«Франция полагает, что ей суждено спрятать концы в воду, — думал он, покачиваясь в седле. — Но это величайшее заблуждение. Большая политика всегда наружу, утаены лишь малые ее движения. Король Карл прямодушен, как все полководцы, привыкшие силой достигать своих целей. И все-таки он тоже дитя большой политики, как все владыки мира сего...»

Ослепительно сверкала водная гладь. Свечами горели минареты — мириады солнечных бликов отражались в изразцах. Был час молитвы, и гортанный призыв муэдзинов — азан — доносился со всех сторон:

— Ла иллаха илл Аллах! — Нет бога кроме Аллаха!

Сказочный город! Он оставался сказочным, несмотря на зловонные кучи мусора, на стаи голодных собак, рыскавшие повсюду, на узкие улочки, где с трудом могли разъехаться два всадника. Поистине сказочный город...

Куда он ехал? Завороженный открывшейся панорамой, жемчужным сиянием Босфора, в плену своих мыслей, он на какое-то время забыл о цели своей поездки. Между тем от нее зависел успех или неудача его миссии.

Да, он направлялся к Мехмеду Челеби, каймакаму, то есть заместителю великого визиря, садразама, находившегося при армии. Каймакам оставался сейчас главным правителем в империи, сносившимся непосредственно с султаном. Султан призывал его для доклада о состоянии дел в империи и важных распоряжений.

Понятовский и Мехмед испытывали взаимную симпатию с тех пор, как им вместе довелось совершить путешествие ко двору крымского хана Девлет-Гирея, а затем в Бендеры и Варницу — ко двору Карла, впрочем, двору, надо признаться, призрачному: мало кто из европейских монархов был окружен столь непрезентабельным двором.

Каймакам, как сказал ему всезнающий маркиз, пребывал в своей сахильхане — вилле на берегу моря. Отчего это? Разве не призывают его ежедневно государственные дела? Призывают. Ежедневно он должен бывать в министерской резиденции, а через день — в Эски-сарая, султанском дворце. У него своя свита и свои каикчи с гребцами.

Сахильхане каймакама находилась на противоположном берегу Босфора. Следуя наставлениям маркиза, Понятовский спустился в Галату, где можно было нанять лодочника и оставить коня.

Галата была знакома по прошлым поездкам. Здесь приставали корабли, здесь были верфи, мастерские, Арсенал и Литейный двор — словом, смесь портового, торгового и воинского районов.

Граф уже сносно знал турецкий, знаний его было более чем достаточно для того, чтобы объясниться с лодочником — одним из двух десятков, облепивших его с предложением услуг.

Он выбрал пожилого, степенного каикчи, показавшегося ему основательней других.

— О, Ускюдар! — воскликнул каикчи. — Кто тебе нужен, эфенди?

Понятовский назвал каймакама.

— О! — еще раз воскликнул каикчи. — Мехмед Челеби! Важный человек, почтенный человек!

Коня отвели в стойло, наносили торбу сена — здесь все было предусмотрено и ничего никогда не пропадало.

Ускюдар был устроен для отдохновения турецких вельмож. Здесь для них воздвигли конаки и виллы. И

здесь же приставали караваны из Персии и Армении: в отдалении высились караван-сарай и ханы, служившие гостиницами и одновременно складами.

Каикчи греб не торопясь. Встречная волна с шумом билась о борта, стараясь отбросить назад легкий каик.

— Ты бы поторопился, почтеннейший.

— Аллах не любит торопливых, — отозвался лодочник. — Под торопливым издох верблюд. К тому же течение нам не благоприятствует.

С этими словами он налег на весла и поднял парус. Каик тотчас ускорил бег. И все-таки на поездку ушло больше часа.

— Идем, я провожу тебя, кяфир. Поклонись ему от меня, Зухраба, — он знает нас всех. Мудрый человек, справедливый человек, большой человек, однако же не гнушается простыми людьми.

Вилла каймакама утопала в зелени. Ровные дорожки были присыпаны желтым песком. Хозяин, судя по всему, был большим любителем цветов: куртины роз опоясали дом, огромная цветочная клумба благоухала всеми запахами эдема.

Он едва не наткнулся на просто одетого человека, скорчившегося в три погибели, — он щелкал садовыми ножницами, обрезая низкорослое деревце.

Решив, что это садовник, он окликнул его:

— У себя ли почтеннейший ходжа Челеби? — Ходжа — учитель, так почтительно обращались к каймакаму его же собственные чиновники.

Человек поднял голову и выпрямился. Лицо его выразило неподдельное удивление.

— Ты ли это, друг мой? Какой джинн перенес тебя сюда?

Понятовский рассмеялся:

— Это был, несомненно, добрый джинн под парусами. Вообще-то, дорогой мой ходжа, я бы хотел иметь в услужении хоть ифрита.

— Ифрит страховиден и к тому же неверен. У него громовый голос, и он слуга нечистого, Иблиса. Я рад

тебя видеть в добром здравии. Идем в дом и насладимся беседой за кофе и шербетом.

Каймакам свободно говорил по-французски. Правда, произношение его основательно хромало, но Понятовский легко с этим мирился.

— Итак, ты здесь, и привело тебя сюда поручение короля шведов, не так ли?

— Для такого предположения не надо быть чересчур прозорливым, дорогой ходжа.

— И ты конечно же надеешься предстать пред очи амир аль-муслимима — повелителя мусульман, да пребудет над ним благословение Аллаха.

— Да, мой высокий друг, чьим благоволением я горжусь.

— Тысячу раз прости меня за то, что вынужден причинить тебе огорчение, а не радость, которой ты достоин, но наш повелитель отбыл к армии, дабы вдохнуть в нее высокий дух воинов ислама.

«О, черт! — мысленно выругался граф. — Ну почему никто — ни Функ с Нейгебауэром, ни маркиз Дезальер ни словом не обмолвились об этом! Увы, теперь ход событий уже нельзя будет изменить: визирь станет действовать по плану, доложенному султану и одобренному им. И план короля Карла, на который он возлагал столь много надежд, так и останется на бумаге».

— Вижу, ты очень огорчен, — голос хозяина звучал примиряюще. Он хлопнул в ладоши — тотчас явился слуга, словно бы ждал этого хлопка. — Скажу тебе одно: твое огорчение напрасно, ибо мой повелитель ничем бы тебе не помог. Сейчас я объясню. — И он сказал слуге по-турецки: — Принеси нам кофе и шербет. — И после того как слуга безмолвно удалился, продолжил: — Я знаю, о чем ты хотел просить повелителя правоверных...

— Как ты можешь знать об этом? — несказанно удивился граф.

— Я ходжа, ты знаешь, а учителю положено знать, что думают и собираются сказать его ученики.

— И все-таки откуда тебе известно желание короля шведов?

— О, его нетрудно разгадать, зная, в каком положении находится твой король. Хочешь, я скажу тебе?

— Я просто стораю от нетерпения!

— Король Карл желает стать во главе войска или, в крайнем случае, стать главным советником садразама и направлять войну по своему разумению. Разве не так?

Понятовский молча наклонил голову. В самом деле: не нужно было быть семи пядей во лбу для того, чтобы разгадать заветное желание короля шведов, мечтавшего взять реванш за Полтаву.

— Как ни велико благоволение амир аль-муслимима к королю, он ни за что не согласится на это, — продолжал Челеби. — Такое унижительно для Высокой Порты, унижительно и для садразама, однако Карл этого не может понять. Он для такого понимания слишком высокомерен. Твой король мог бы представить свой план кампании на бумаге, и, сколько мне известно, он в свое время пытался это сделать. Но тогда еще не было войны, и эти его фантазии были оставлены без внимания.

Граф вздохнул. Вздох этот был тяжел и выражал всю глубину его разочарования. Да и что он мог сказать? Что и великого полководца, случается, постигает поражение. Что тем не менее король шведов находится в самой высокой поре своего полководческого таланта и нужен случай, чтобы он явил себя в прежнем блеске.

Слова, слова... Мудрому каймакаму, проницающему движения человеческой души, они ни к чему. Быть может, он, Понятовский, стал бы произносить их перед министрами султана, даже перед самим султаном. Но здесь они стали бы пустой шелухой.

— И еще скажу тебе, — неторопливо продолжал Мехмед Челеби, пропуская меж пальцев серебристую бороду и отхлебывая маленькими глотками дымящийся кофе, — что мой повелитель не хочет этой войны. Он

поддался уговорам хана Девлет-Гирея и твоего короля, но эта война претит ему. Он ничего не приобретет и ничего не достигнет, а потерять может многое. Он хотел бы жить спокойно, как все владыки, наслаждаться своей властью и своим гаремом. Он не хочет рисковать. И если бы вдруг появился посредник между ним и царем, предложивший мир на приемлемой основе, он охотно согласился бы его принять.

— Что же мне делать, друг? По-твоему, мне не надо добиваться аудиенции у твоего повелителя?

— К чему напрасно сотрясать воздух? Нуждаешься ли ты в любезных словах и призрачных обещаниях?

Понятовский молчал. Кофе был густ и ароматен — настоящий турецкий кофе, напиток, освежающий мысли и чувства. Мысли его трезвели с жестокой ясностью. Да, все его усилия напрасны, все они уже растаяли в константинопольском воздухе. Напрасно он проделал весь этот дальний путь, подвергался опасностям и издержкам. Напрасна его вера в счастливый жребий короля Карла, все напрасно...

— Но могу тебя утешить, — прервал молчание хозяин, от которого не могло ускользнуть состояние графа. — Ты не зря проделал столь дальний путь.

«Он читает мои мысли, — суеверно подумал граф. — Это ведун, он наделен сверхъестественной силой проницания, этот седобородый турок...»

— Мудрость твоя непостижима для меня, о ходжа. Стоит мне о чем-то подумать, как ты тотчас откликаешься на мои мысли.

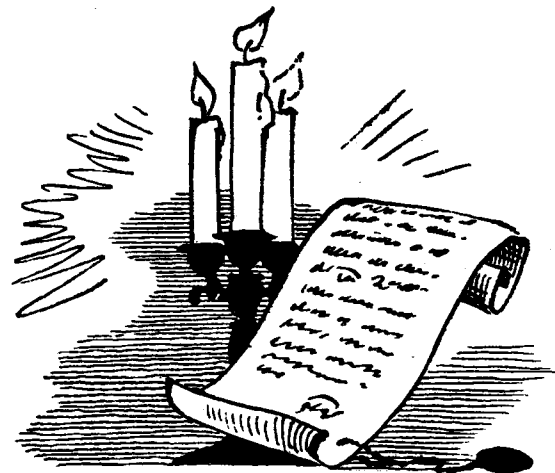
— Тут нет ничего сверхъестественного, — спокойно отвечал Челеби. — Я понял, что ты счел миссию напрасной, и прочитал на твоём лице огорчение: мысли и чувства отражаются на лице даже самого невозмутимого человека. Их всегда можно прочесть.

— Что же я должен делать, скажи?

— Ты явишься к великому визирию с моим письмом и станешь его советником, который никогда не позволит себе перешагнуть черту. Ту черту, которая отличает

советующего от повелевающего. Твой король непременно стал бы повелевающим, не правда ли? И это привело бы к раздорам, неуместным в военном лагере. А королю Карлу ты скажешь, что султан не принял его плана. Однако у тебя будет возможность постепенно подвести садразама к мысли, что советы короля могут быть ему полезны, даже очень полезны. И что он может воспользоваться ими в своих интересах. А для того должен пригласить шведа в свою ставку в качестве главного советника. Не могу ручаться, что садразам примет твоё предложение. А если примет, ты обязан безотлучно находиться при короле, предостерегая его от слишком неумеренного желания повелевать в чужом стане.

— Как видно, ничего другого не остается, — со вздохом отозвался Понятовский. — Благодарю тебя, мудрый ходжа. Я слишком часто вздыхал потому, что правда твоих слов опровергала правду моих намерений.



Глава шестая БЕЗ МНОГИЯ СКОРБИ НЕТ МНОГИЯ РАДОСТИ

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их.

Книга Екклесиаста

Голоса: год 1711-й, март — апрель

Петр — М. М. Голицыну

Г-н генерал-лейтенант. Два письма ваши до нас дошли, на которые ответить вам ничего не имеем, токмо надобно вам трудиться, дабы неприятеля из своих границ выбить. Однако ж смотрите

того, дабы людей (а паче в нынешнее время лошадей) не утрудить...

У противных, которые неприятеля приняли, велите брать лошадей и тяглых волов, которые надобны в наши полки, ибо лошади в нынешний трудный марш у наших не мало пропали, и нетолько что в наши, но и сверх того соберите в другие полки и под артиллерию.

Петр — Августу II

Пресветлейший, державнейший король и курфирст, любезнейший брат, друг и сосед...

...потребно нынешния конъюнктуры требуют, чтоб ваше величество свой возврат в Польшу, сколь скоро возможно, ускорили и нам случай подали с вами свидетца и о воспринимаемых с нашей стороны при сих конъюнктурах намерениях согласитца и совершенно постановить могли, для чего мы сей дальней путь в Польшу предвосприяли, и ныне в Яворов идем, и тамо вашего королевского величества возврату в Польшу, покамест наше войско при волоских границах соберетца, ожидать хотим.

Петр — княгине А. П. Голицыной

Вселюбезнейшая моя душа кнегиня святлейшая Настас Петровна. Здравствуй на многия лета, а мы здесь здоровы. О здешних ведомостях объявляю, что турки конечно на войну идут и визирь знак свой, именуемой туй, выставил, что конечной походу их знак, чего для ити противф оногo ружья с щитом своим готовься во стретение противным.

Канцлер Головкин — в Посольский приказ

Желает его царское величество ведать подлинно из правил французских, английских и венецыйских, какое у них определение как в недвижимых местностях и домах, так и пожитках детям по отцах

оставшимся мужеска и женска пола в наследствии и разделе оных, как знатнейших княжих, графских, шляхецких так и купецких фамилий: и вы поищите таких правил в книгах, которые вывез к Москве Петр Посников, и ежели того нет, то спрашивайте и ищите оных правил на Москве у иноземцев, и ежели где что сыщется, то велите немедленно перевестъ.

Князь Я. Ф. Долгоруков — Петру

...И всемилосердный Бог представтельством Богоматери дал нам, союзникам, благой случай и бесстрашное дерзновение, что мы могли капитана и солдат, которых нас провожали, пометать в корабли под палубу и ружье их отнять и, подняв якорь, пошли в свой путь и ехали тем морем 120 миль и не доехав до Стокгольма за 10 миль поворотили на остров Даго. И шкипер наш и штырман знали путь до Стокгольма, а от Стокгольма чрез Балтийское море они ничего не знали, и никогда тамо не бывали и карт морских с собою не имели; и то море переехали мы безо всякого ведения, управляемые древним бедственноплавающих кормщиком, великим отцем Николаем Угодником, и на который остров намерились, на самое то место оный кормщик нас управил.

Петр — Меншикову

...Что ваша милость пишете о сих грабежах, что безделица и взята у поляков, то не есть безделица, ибо интерес тем теряетца в озлоблении жителей. Бог знает, каково здесь от того, и нам никакого прибытку нет; к тому ж так извольничались, что сказать невозможно, и указов не слушают, в чем принужден буду великим трудом и непощадным штрафом живота оних паки в добрый порядок привести.

Воистину: без многия скорби нет многия радости.

Были, были многие скорби! Господь на время отвернулся от православного царя. Верилось: на время. Царь-то — истинный столп России.

В Слуцке, малом городке, который, впрочем, был отдельным княжеством до того, как им завладели князья Радзивиллы, зачем-то застряли на пять дней.

Верно: прибыли к его царскому величеству фельд-маршал Шереметев и генерал Репнин. И держали совет: как далее быть, коли дороги худые, непроезжие, провианту кот наплакал, солдат лихоманка трясет.

Как быть? Подаваться на юг, в теплые края, в сытные края. Там и дороги станут и трава подымется. Под крыло господаря Кантемира — вот куда надобно падаться.

Боже милостивый, что устроил ты российскому воинству! Ни сани, ни телега не вывозят его из вязкого месива снега с грязью, которое равно болото: не держит и не проваливается. Ночью, правда, хватал мороз. И тогда... О, тогда катили они как по вывороченной булыжной мостовой.

Муки мученические! Задумывался порой царь-государь: не за грех ли женитьбы при живой жене терпит... Вез бы с собой метреску — ладно бы. А то ведь в церкви с лютеранкой венчался пред ликом Господним.

Тяжкие думы томили Петра. Не вовремя война с турком, хоть и не он ее затеял. Ведомо, кто за салтаном стоит в сей войне. Еще год назад посланник Петр Толстой писал в доношении: «Турки размышляют, каким бы образом шведского короля отпустить так, чтоб он мог продолжать войну с царским величеством, и они были бы безопасны, ибо уверены, что, кончив шведскую войну, царское величество начнет войну с ними».

Что ж, ежели по справедливости, то так бы оно и было. России к Черному морю выход надобен, и она должна пробиться к нему всею своею мощью. Но прежде — сладить со шведом, укрепиться на Балтике.

Из доношений Толстого выходило, что салтан Ахмед III опасается России. Стало быть, Карл да крымский хан Девлет-Гирей его науськали. Крымчак — давний ненавистник, в любую драку с русскими лезет. Уговорили небось салтана: сладят-де с царем.

Карл пообещал свое войско выставить. Да ведь заперт его корпус в Померании. Разве что сам король тайным манером пробрался бы туда и возглавил его, вот тогда да, тогда было бы худо. Он отчаянный, этот швед — полез бы на рожон.

Шведы уже привычны жить без короля. И конфиденты доносят: народ-де шведский доволен, что король ихний почти что в плену, хоть и почетном. Стало быть, война отодвинулась до времени. Потому что король Карл — это война. Ничего иного ему не надобно.

Царь все замыслы своих недругов проницал — не больно-то они хитроумны. Знает, как воевать, куда двинуть армию, где держать оборону и где делать вылазки. Знает, откуда ждать удара, как его отвратить. Но это все — общее знание, из обозу да при гладкой дороге.

Но вот дорога испортилась, и план постигла порча. Вышло сильное замедление с движением полков. Хотели прежде турков поспеть в земли мултянские да волосские, упредить великого визиря, собрать единовверных под российские знамена.

А что вышло? Худа и опасна оказалась дорога от разлития вешних вод. Господь помог — едва успели переехать по льду чрез реку Припять. А как переехали, лед взломало, и река пошла.

В местечке именем Высоцк снова приключилась болезнь его царскому величеству. Выхаживала его царица Екатерина Алексеевна с доктором Яганом Донелем.

Обошлось. Тронулись дальше, в Луцк, где загодя устроен был походный дворец. Въехали туда во вторник Страстной недели.

Всю дорогу царь Петр томился, не чаял, когда придут. Было ему очень не по себе: оттого ли, что перенесли в пути многие тягости, оттого ли, что утрясло,

уболтало в карете. Хотелось покою. Хотелось вытянуться во весь рост в мягкой, хорошо устроенной постели с подушками, взбитыми пухлыми Катериниными руками, чтобы угреться наконец возле матушки-голубушки и никуда не ехать. Отлежаться, отсидеться, одним словом. Знать, занедужил царь, коли охватило его такое желание: прежде нетерпение гнало и гнало его вперед.

Резиденцию, поименованную отчего-то походным дворцом, отвели царю в замке князей Радзивиллов. Покои были просторны и устроены совершенно по-европейски. Говорили, что прадед владельцев замка выписал архитектора и строителей из Италии, дабы строено было по итальянскому образцу.

— Добрался, слава тебе Господи, — Петр развалился в кресле и вытянул ноги. Сказал Макарову: — Прикажи подать водки для сугреву и из еды нечто. Министрам скажи: пускай меня не беспокоят, пока не позову. И ты свободен. Государыню ко мне покличь.

Отвалился, закрыл глаза. Кресло было покойное, княжеское, но хотелось поскорей лечь: манила пышная кровать в алькове. Но прежде следовало потрапезовать.

Вошла Екатерина. Глаза были беспокойны: видела — занедужил ее повелитель.

— Что прикажет мой господин?

— Потрапезуешь со мною, Катеринушка, полно тебе со своими бабами якшаться.

— Там, государь-батюшка, депутация от шляхты желает поклониться.

— Скажи: царь-де устал с дороги да и прихворнул. Пусть завтра приходят. Повару скажи: пусть зажарит каплуна.

— Не грех ли, мой господин: в Страстную-то неделю Великого поста. Наш батюшка осудит.

— Грех свалим на поляков: мы с тобою не в России, а в Польше. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят. — Благорасположение мало-помалу возвращалось к Петру. И голос, и весь вид Екатерины по-

действовали на него благостно. — Бог простит, есть охота, спать охота. Притомился я, Катинька.

— Полячки-то небось тоже пост соблюдают, — не унималась Екатерина: переходя в православие, она с ревностью неопита блюла все заповеди. — Бог у нас один...

— Бог один, а уставы разные, — улыбнулся Петр. И признался: — По тебе голоден более, нежели по еде. Охота разговеться. Боязно одному в холодную постель лечь, — он порывисто привлек ее к себе. Она мягко отвела его руки.

— Погодим, господин мой, всему свое время. Сейчас слуги войдут, накрывать на стол станут.

— Умница моя, — Петр подсел к столу, Екатерина обвязала ворот салфеткой, прикосновение ее мягких пальцев было приятно ему.

Слуги внесли дымящиеся блюда. Главное украшение стола — подрумяненный каплун еще скворчал и источал запахи до того дразнящие, что Петр машинально сглотнул слюну.

Царь много пил и много ел, с жадностью разрывая руками сочное птичье мясо. Жир капал на стол, на камзол, не защищенный салфеткой. Катерина укоризненно глянула на царя, но промолчала: вспылит бы. В конце концов она не выдержала:

— Господин мой, не вытирайте руки о скатерть, — она заботливо придвинула ему салфетку. — Что подумают о вас хозяева замка.

Петр махнул рукой — ему было решительно все равно, что о нем подумают. Он отличался простотой манер мастерового, притом простотой неисправимой, которая шокировала обитателей дворцов и замков, но была по душе простолюдинам, с которыми царь общался на равных. Изысканность никак не давалась ему, этикет был чужд. Иной раз он конфузился, нарушив его, но потом понял: царю дозволено все. И перестал следить за собой, а тем паче обуздывать себя. Необузданность была его натурой.

Екатерина в отличие от него получила почти что светское воспитание, когда звалась Мартой и служила у пастора Глюка. Господа наказали ей следить за чистотой и порядком, и она ревностно исполняла свои обязанности. Ведь неряшливость, нерасторопность грозили ей изгнанием. Дом пастора — образцовый дом, прихожане должны были брать с него пример: в таких правилах была воспитана Марта.

И теперь служанка Марта, ставшая по прихоти судьбы русской царицей, стала исподволь, с необычайной осторожностью, подсказанной ей сказочной переменой положения, исправлять простонародные манеры своего повелителя.

То было трудное учительство. Петр был слишком непосредственной и импульсивной натурой, ни рамки, ни шоры ему не пристали.

Екатерина была терпелива, словно нянька, а лучше сказать, словно мать с капризным и своевольным дитятейю. И хотя была она невольницей, пугливо, все еще пугливо оценивавшей свое необычайное возвышение, но успехи явились.

Так и в этот раз. Петр добродушно проворчал:

— Исправляй меня, Катеринушка. Кто, как не ты, выучит меня манерам.

— Царь и в манерах должен пребывать царем, — наставительно отвечала она, уловив добродушное расположение своего господина. — Царские манеры у мира на виду.

Вот волшебство превращения! Екатерина держала экзамен на государыню царицу и, похоже, выдержала его. Она старалась стать вровень со своим повелителем, но и его чем-то поднимала до себя.

Петр это видел и испытывал довольство. Он ни минуты не раскаивался в своем выборе. Его избранница была во всем хороша: и статью, и силой — да, силой она была ему ровней, — и выносливостью. Она была создана для него, для его походной жизни: его Катеринушка, его женка, его друг сердешной.

А она строго блюла дистанцию: называла его не иначе как царь-государь, мой господин либо мой повелитель. Она останется покорной рабой, хотя и родит ему четырнадцать детей (в живых останутся только Анна и Елизавета).

Ныне, по существу, все только начиналось. Прежняя их близость была прерывистой и в некотором роде случайностью. Катерина до поры до времени была всего лишь метрескою, одной из многих, с кем мимолетно сожительствовал царь и кто наградила его «французской болезнью», худо леченной...

То ли водка на него подействовала, то ли в самом деле занедужил, но Петр был горячечно оживлен. И от взора Катерины это не ускользнуло. Она научилась видеть своего господина не только снаружи, но как бы изнутри. Хотя и аппетит у него был отменный, и водки он выкушал графинчик, но она забеспокоилась.

— Государь-батюшка, дорога была тяжкою, все после нее полегли. Не изволите ли вы пойти почивать?

— С тобою, Катинька, всегда рад.

Она коснулась рукою его лба и воскликнула:

— Да у вас жар, государь!

— Нету у меня никакого жару. Жар — он от водки, — с трудом ворочая языком, промолвил Петр.

— Жар! — упрямо повторила Катерина. — Отправляйтесь в постель, ваше царское величество.

— С тобою, матушка, иначе не согласен.

— Со мною, со мною, — повторила она.

Бог дал силы, и Екатерина вытянула своего повелителя из-за стола. Он был странно тяжел, заплетались и ноги и язык. Завела в альков, уложила, стала снимать башмаки. Петр что-то бормотал невнятно, слова были не человечески, а какие-то звериные. Не царь он был, не повелитель, не богатырь, не любовник, а смятый некой невидимой силой нескладный мужик-великан.

С трудом раздела его, привалилась жарким своим телом. А он и без того пылал болезненным жаром, и

жар этот все разгорался, словно бы желая вовсе испепелить это огромное тело...

Екатерина испугалась. Она призвала дежурного денщика и послала его за доктором Донелем.

Доктор покойно спал и, быть может, успел увидеть не один сон. Насилу добудились. Чемоданчик с принадлежностями, с порошками и пузырьками был всегда наготове. Привыкший к неурочным вызовам своих сиятельных пациентов, он засеменял вслед за денщиком.

Встревоженная Екатерина встретила его укоризною:

— Вы столь долго, Яган Устиныч. Его величеству очень худо.

Богатырский храп, доносившийся из алькова, сменился стоном.

— Ох, горе мне, горе,— причитала Екатерина.

— Сейчас, сейчас посмотрим,— бубнил доктор.— Поверните его на спину, ваше величество. Сейчас...

Доктор с некоторой опаской приник к груди царя.

— Не злоупотребил ли его величество водкою?

— Нет, доктор, выпил сколько обычно.

Доктор в раздумье пожевал губами.

— Дорога с ее превратностями, несомненно, сказала... Лихорадка в тяжелой форме... Надо бы отворить жилу,— произнес он нерешительно.— Но, пожалуй, лучше подождать до утра, когда его царское величество придет в себя. Не могли бы вы, государыня, дать ему вот эту микстуру. А потом растереть его вот этим растиранием. Оно приготовлено по рецепту великого Парацельса.

Она все могла. Она провела ночь без сна у постели Петра, пребывавшего то ли во сне, то ли в бесспамятстве. Будить? Нет, страшно. Не будить? Также страшно: быть может, эта бесчувственность на самом краю смерти.

Столь дивно поднялась Екатерина, бывшая Марта, из своего униженного положения к самой вершине российской пирамиды. И вот тот, кто возвысил ее, кто дал

ей безмерное счастье, лежит в бесспамятстве. Господь единый ведает его судьбу...

Она молилась горячо, истово. Знала не так уж много молитв, обратила их небу не раз и не два. Молилась и молила. Велела внести образа из походной церкви. Затешила свечи пред ними.

То и дело принимала губами к губам своего господина, словно бы стараясь вобрать в себя его болезнь. И поцелуй, и благословение, и вера, и верность...

Дыхание царя прерывисто, учащено. Жар сжигает его сильное тело. И как умерить его пагубу? Доктор дал микстуру, но влить ее сквозь плотно сжатые губы нет сил. Да и опасно: может попасть не в то горло.

Растирая его беспомощное тело, она причитала:

— Батюшка мой! Великий мой! Проснись, обними меня, рабу твою! Эвон какие сильные руки у тебя! Как крепко ты меня обнимал, как жарко любил, хочу всегда, всегда! Будь же со мной, входи в меня...

Причитала по-русски, по-немецки, по-шведски, выговаривала полузабытые литовские слова. Порой ей казалось, что Петр прислушивается, что он слышит ее. Она с надеждой вглядывалась в обострившиеся черты, пытаясь уловить хоть малую приметку сознания.

Тщетно. Ее повелитель был жив, но жизнь из него уходила.

Она снова принялась растирать его. И вот — запекшиеся губы наконец шевельнулись, исторгли некий звук. Слово? Стон?

— Батюшка мой! Петруша! Очнись! Очнись же! Я с тобой!

Снова послышался стон. Или слово?

Что с нею будет, если повелитель умрет? Она снова низвергнется туда, где пребывала прежде, снова пойдет по рукам жадно глядевших на нее вельмож. Они не признают в ней царицу, тотчас отрекутся от нее. Истинная царица, мать наследника престола царевича Алексея, — инокиня Елена, в миру Евдокия Лопухина. Ее тотчас вернут из монастырского заточения, а на

ее место могут отправить ее, Екатерину. Может случиться, что новый царь, Алексей Второй, прикажет умертвить ее...

— Не хочу быть царицей! — в отчаянии воскликнула она. — Отрекусь от всего, лишь бы ты был жив, мой господин, мой Петруша.

Она впервой говорила ему «ты», называла его по имени — того, пред кем благоговела, ибо он для нее был Бог и Царь. Царь всех, всея России и ее Царь. Она не смела говорить ему «ты», только в мыслях, осыпая его самыми нежными, самыми ласкательными именами... Он был царь царей, он был велик всяческим величием. И хоть в постели в долгие минуты близости, казавшиеся часами блаженства, она словно бы становилась ему ровнею, все равно даже и тогда ощущала она свое неравенство.

Проходили часы. За окнами слабо брезжил рассвет. Мертвая тишина царил в замке. Хриплое прерывистое дыхание Петра отдавалось громом в барабанных перепонках.

Но вот в нем обозначилась какая-то перемена. Екатерина прижалась ухом к его груди. Да, дыхание стало ровней. Верно, помогло растирание.

Она принялась растирать его с удвоенной энергией, сильно, но нежно. У нее были руки прачки, сильные рабочие руки. Растирала грудь и особенно икры и ступни ног — так наказывал доктор.

Извела всю мазь. Но зато теперь уже, несомненно, можно было утверждать: Петр дышал ровней, грудь вздымалась не так учащенно, как прежде.

В неверном свете занимавшегося утра лицо ее господина казалось неживым. Она обтерла ему губы платком, смоченным докторовой микстурой. И это тоже возымело действие: Петр пожевал губами, словно бы прося повторить.

Вдруг она с необычайной ясностью поняла: вся ответственность за жизнь царя лежала на ней! И если П тр, не дай Господь, отойдет, на нее, самозванку, об-

рушится гнев министров, сенаторов, бояр... Более всего страшил ее князь-кесарь Ромодановский, монстра. Сам по себе страховидный, он повелевал застенком и страшными пытками пытал женщин и мужчин. Петр со странной усмешкой, вздергивавшей его колючие, словно бы приклеенные усы, рассказывал ей о том, как монстра рвет раскаленными клещами человеческую плоть, свирепея от воплей истязуемого...

Они отдадут ее на муки князю-кесарю. О, с каким наслаждением они это сделают!

Екатерина представила себе страхолюдную физиономию князя-кесаря, его хриплый свирепый рык, свирепый даже в обыденности, и содрогнулась — так живо и страшно было это видение.

— Господи, помилуй мя, грешную! — взмолилась она. — Господи, спаси и сохрани моего господина, моего великого царя!

И Господь услышал ее молитву: Петр шевельнулся. В то же мгновение в дверь просунулся дежурный денщик.

— Доктор Донель просится.

— Зови! — обрадовалась она. И к вошедшему доктору: — Яган Устиныч, он пошевелился.

Доктор поставил свой чемоданчик возле постели царя и принялся щупать ему лоб и щеки. Лицо его прояснилось.

— Ди Кризе ист фергант, — выразился он по-немецки, но тотчас спохватился: — Прошу простить, ваше величество...

— Я поняла вас, доктор. Так он опоминается? Ему лучше?

— О, госпожа царица, у нашего государя богатырский организм. Если бы он не злоупотреблял питием, то прожил бы век.

«О если бы...» — покачала она головой. — Если бы он походил на своего венчанного батюшку, богобоязненного и любившего умеренность во всем».

Петр рассказывал ей об отце, как бы желая поглубже окунуть ее в атмосферу царского дома, дабы она пропиталась ею. Впрочем, он и сам признавался, что мало помнил — был четырех лет от роду, когда царь Алексей Михайлович, истинный праведник на троне, прозванный народом Тишайшим, помер, будучи всего сорока семи лет. Рассказывали ему матушка Наталья Кирилловна, дядя Лев Нарышкин, учитель Никита Зотов и другие, а более всего старые бояре, сохранившие бороды во уважение к их почтенным летам. Они вспоминали о Тишайшем с умилением и дерзостно пеняли его сыну-нечестивцу, порушившему обычай отчич и дедич. Однако ж век Тишайшего был недолог, и сын Петр нередко выражал свое недоумение: «Батюшка был зело умерен, а его Бог прибрал в цветущие лета. Стало быть, на все Божия воля: блюди не блюди, блюди не блюди».

Сын царя Алексея, отличавшийся неумеренностью репшительно во всем, этот сын, царь Петр, лежал без сознания, и судьба огромной страны, судьба армий и войн, мира и труда, наконец, некоронованной, а стало быть, и непризнанной царицы Екатерины судьба зависла от того, выживет ли царь либо умрет.

И еще: были дочери, Аннушка и Лизанька. Они титуловались царевнами. Но если их отец умер, то они обратятся в простых девок без прав состояния. Хорошо будет, коли их не изведут и над ними возьмет призор царевна Наталья, по своему чадоллюбию и сердоболию и в память обожаемого своего брата...

Екатерина была вся отчаяние. Мысли разрывали душу. Она с любовью и надеждой вглядывалась в черты разметававшегося на подушках Петра.

Доктор правду сказал: недуг отступал. Он дышал ровней, почти без хрипов. И когда он в очередной раз почмокал губами, словно бы прося пить, ей удалось, улуча мгновенье, влить ему в рот полчашки докторского питья.

Доктор Донель при этом присутствовал. Он сидел в ногах постели и одобрил ее действия:

— Очень хорошо, госпожа царица, очень хорошо.

Она стеснялась целовать своего господина при докторе, однако при этих словах не удержалась и прильнула губами к обметанным, сухим губам царя.

И вдруг Петр открыл глаза. Сстрадание и недоумение — все перемешалось в его зоре.

— Что это я? — спросил он, с трудом ворочая языком.

— Вы захворали, ваше царское величество, — выпалила обрадованная Екатерина. И вдруг слезы градом брызнули у нее из глаз. Она улыбалась, а рыданья сотрясали ее.

— А это кто?

— Доктор это, царь-государь, Яган Устиныч.

— Это я, ваше царское величество, — с достоинством подтвердил доктор Донель, с состраданием глядя на Екатерину. — Госпожа царица и плачет и смеется. Это слезы радости: она слышит ваш голос.

— Катеринушка, дай питья, — хрипло вымолвил Петр.

— Даю, даю, — заторопилась она. — Вот брусничного кваску испейте.

— Ваше величество должны принять вот эти укрепительные порошки, — и доктор протянул облатку Екатерине. — Запейте квасом.

— И запьем, и запьем, — радостно бормотала она, руками утирая слезы, продолжавшие катиться из глаз.

Петр покорно проглотил порошок, запил его квасом и откинулся на подушках.

— Спать хочу, — выдал он и повернулся на другой бок.

— Вот и хорошо, батюшка царь, вот и славно — спите себе.

Доктор кивком подтвердил слова Екатерины.

— Его царское величество пошел на поправку. Сон есть здоровье. Продолжайте давать порошки, а я при-

готовлю декокт. А сейчас позвольте уйти, госпожа царица.

— Идите, батюшка доктор. Дай вам Бог здоровья, — горячо произнесла Екатерина. — А я буду молиться.

В дверь снова заглянул дежурный денщик.

— Господин кабинет-секретарь Макаров и господа министры просят. Впустить?

— Я сама к ним выйду, — устало сказала Екатерина. Самое страшное осталось позади. Она снова царица и может повелевать. Даже министрами, перед которыми она робела еще недавно.

Она вышла, и денщик притворил за ней дверь. Канцлер Головкин, вице-канцлер Шафиров и кабинет-секретарь Макаров вопросительно глядели на нее. Вид у них был озабоченный. Завидев Екатерину, они поклонились с некоторой небрежностью: в их глазах она еще не укрепилась как царица. Временщица — да. Один Макаров так не думал: знал меру погруженности царя.

Екатерина упредила их расспросы:

— Господа министры, его величество тяжело болен, всю ночь провел в бесспамятстве. Доктор Донель...

— Доктор Донель сказывал нам, — довольно бесцеремонно перебил ее тощий Головкин, — его величество пришел-де в себя. Мы полагаем созвать медицинскую консилию. Граф и графиня Олизар изволили прислать своих медикусов. Доктор полагает болезнь опасною.

— Хорошо, я согласна, — торопливо сказала Екатерина. Мгновенный холодок деранул по коже при слове «опасною». Доктор при ней его не произнес. Она хотела было сказать, что выходит государя, не будет спать, не будет есть, покамест он не станет на ноги, но поняла, что они не расположены слушать ее...

Была врачебная консилия, действия доктора вполне одобрены, однако переполоху наделали — и среди свиты, и меж польских магнатов, хозяев здешних маестностей.

Петр болел злокозненною горячкою — по выражению доктора Донеля. Кроме порошков, пилюль, мик-

стур и декоктов, имевшихся в его распоряжении, коллеги снабдили его своими снадобьями.

На третий день Петру было разрешено встать с постели и ходить, но не далее залы, равно и не более часу.

Царь, естественно, предписанный режим изрядно нарушал. Могучий его организм, хоть и подорванный излишествами всякого рода, быстро справлялся с болезнью. И хоть доктор горячо протестовал, царь принялся лечиться по-своему — водкою.

Протестовала и Екатерина, да только слабо и нерешительно. Она знала характер своего господина и его царское своеволие — протесты были бесполезны.

А тут еще прибыл посол при дворе польском князь Григорий Федорович Долгоруков — фаворит царя и не дурак выпить. И снова, несмотря на докторские протесты и запреты, началось застолье с непременною распитием разных водок и бальзамов.

Екатерина и радовалась и негодовала — про себя, разумеется. Вслух не осмеливалась — была еще не в том градусе. Радовалась же тому, что господин ее был по-прежнему шумен и гуллив.

Долгоруков без стеснения поносил короля Августа, Петр его урезонивал. Он Августу, само собой, не шибко доверял, но сей бражник, гуляка и дамский любезник был ему по нутру.

— Словам его и клятвам никакой веры быть не можно, — настаивал Долгоруков. — И шляхта польская такова же, Лещинский ей надобен, а не Август.

— Все ведаю, князь Григорий. Однако же дама по прозванию Политика понуждает скрывать ведомое, а взамен говорить кумплименты.

В четверток Светлой недели — пятого апреля доктор сняли запреты: все едино царь их не соблюдал по нравности своего характера. И даже принял приглашение графини Олизар посетить ее загородный замок. На день святых Родиона-ледолома и Руфа, который землю

рушит, то бишь восьмого апреля, царский кортеж отправился к Олизарам.

Графиня устроила царю царскую же встречу. Оркестр встречал Петра и его свиту музыкою у самого въезда в имение и сопровождал до дверей замка, так что пришлось кучерам умерить бег коней.

Графиня стояла у парадной лестницы. Ему были поднесены ключи от замка, а Екатерине — цветы из графской оранжереи.

Царской чете отвели царские апартаменты, а господ министров устроили по-министерски, ибо замок был просторен и дивно украшен. Картинная галерея с полотнами знаменитых итальянских живописцев соседствовала с зимним садом, рядом располагалась танцевальная зала и зала для приемов, где гостям подавали обед.

На обед был внесен немалый кабан, целиком зажаренный на вертеле, что пришлось царю весьма по вкусу. Перемены блюд следовали одна за другой. А на десерт были поданы апельсины, то бишь апельсины, и ананасы из оранжереи замка.

Петр был обольщен. И тотчас сдался на уговоры хозяйки провести у нее несколько дней.

— Ваши величества окажут мне необычайную честь, — графиня была хороша собою и вполне владела светским искусством пленять. Притом не только мужчин, но и женщин. После долгого и тяжелого пути по размытым дорогам оказаться в этом поистине райском уголке было даром судьбы. Нет-нет, отказаться было решительно невозможно.

Царь размяк после съеденного и выпитого и, будучи человеком, лишенным условностей, истинно по-царски облобызал прекрасную хозяйку, к немалому смущению Екатерины. Но сама графиня почла это за честь и отличие — она оказалась не из тех ясновельможных дам, которые чинились и манерничали. Потом она с гордостью станет рассказывать об этом соседям по имению: «То было великое приключение, в котором участвовали царь московитов и я...»

Веселая жизнь пошла в замке: за пирами следовали охоты, за охотами — музыкальные вечера. Петр их, прямо сказать, не терпел, однако же вынужден был смириться. И все из-за угождения хозяйке — она привлекала его все более. Екатерина же делала вид, что ничего не замечает. Понимала: от нее не убудет, а ее господин должен иметь все то, что ему хочется.

Царь получил то, что хотел, — тем паче что граф отсутствовал. Натиск был молниеносен, крепость тотчас пала, не оказав никакого сопротивления. Победитель был великодушен — довольствовался одним приступом. Любопытство было удовлетворено.

— Лучше тебя все равно никого нету, Катинька, — бросил он в оправдание. — А испытать надобно.

— А вдруг... Коли найдется, царь-батюшка, получше, что тогда?

— Не может такого быть, — отрезал Петр.

После всех его приключений, после сладкой жизни в замке Олизаров царь спохватился. Велел вызвать на консилию своих подначальных: фельдмаршала Шереметева и генерала Алларта.

Консилия была преважная. Петр угрызался совестью за беспечную жизнь, долгое безделье, оправдывался болезнью. Говорил обо всем без обиняков, ругательно ругал Шереметева, этого медлителя. Фельдмаршал, по обыкновению, оправдывался: дороги-де плохи, провианта нету, полки увязают в грязи, солдаты не кормлены, приказы не выполняются. Коли дороги станут, вот тогда начнется энергичное движение.

— Сколь помню, граф, ты о себе более думаешь, из-под моей палки норовишь ускользнуть. Однако она над тобою пребудет, доколе нерасторопность свою не преодолеешь.

Царь пришел в полную форму и жаждал действия, движения. Болезнь была отодвинута, хоть слабость еще давала себя знать.

Накопились бумаги, ждавшие высочайшей резолюции. Но прежде — армия.

— Пиши, Алексей, указ войскам: ныне же открыть марш на Волынь, а оттоль к границе волосской. Идти сколь можно быстро, дабы достичь реки Днестра у местечка Сороки. Тамо переправу навесть, загодя доставить туда понтоны. Графу Шереметеву быть при главном корпусе, барону Людвигу Николаю Алларту с кавалериею поспеть к переправе скорейше.

Скосил глаза на Алларта, он был рядом. Генерал поклонился. Он был исправный служака, и Петру нравилась его ревностность истого военачальника. У большинства иноземцев, служивших в российском войске, ревностности как раз и не доставало. Одно слово — наемники.

Своих надлежало готовить, своих. Посылал на выучку дворянских недорослей — кого куда. В Голландию либо в Венецию, во Францию либо в Англию. Да толку чуть: учились без охоты, а то и вовсе сбегали под родительский кров — сладко есть и мягко спать.

Были и другие — самоуки. Из тех, что толковы да к делу прилипчивы. Таких отличал, приказывал производить сверх выслуги да срока в очередные чины. На таких — надежда.

Борис Петрович Шереметев был из таких, из самоуков. Воинскому делу учил его отец — боярин Петр Шереметев, испытал сына на поле брани против крымских татар. Более всего оказал себя в Северной войне, дважды бивал хваленого Шлиппенбаха, последний его дар царю — взятие Риги.

Петр ему благоволил, отличал, обходился уважительно, даже до почитания: приказано было впускать его без доклада. Да ведь устарел — без году шесть десятков. Отсель обрюзглость, медлительность, неповоротливость. А кем заменишь? Другой, фельдмаршал Меншиков, нужен был для Парадизу — Питербурх обстраивать да отпор шведу давать, того же Крассау держать, дабы из Померании не вылез...

— Ступайте к армии, я вас долее не держу, — сказал обоим генералам. — У нас приспели дела по дипломатической части.

Потом отослал князя Долгорукова. Должен он понуждать короля Августа на встречу. Обязан король исполнить союзные обязательства — объявить войну турку.

— Да ведь он того николи не сделает! — воскликнул князь. — Он войны боится!

— Война сия людей и денег требует, — угрюмо сказал Петр. — Конфиденты из Царяграда доносят: султан собрал более ста тысяч войска да еще татар туча немереная. Езжай, князь, потряси короля. Пусть по крайности со мною съедется — уж с ним потрактую.

— Курьер от господаря волосского дожидается, — напомнил канцлер Головкин. — Сей наш союзник просит, дабы в великой тайности послан был бы ему диплом и пункты, коими мы обязательства свои пред ним и княжеством его утвердили. Он до времени себя сказать не желает, полагаю сие разумным.

— И то правда, — согласился Петр. — Заготовлен ли проект?

— Заготовлен, ваше царское величество.

— Вот и ладно. Чти.

Бумага была протяженной. Петр был внимателен, вставлял свои замечания и дополнения, поправки делались тотчас же.

«...Имеет помянутый яснейший принц волоский со всеми вельможи, шляхтою и всякого чина людьми славного народа волоского и со всеми городами и местами земли тоя быти с сего времени под защищением нашего царского величества, яко верным подданным надлежит, и вечно. И учинить ему, по получении сего нашего диплома, нам, великому государю, сперва секретно присягу, и для уверения написав оною, подписав рукою своею и припечатав печатью княжью, купно с разными сему пунктами... прислать к нашему царскому величеству с верным и надежным человеком, как наискорее,

по последней мере к последним числам месяца мая, еже у нас до вступления войск наших в Волоскую землю в выщем секрете содержится. А между тем показывать ему нам... всякую удобьвозможную верную службу в корреспонденции и в протчем, елико может, тайно.

Когда же наше главное войско в Волоскую землю вступит, тогда объявится ему, яснейшему принцу, явно, яко подданному нашему князю, и присовокупится со всем войском своим к войску нашему, на которое войско мы в то время ис казны нашей и денежную помощь учинить обещаем... И действовать обще с войски нашими, по указом нашим, против врага Креста Господня и союзников и единомышленников его, елико Всемогуций помощи подаст...»

Семнадцать пунктов набралось. Вроде бы все предусмотрели. «Ежели неприятель (что всемогуций Бог да отвратит) усилится и Волоское владетельство в поганском владении останется, то он, яснейший принц волоский, в таком случае имеет наше соизволение в наше государство прибежище свое иметь, и во оном из казны нашего царского величества повсягодно толико расходу иметь будет, колико князю довольно быть может, також и наследники его нашего царского величества жалованья вечно не будут лишены...

...Во утверждение сего дан сей наш императорский диплом, за приписанием руки и припечатанием государственных печати нашея, в Луцку, апреля 13 дня 1711 году.

*Петр.
Граф Головкин».*

— А что мулянский господарь Брынковян? Подает о себе вести? — спросил Петр, когда дьяки переписали диплом и поднесли царю на подпись.

— Последнее письмо, государь, было от него еще в генваре месяце минувшего года, — отвечал Головкин. —

Писано было на мое имя и тогда ж докладывал вашему царскому величеству.

— Запоматова я, — признался царь.

— А писал он о том, что салтан к войне готовится и что понужают турки нашего посла Толстого согласиться на проход короля шведского чрез Польшу в свои владения.

— Вот теперь вспомнил. О том и Толстой отписывал. Князь Голицын, губернатор киевский, то письмо получил и с курьером переслал.

Память у царя была емкой, и он удерживал в ней многое. Подробности, как бывает, не сразу всплывали на поверхность, а лишь тогда, когда приспевала крайняя нужда. Да, память царя порой изумляла его окружение, особенно когда речь шла о давнем поручении, казалось бы забытом царем. Нет, он держал его в памяти и, когда являлся случай, тотчас напоминал о нем, ожидая доклада об исполнении. Нерадивому доставалось порою и дубинкою.

— Кое-какие известия от его стороны доходят, — продолжал Головкин, — но всего более чрез торговых людей. А чтоб верного человека прислать, этого нет.

— Мню, что сей господарь и сам не из верных, — заметил Петр. — А ведь многие милости ему оказаны. И жалован он от меня кавалерией святомученика Андрея Первозванного.

— А сколь соболей ему послано, — вмешался Шафиров. — Бойтся он за свой господарский стол, вот что, турок-де под боком, скинет в одночасье и на кол посадит.

— Да, сказывают, сильно осторожен сей князь. Бойтся он пуще всего за сынов своих: они у него в аманатах в Цареграде, — подтвердил канцлер. — Прав, Петр Павлович: салтан чуть заподозрит в сношениях с нами — на кол посадят либо головы отрубят.

— Да, жаль его. И мало надежды, хоть она и остается, — Петр явно сожалел об этом, о том, что тот, кого он числил в надежных союзниках, с кем были нала-

жены надежные связи, похоже, отпадет. Как видно, турок о чем-то прослышал, у него в доносчиках нету недостатка. И все-таки надежда теплилась: может, не войском, то хоть провиантом поможет господарь Брынковян.

В провианте была едва ли не главная нужда. И заботы более всего было о нем, о провиантских магазинах, устраиваемых на пути следования армии. Разговором о провианте и фураже консилия завершилась, и Петр отпустил всех.

«Славно пожили у графини Олизар, — думал он. — Все, что можно, от нее получили. Пора и честь знать: такое гостеприимство оковывает по рукам и по ногам. Надобно отправляться!»

На его плечах судьба армии да и судьба России. Его волею, его энергией двигалось все в эту пору. Кабы не болезнь, которая его обездвижила, давно был бы в дороге...

А тут еще графиня Олизар. И ее гостеприимство. Ох, слаб человек — давно сказано то святыми апостолами. И он, Петр, почитавший себя сильным и не дававший себе поблажки, тоже, выходит, слаб!

Что тому причиной? Впрочем, он знал — отчего это. И, оставшись наедине с Екатериной, в час сокровенный — час близости, когда высота взята и порыв иссяк, когда пришло время разрядить звенящую тишину, Петр неожиданно признался:

— А знаешь, худо у меня на душе, Катериночка. Ибо чувствую: лишен я Господней милости. Не оттого ли насылает он на меня многие недуги. Гляди-ка: в третий раз настигает меня в дороге кара. И раз от разу все тяжче.

— Больно тяжел путь наш, государь-батюшка, — пробовала утешить его Екатерина. — Забот больно много, думы о сей войне тяжкие да тревожные, душа развохнута. Много всего накопилось. Вот станет тепло и дороги станут, и все пойдет справно.

— Нет, матушка, видно, прогневал я Всевышнего и лишен его милости и благоволения, — твердил свое царь. — Не будет мне удачи в сей войне, вот увидишь. Знак даден.

Таких речей обомлевшая Екатерина еще ни разу не слышала от своего повелителя. Она на мгновение потеряла дар речи. Не знала, как отговорить его, как отогнать дурные предчувствия. Поняв, что слова излишни, что утешения все равно не помогут, обняла его и стала целовать — всего-всего, каждую частицу, все снижаясь и снижаясь, пока не дошла до самых ступней.

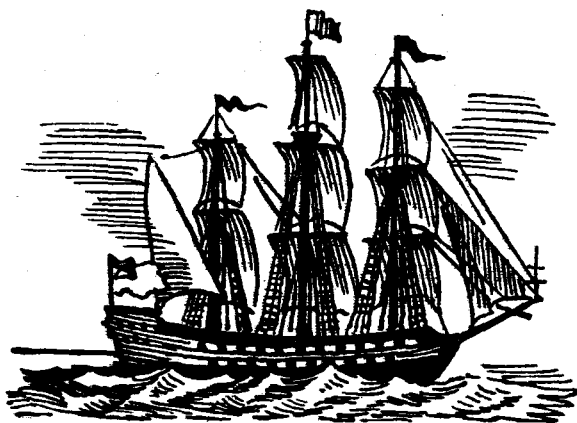
Петр лежал неподвижно, все еще во власти своих невеселых мыслей и дурных предчувствий. Он решил довести их до края, в смутной надежде, что они уйдут сами по себе.

Может, брак его с Екатериной не угоден Господу и прогневал его?

От этой мысли он невольно застонал. А Екатерина, не оставившая своей ласки, поняла его как призыв. И стала еще настойчивей.

Впрочем, это и был невольный призыв. Под его жарким натиском Петр забыл обо всем.

Обо всем, кроме Екатерины!



Глава седьмая МИЛОСТЬ И ИСТИНА

Милость и истина да не остав-
ляют тебя: обвяжи ими шею твою,
напиши их на скрижали сердца
твоего,—и обретешь милость и
благоволение в глазах Бога и
людей.

Книга Притчей Соломоновых

Голоса: год 1711-й, апрель — май

УКАЗ Г-НУ ФЕЛЬДМАРШАЛУ ГР. ШЕРЕМЕТЕВУ

1. Чтоб всей армии к 15-му, а по нужде кончае к 20-му числу мая стать в поле от Бреславля (Брацлава) к Днестру.

2. Чтоб с собою на месяц провианту было, а к тому ж еще собрать в той Украине, сколь возможно, а имен-
но на три месяца...

4. Рекрут, как наискорее, приняв, разделить и учить
непрестанно стрельбою, також и драгунам стрельбу пе-
шим и конным твердить, а пороху 20000 пуд послано
в Киев...

7. Сие все исполнить, не опуская времени, ибо еже-
ли умедлим, то все потеряем. Також судов на Днестре
изготовить и плотов. К тому ж чего здесь и не писано,
а интерес наш требовать будет, то исполнять, как вер-
ному и доброму человеку надлежит.

Петр

Петр — Августу II

Пресветлейший, державнейший король и кур-
фирст, любезнейший брат, друг и сосед... дабы мы
междо собою принадлежащий уговор и нужные ме-
ры воспрять могли, того ради требует сей слу-
чай... наискорейшего нашего персонального свида-
ния. И для того б я в благоугождение вашему вели-
честву охотно по желанию вашему в Краков при-
ехал, ежели б я ради своей в Слуцком зело
опасной... болезни и в прочем для охранения своего
здоровья внешнее лекарство ныне принимать не при-
нужден был. И сверх того понеже уже кампания
приблизилась, и ныне войско у волоских границ...
збиратца начали, и я тако вскоре принужден буду
туда ехать, того ради прошу... дружелюбно брат-
ски ради общего дела на себя труд воспрять и да-
же до Ярославля (Ярослава) или Решева, как на-
искоряе, приехать...

Петр — Апраксину

Г-н адмирал. 3 денщиком вашим Таракановым
послано к вам виноградных череньев, которые выве-
зены из Венгров, четыре боченка, из которых по-
шли для разводу в Азов треть для того, что в той
стороне ныне война; а две доли к брату своему
Петру Матвеевичю в Астрахань, а для бережения

их послан драгун, которой с ним из Венгров приехал.

Екатерина из Яворова — Меншикову

Доношу вашей светлости, чтоб вы не изволили печалиться и верить бездельным словам, ежели со стороны здешней будут происходить, ибо господин шаутбенахт по-прежнему в своей милости и любви вас содержит.

Петр

Герцогине Брауншвейг-Вольфенбюттельской Христине Луизе. Светлейшая герцогиня. Из отправленного от вашей любви к нам приятного писания от 30-го января усмотрели мы с особливим уважением воспринятое с вашей страны удовольствие о данном от нас позволении к супружественной аллианции между нашим любезным сыном царевичем и вашей любви принцессы дочери... При сем обнадёживаем вашу любовь крепчайше, что мы всякого способа искать будем и всему вашему светлейшему дому всякие знаки нашей приязни и склонности показывать...

Дворец смотрелся в озеро.

Его окружал регулярный парк, устроенный на французский манер: с куртинами, гротами, беседками, статуями, пышными клумбами. То был как бы малый Версаль.

Дальний берег терялся в дымке. Островки в зеленых шапках либо плыли, либо были недвижимы — все зависело от погоды.

Сейчас озеро было подернуто легкой рябью, и островки, казалось, начинали покачиваться, готовясь к отплытию.

Петр был восхищен: озеро! После Луцка к нему вернулась легкость, и здесь, на берегу озера, тревожные мысли отлетели.

Родовой замок Радзивиллов в Яворове был еще пышней того, в котором принимала русского царя графиня Олизар. Но не пышность его пленяла Петра, не великолепные апартаменты, отведенные им, не парк — истинный шедевр нескольких поколений княжеских садовников, а озеро. Озеро с его манящей притягательной далью.

Весна утвердилась здесь во всей своей щедрости. Все, что могло цвести, цвело, и благоухание цветущих деревьев и кустарников причудливо мешалось. Казалось, природа спешила загладить все свои предшествующие несообразности. Да, так бывает порой после водопада, после хмурых и тягучих дней припозднившейся весны.

Гармония этого места очаровывала репительно всех, кто здесь бывал. Сюда любил езживать знаменитый король Польши Ян Собеский — неустрашимый воин, наводивший страх на турок и татар.

— Тень короля Яна еще бродит по этим дорожкам, — сказал Петру хозяин замка канцлер Великого княжества Литовского князь Николай Доминик Радзивилл. — Всего пятнадцать лет тому, как душа его отлетела. Он любил гулять здесь, как мы с вами, ваше царское величество. Он многожды бивал турок. И благословение его непременно пребудет с вами, ибо вы коснулись его тени.

Князь любил витиевато выражаться, но это было и в обычае, и в духе вельможной шляхты. Петр был ему благодарен — нуждался в ободрении, а тем более в благословении непобедимого короля Яна, тень которого витала над замком и над этими дорожками.

Русский царь стал магнитом. Он притянул в замок Радзивиллов польских вельмож с их обольстительными женами. Явился и сын короля Яна королевич Константин — бесцветный молодой человек с мелкими чертами

лица, однако с важными манерами, приличествовавшими наследнику знаменитости, который более всего многозначительно молчал.

Зато другой визитер вызвал неподдельный интерес Петра. То был князь трансильванский и венгерский Франциск Леопольд Ракоци — вождь венгерского восстания против австрийского ига.

О Ференце, как его именовали венгры и как представлялся он сам, Петр был много наслышан — о его отважности и неустрашимости. Канцлер Головкин склонен был видеть в нем бунтовщика, однако Петр так не думал: князь в его глазах был неким противовесом заносчивой императорской власти. Таким его видели и французы. Еще в прошлом году посол Балюз по поручению короля Людовика просил оказать князю всяческую помощь, вплоть до военной, в его стремлении отложиться от Австрии. Но то был французский интерес, и Петр ответил тогда, что сия акция ему неподступна, а войско занято шведом.

Потом ему доложили, что Ференц Ракоци подался к Карлу и задумал-де со шведом интрижества против России. Это показалось Петру несообразным, о чем он и сказал докладывавшему ему о том Головкину. Какой, мол, резон Ракоцию идти против России? Еще четыре года назад он подписал тайный договор с нею, послов своих направил, просил царя о помощи. Тогда отмахнулись, и Петр о том забыл: шведы наступали на пятки.

И вот они сошлись — царь и Ракоци. Нос с легкой горбинкой, упрямо сжатые губы и сильный подбородок, глаза, глядевшие не мигая, — весь олицетворение мужества и прямоты, князь понравился Петру с первого взгляда. И Ракоци без обиняков приступил к Петру.

— Ваше царское величество, нас теснят австрияки. И хуже того, в наши ряды затесался предатель, барон Каройи, которому я доверил командование армией. Он

капитулировал. Наше дело проиграно. Мне ничего не остается, как просить у вас защиты, убежища и помощи.

— Россия даст защиту и убежище, князь. Мы примем гонимых. Но вот помощь... — Петр развел руками. — Мне самому надобна помощь. Молись, князь, дабы мы турка одолели. Вот тогда потратуем и о помощи.

Множество сановного народу съехалось сюда, в Яворов, ради русского царя. Ждали короля Августа. Но он, по обыкновению своему, ускользнул.

«Экий шельмец, — подумал Петр, впрочем, беззлобно. — Который раз уходит склизкой рыбою из верши. Но я его изловлю-таки и понужу к алиансу. Союзник! Заманивал в Краков при том, что знает, шельмец: дорога моя на войну».

Царь прогуливался с Ракоци, когда к ним подошел французский чрезвычайный посланник де Балюз.

— Кого ваше величество определит на место скончавшегося вашего резидента при дворе моего короля? — спросил он.

— Покамест определен секретарь Григорей Волков. Далее же полагаю поручить сию миссию князю Борису Куракину, искусному в дипломатии. Он был министром при английском дворе.

— Ваше величество сделали прекрасный выбор, — заметил де Балюз. И продолжал: — Я последовал за вами по воле короля Людовика. Он предлагает свое посредничество между вами и султаном, вами и королем Карлом шведским. Мир между Оттоманской империей и Россией, мир между вами и королем Карлом, — вот к чему призывает мой повелитель.

— А вы, князь, чего хотите вы? — обратился Петр к молчаливо шагавшему рядом Ракоци.

— Того же, что и король Франции, — мира.

— Император Иосиф умер, — торопливо сообщил Балюз.

Это была преважная новость. Петр перекрестился, Ракоци вздохнул. Казалось бы, он должен был испытать род облегчения: умер тот, кто преследовал его, кто был душителем антиавстрийского восстания венгров. Но он оставался по-прежнему грустен. Балюз с чисто галльской экспансивностью заметил:

— Вас, князь, эта новость должна вдохновлять.

— Увы, наше дело проиграно — я только что рассказал его царскому величеству. Тот, на кого я оставил армию, капитулировал перед австрийским главнокомандующим графом Пальфи.

Де Балюз был ошеломлен. Это означало и поражение Франции. Что скажет король Солнце? Ему, как видно, придется проглотить пилюлю. Не повлечет ли это за собой отставку министра иностранных дел маркиза де Торси? И его, Балюза?

Петр со снисходительной усмешкой глядел на француза. Он понимал, что творится в его душе: год назад по поручению своего короля он ратовал за военную помощь Ракоци. Теперь его должны отозвать: Волкову поручено сделать на сей счет представление. Балюз-де держит сторону шведа, а это российскому двору неудобно.

Жаль князя — он нравился Петру. В самом ли деле он искал союза с Карлом?

— Не стану хитрить, ваше величество: да, я искал помощи шведского короля, равно как и турецкого султана, — глядя прямо в глаза Петру, отвечал Ракоци. — Россия мне в такой помощи отказала. Я вовсе не пеняю вам, — прибавил он торопливо, — мне известны ваши трудности...

— Великие тягости, лучше сказать. Но Россия всегда окажет вам гостеприимство, а с ним и кредит, как было досель, — произнес Петр с теплотой.

Потрясенный француз как-то незаметно исчез. К свите царя присоединился Феофан Прокопович — но-

вый фаворит Петра, вызванный им из Киева, где тот преподавал в духовной академии.

Феофан был истинный златоуст, философ и занимательный собеседник. По его собственному признанию, он прошел огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы. В свое время оставил академию, подался в униаты, прошел пешком всю Европу, достиг Рима, Ватикан стал его второй альма-матер, бросил и Ватикан и богословие, отправился пешком же обратно через университеты Лейпцига, Йены, Галле, закончил свой путь в Почаевской лавре, где снова принял православие. Елисей при святом крещении, он в униатах сменил имя на Самуил, а при постриге стал Феофаном.

— Стало быть, прожил ты три жизни, — заметил Петр, выслушав одиссею монаха, — Елисей — Самуил — Феофан.

Сей феноменальный Феофан изрядно знал языки, упражнялся с успехом в риторике и поэтике, словом, по складу натуры был человек светский и вольнолюбивый, хоть и в монашестве. Петру были по душе его бесшабашность, ироничность и насмешливость в отношении к духовным, как белым, так и черным, к которым принадлежал.

Они сошлись — царь и монах. Петру был нужен Феофан — златоуст и проповедник, сполна оценивший значение его реформ и облекший их в слова. Царь собирал талантливых под свое крыло, он притягивал их как некий магнит, да и они льнули к нему, ибо сам он был талант, а может, и более того.

Сейчас меж них зашла речь о вере истинной и ложной. Что есть вера — государственная ли надобность либо просто духовное утешение.

— Хулители веры наносят вред государству, — утверждал Петр. — Они не должны быть терпимы, поелику подрывают основание законов, на которых утверждается клятва или присяга и обязательство. Посему вера есть условие государственного благоустройства.

— Согласен, ваше величество, — улыбался в бороду Феофан. — Вера суть духовные вожжи для управления людьми. Но вера должна иметь основанием разум, ибо ежели она оголена, то обращается в фанатизм. А всякий фанатик противен Господу.

— И я с сим согласен, — улыбался Петр. Оба оставались довольными друг другом, потому что мыслили ровно, а не розно, как бы дополняя друг друга. К тому же оба увлекались мыслительной игрою — шахматами. И могли передвигать фигуры часами, к общему неудовольствию.

— Но! — и Петр назидательно воздел вверх палец, длинный как кинжал. — Ежели сильно умствовать в вере, то она обращается в нечто, недоступное верующему. А вы, философы, своим умствованием запутываете и отпугиваете стадо Христово. Проще, проще надобно, с открытою, незамутненной мудрованиями душой идти к Господу. В простоте суть истинной веры. И посему я противлюсь патриаршеству. Ибо один человек не может своевольно толковать и устанавливать законы Божии и установления церкви. К такому толкованию способней будет коллегия мыслящих иерархов церкви.

— Важно, — согласился Феофан. — Мысль великая. Кроме того, в государстве должно быть единому управителю. От многих владык — многое несогласие и многая нестройность. Мирская власть — от царя, духовная — от Бога, а не от слуг его. Стало быть, в государстве единый властитель — царь.

— Верно мыслишь, Феофане, — и Петр добродушно хлопнул монаха по плечу, отчего тот слегка присел. — И беседы с тобой пользительны. Доволен я, и будешь ты отныне при мне безотлучно.

Министры слушали это без удовольствия: еще один соперник. Провидели они: быть Феофану в епископской митре. Стало быть, не опасен.

Опасен не опасен — к Петру это не могло иметь отношения: он был не из тех государей, что живут чужим

умом — умом своих министров, приближенных, фаворитов либо фавориток. Царь всея Руси был единодержавен, единовластен, единомыслен, единоволен... У царя Петра хватало всего своего, и этим он весьма отличался от всех дотоле правивших Романовых и от блаженной памяти батюшки своего Алексея Михайловича. Тишайший был тоже самовит, однако же часто «сумлевался» — как сам признавался. Призывал бояр, Никона — когда тот был в силе — на совет. Боярская дума, случилось, прекословила царю, однако царь Алексей был не из обидчивых — соглашался.

Здесь, в Яворове, Петру было необыкновенно хорошо, он тут тотчас прижился. Не было недостатка в достойных собеседниках, все располагало к благодати, к душевному и телесному отдохновению. Ждал приезда короля Августа, надеялся подвигнуть его на серьезную помощь.

И в этом ожидании чувствовал некое щемление. И однажды, глядя на безмятежную гладь озера с плававшими островками и стайками уток, он вдруг понял, чего ему не хватает — корабельной потехи.

Да, поработать бы вволю топором, намахаться, вдыхая запах дерева, щепы, ощутить былую силу рук и ту рабочую усталость, которая всегда была для него животельной и радостной.

Господи, как же он раньше-то недомыслил! Была, была усталость, да только от многих разговоров, от застолий, от чинности всей здешней жизни.

Призвал Макарова, спросил:

— Не видал ли на берегу шлюпки какой?

— Нет, государь, народ здесь все сухопутный. Может, и есть где, да рассохлась. Прикажете разузнать?

— Непременно. А пуще всего охота помахать топором. Нет ли у них материала да инструменту? Сладил бы бот. Великую охоту к тому испытываю.

Как же — все нашлось. Имение князя Радзивилла было обширно и богато, с мастерскими и мастеровыми и всяким материалом.

Угодить царю — большая честь. Отданы были распоряжения, напилили досок, наострили топоры. Петр с плотниками сошелся, как сходил с мастеровым людом в Саардаме, либо на адмиралтейских стапелях в Воронеже, либо в Питербурхе. Они наперебой старались угодить ему, норовили сработать за него: мол, негоже царю топором махать. Он добродушно отгонял их — сам работный человек.

Увидели — царь-то и впрямь работник. Никому из них не уступит. Может, старый Януш, единственный, кто осмеливался вступать в спор с царем, мастеровитей его. И то сказать: с малолетства хлеб себе плотником делом добывал, разные художества из дерева творил.

За плотницкой работой отошло все дурное от сердца Петра. С рассветом приступал. Два помощника было у него: Януш и сын его Мечислав.

Солнце степенно подымалось над озером, озирая и благословляя их. Дерево было податливо, щепы и стружки ковром устилали землю. Тяжелый дубовый киль отглаживали втроем. В него вгоняли ребра — шпангоуты. Петр осаживал помощников: сила ломит да сломит. Кабы не лопнул дуб от излишнего усердия.

Шпангоуты держали обшивку. Доски притесывали так, чтобы и волос меж них не просунуть. В воде дерево разбухнет — и течи не будет. А еще надобно было просмолить. Дуб-то воды не боится, а вот доски...

Наезжали вельможи глядеть на царя-плотника. Петр глаз не подымал — работал. Ему таковое любопытство было не в диковинку.

Глаза разные. Доброжелательные, восторженные, злые, заискивающие, настороженные, тупые и вовсе бесчувственные... Господи, сколько глаз! Сколько их, видящих вовсе не то, что есть на самом деле,

сколько ушей, слышащих вовсе не то, что было произнесено.

А сколь судей в чужих землях! Судящих без доказательств, без свидетелей, едино по своим мимолетным впечатлениям, а все более по ощущениям. Часто с чужих слов, искаженных недоброжелательством, равнодушием, чем угодно.

Тяжко быть царем. Великое это бремя, неподъемное для заурядного человека. Обидно быть царем: всяк его судит...

Странно: Петр особенно остро ощутил это бремя за плотницкой работой в Яворове.

Ловко он топором-то. Сколько голов успел отрубить — наловчился...

Топор ему более пристал, нежели скипетр...

Какой он царь? Эвон его истинное дело...

Ишь, как ладно. Вот бы так и царством правил....

Меж тем дело подвигалось. Бот уже прочно стоял на козлах, поблескивая свежестругаными боками. Да, был он крутобок, строен по морским правилам. И обещал противостоять крутой волне, что в общем-то не ожидалось.

Царица Екатерина, покинутая своим господином на все время его корабельной прихоти, успела освоиться. Ее боярышни приобрели светский лоск, благодаря зорким наблюдениям за вельможными паннами. Эти же были вышколены по-европейски, и манеры у них были самые утонченные, ибо все они бывали при королевских дворах и в Варшаве, и в Дрездене, и даже в самом Париже. Уроков не брали — приглядывались, очи и уши наострив.

Ближе всех сошлась Екатерина с супругой Григорья Федоровича Долгорукова. И было к тому времени в недавней служанке столько истинно царского в сочетании с истинно человеческим, что княгиня Марья признала ее и привязалась.

Ходили они вместе глядеть, как царь трудится. Не глазели, а чинно прогуливались, приседая в поклоне. Царь махал им, но от работы не отрывался — торопился. Шла к концу вторая неделя его корабельной страды, хотел — а лучше сказать, горел — поскорей спустить на воду свое детище.

Бот вышел вместителен — на пятнадцать душ. Януш с сыном набивали скамьи, Петр вытесывал весла. Конечно, боту заповедано ходить под парусом, но две пары весел непременно должны быть на случай полного штиля. Гребцам достанется, да куда торопиться...

Торжество было назначено на ближайшее воскресенье. Весь народ, что был в имении, равно и окрестные паны, не исключая и челяди, собрался на берегу.

На мачте трепетал треугольный штандарт с петровским вензелем. Его вышла Екатерина, и то был день, когда ей пришлось отказаться от привычного «шпациренганга».

Бот стоял на салазках, в них впряглись мастеровые, слуги, кучера и весело, с гиканьем и криками, потащили-повезли к воде.

Петр сам окрестил судно. На борту он вывел краской довольно-таки коряво: «Царица».

Всем было ясно, кто был крестной матерью бота. Царица? Ведомо, какова. Служанка. Царская полубовница, прихоть Петрова. Однако право великого человека на прихоть не оспорит даже Всевышний...

Бот между тем торопился к своей купели. Он все ускорял и ускорял движение — берег круто спускался к воде.

Петр в одиночестве стоял на банке, держась за мачту. Он улыбался.

— Эй, поберегись! — крикнул он, и добровольные бурлаки разбежались в разные стороны. У самого уреза бот плавно соскользнул с салазок и грудью своей поднял волну.

— Ура, ура, ура! — восторженно завопили на берегу. — Экая царица-молodiца!

«Царица» важно покачивалась на волнах. Она казалась Петру такую же надежной, как его новая супруга. Он поднял косой парус, но он беспомощно обмяк.

Экая незадача! Да и куда пристать? Князь Радзивилл был человек степенный, весьма высоко понимавший свое фамильное достоинство, а потому не поощрявший никаких потех — ни на суше, ни на воде. Правда, он приказал в свое время устроить купальню и проложить мостки для любителей уженья рыбы. Но коли нету пристани, сгодится и купальня.

Петр взялся за весла. Кабы не природная сила, в одиночку не сдвинуть бы бот.

Повелитель великой державы еще и галерный гребец!

Экая немыслимая и невиданная картина: кто бы мог поверить, что на веслах — русский царь...

Какую силу нужно иметь, господа, чтобы сдвинуть с места это судно.

Глядите, глядите, царь подгребает к купальне!

Господа неспешным шагом отправились к новоявленной пристани, где царь ошвартовал свою «Царицу». Предстояло торжественное освящение новопостроенного судна с последующим катанием, равно и с распитием вин и водок.

— Господа! — воззвал Петр. — Добро пожаловать на «Царицу». Ветер поднялся, все благоприятствует плаванию. Будем крейсировать меж островов.

— Ежели удастся, — довольно дерзко вставил Макаров.

Охотников нашлось немного. Похоже, пляхтичи не доверяли корабелостроительному искусству русского царя. Тем паче что плавать они не умели, а вода была чуждой стихией.

На скамьях разместились царица с княгиней Долгоуковой, боярышни и комнатные девушки, министры и

денщики. Посадка прошла благопристойно. Петр с силой оттолкнулся, и «Царица», слегка покачиваясь, медленно отплыла. Парус постепенно расправлялся, и вот уже ветер наполнил его.

Впервые со времени отъезда Петр испытывал чувство, похожее на счастье. Все дурное, все тяготившее его — мысли о войне, худые вести от Шереметева, неготовность интендантской службы, пустые магазины, напустившиеся на него недуги, — все-все отошло, сгинуло и, казалось, более не вернется.

Ровная озерная гладь манила. И призывными загадочными приютами разлеглись вдали зеленые островки. Бывали ли кто там, жила ли зверь либо птица?..

Все на борту «Царицы» молчали точно замороженные. То ли замкнули языки необычность и новизна происходящего, то ли опасение какой-нибудь неожиданности. Дамы опасливо смотрели то в воду, то под ноги, мужчины устремили взоры вперед.

Подошли к острову. Он был наибольшим, а может, это только казалось. Петр маневрировал парусом, обнаруживая и ловкость и навык. Наконец бот уткнулся в небольшой заливчик. Царь проворно выскочил на берег и, натужившись, подтянул бот. А потом самолично принимал на руки повизгивающих девиц и робевших дам и помогал сойти неловким министрам.

Островок оказался необитаем и вполне приспособлен для пикников. Рослые деревья стражею окружали его со всех сторон. А в центре, словно бы нарочито устроенная, лежала зеленая лужайка, представлявшая об эту пору сплошной цветущий ковер. Зайцы прыскали в разные стороны прямо из-под ног, их было множество, и, как видно, они чувствовали себя здесь в полной безопасности.

Петр вел себя совершенно не по-царски: вприпрыжку гонялся за зайцами, потом легко приподнял Екатерину и, не вникая в протесты, опустил ее в цветущий ко-

вер и сам прилег рядом. Он блаженствовал ровно отрок и не испытывал никакого стеснения.

Вокруг были свои, привыкшие к простецким, а порой и озорным выходкам своего повелителя. А потому не удивлялись и не конфузились. Однако мало кто из них осмеливался давать волю своим чувствам. Даже царицы боярышни вели себя чинно. Но в конце концов царь их расшевелил. И девицы, подхватив юбки, принялись гоняться друг за дружкой.

— Человек остается человеком даже взошед на самую вершину власти, — вполголоса произнес Шафиров, обращаясь к Головкину.

— Да, ежели он и в самом деле человек, — отозвался Гаврила Иванович.

Говоря это, он думал не о царе, а о себе. Гаврила Иванович был человек непростой и с самомнением. Порой самомнение брало верх, и тогда он бывал непомерно важен. В такие минуты Петр над ним подтрунивал, и Головкин сникал, даже опасался, не лишил бы царь его канцлерства.

— Почаще гляди на себя в зеркало, — наставлял его Петр. — Что изнутри в тебе деется, то в наружности отражается.

Головкин глядел в зеркало и видел в нем рыцаря Печального Образа, то есть Дон Кишота ликом. Канцлер был человек начитанный, в библиотеке его был немецкий перевод романа испанского сочинителя Сервантеса. Будучи в Берлине, он приобрел эту книгу, и так как то посещение было весьма памятно ему по причине пожалования его величеством королем Фридрихом прусским редкого ордена Великодушия, то роман тот он прочел с великой прилежностью. Что сказать? Он чувствовал себя рыцарем великодушия и потому с особой гордостью нацеплял на себя золотой крест с голубой эмалью, увенчанный курфюршеской шляпой, с надписью: «Ля женерозите». Самомнение, однако, первенствовало, а великодушие убывало и убывало. Тощий,

длинный и нескладный, Головкин становился желчным, завистливым скупцом. Тем не менее царь ценил его за здравый смысл и таковые же советы, почитая желчность канцлера полезной.

Гаврила Иванович и в царе видел многие недостатки, но благоразумно помалкивал, хотя его повелитель не прятал ни своих достоинств, ни своих недостатков.

— Прост наш государь, чрезмерно прост, — бормотал он сейчас, глядя на царские вольности. — Мыслимое ли дело оказывать себя среди вельможных особ в плотничком деле либо в кувыркании. Все ж таки царь всея Руси...

— Человек, — отозвался Шафиров. Он глядел на царя с умилением и обожанием, хотя и побаивался его. Эти его чувства можно было понять: Петр был благодетель его семейства. Он, можно сказать, вытащил батюшку и его из грязи — из лавочных сидельцев — если не в князи, то в бароны. Такое при любом царствовании было немыслимо, ежели принять во внимание иудейское происхождение Шафировых. Однако же царя Петра занимало более всего не происхождение, а умение, способности, познания, преданность делу...

— Да-с, человек, и это допрежь всего, — повторил Петр Павлович.

Он было взялся развивать свою мысль, но царь внезапно поднялся, давая знак к отплытию, и они отправились в обратный путь.

Прием следовал за приемом, званый обед за обедом. На свидание с царем прибывали сановные особы. Не теряли надежды все-таки увидеть и короля Августа. Оплакивали цесаря Иосифа австрийского. Более всего печалился канцлер: цесарь произвел его в графы Римской империи четыре года тому.

— Помер в молодых годах, — скорбно наклонив голову, печалился Головкин. — В возрасте Христа, тридцати трех лет.

— Бог прибрал, — односложно констатировал князь Ракоци. Он-то вовсе не предавался скорби. Смерть Иосифа оживила надежды на перемены к лучшему и в его положении, и в положении восставших венгров.

Петр угадал мысли Ракоци — это было несложно — и как бы между прочим заметил:

— Сильно опасаясь, князь, что положение ваше не изменится: у покойного цесаря сердитые наследники.

Разговор этот велся за обедом в апартаментах царя. После этой реплики Петра за столом воцарилось молчание. Обмысливали последствия смерти Иосифа. Многого могло перемениться в мире, и прежде всего в войне за испанское наследство, которая тянулась более десяти лет. Покойный император был главным ненавистником венгров, ибо боялся потерять венгерскую корону, возложенную на него отцом в одиннадцатилетнем возрасте. Петр же надеялся, что преемник Иосифа ужесточит свою турецкую политику. Пока что в начавшейся войне у него практически не было союзников, хотя Османская империя была вековым врагом европейских народов. Август? О, это ветреник, а не союзник. Петр хотел вдохнуть в него хоть сколько-нибудь решимости: султан в союзе с Карлом представлял прямую угрозу его владениям, оба они могли согнать его с престола.

Мысли эти были досадительны. Он был намерен встрясти из Августа обещание помощи, как бы он ни увертывался, как бы ни ускользал. Хоть бы двадцать тысяч солдат выставил — все благо. Потому и оттягивал свой отъезд из Яворова: полагал, что Август усовестится и ответит на его призывы.

Август, однако, не усовестился и прислал объявить, что в Яворов не прибудет, а о месте свидания известит особо.

Петр поначалу взъерился, а потом неожиданно утих. Он останется в Яворове и станет ходить под парусом — эка благодать — до той поры, когда король не соизволит позвать его.

Худой союзник, худой. Но, увы, иных нету. Датский король Фердинанд не лучше. Остальные тайно враждебны, явно же дружелюбны — все-таки его опасаются. Он бы предпочел, чтобы было наоборот, а то так и не ведаешь, какие козни строит король Солнце, либо римский цесарь, либо Анна, королева английская...

О кознях все равно доносят — конфидененты и блажелатели, тайное становится явным. Слава Богу, в доношениях такого рода недостатка нету: в dobroхотных ли, в купленных — все едино.

Князь Радзивилл, гетман Сенявский, князь Ракоци и иные вельможи любили сладко есть и сладко спать, а потому вставали поздно. И добро. Он, Петр, уже в четыре утра, когда белесая полоса только обозначалась на востоке, был уже на ногах.

Брал с собою двух денщиков — царица почивала на своей половине. В парке шли отчаянные турниры соловьев. От воды тянуло запахами водорослей, рыбы, она чуть светлела, пробуждаясь вместе с утром.

Петр ставил парус, а потом по его команде денщики отталкивали бот, и вот уже утренний ветер раздувал брезентовое полотнище, и бот ходко устремлялся вперед, к дальним пределам.

Один, один! И парус, выгнувший грудь, и озеро, кажущееся безбрежным, и солнце, еще прячущееся где-то за горизонтом, — все для него одного. И нет любопытствующих, вечно чего-то ожидающих глаз, которые сопровождают его во все время странствий. Быть одному среди природы, среди ее возвышающей тишины — не есть ли в этом великая милость и столь же великая истина?!

С каждым днем Петр чувствовал, что эти утренние часы наедине с озером все более отдалают его от цели — цели отталкивающей, тревожащей, пагубной, душегубной... Остаться бы здесь подольше... шел к концу месяц в Яворове, а он так и не насытился им...

Наконец военные обстоятельства взяли его в оборот. Курьеры с доношениями являлись каждый день, одолевая немыслимые расстояния и столь же немыслимые опасности. Вести становились все тревожней. Великий визирь с бессчетной армией двигался к Дунаю. И будто бы застиг турок великий шторм. И ветер будто бы переломил древко и изодрал в клочки зеленое знамя пророка. Визирь пришел в смущение и не знал, как быть дальше. В том якобы заключалось предзнаменование, данное от Спасителя...

Весть не особо утешительная. Петр трезво относился ко всякого рода предзнаменованиям. Однако на всякий случай спросил Прокоповича:

— Как думаешь, Феофане, истинно ли то знак от Господа?

Феофан был скептичен и мыслил трезво, несмотря на свое монашество. Но как сказать царю, что знак знаком, но все зависит от воинской готовности, от порядительности тех, кто поставлен во главе войска.

— Господь, наш повелитель, всемогущ, — отвечал он. — И знак сей, конечно, не напрасен. Однако же всецело полагаться на него я бы не осмелился.

— Ну ладно, — вздохнул Петр. — Истина, все едино, сокрыта от нас. — И сказал Головкину, ожидавшему распоряжений: — Отписать надобно английской королеве Анне под моим полным титулом о шведе таково: понеже король шведской, на силу турков и татар полагаясь, к нарушению с нами вечного миру привел, мы, стало быть, почитаем себя свободны действовать. И можем в пределы шведские вторгаться. И подпиши: вашего королевина величества склонный брат. И более никаких наклонений.

Приехал царевич Алексей с многочисленной свитой за благословением: направлялся к своей невесте. Длинный, в отца, он еще больше вытянулся с тех пор, как они не виделись. В коричневых глазах сына, казалось, навсегда застыла растерянность. Отвечал на вопросы

коротко: да, батюшка, ваше величество; нет, батюшка, аше величество.

— Меня аккурат в твои годы женили,— вспомнил Петр.— Должно и тебе, видно, сие испытать. Готов ли ты?

— Как прикажете, батюшка, ваше величество.

— Не вижу радости в тебе,— покачал головой Петр.— Однако, сын, партия сия убыть может, и того будет жаль. Поезжай к невесте. Сказывают, хороша она собою и благонравна, да и Брауншвейг-Люнебургский дом родовит. Вот составим договор брачный, с тем и поедешь.

Петр похлопал сына по плечу, а потом, сочтя этот жест одобрения и ободрения недостаточным, обнял его и поцеловал в лоб.

— Ну, ступай к себе. А мы тут с господином канцлером договор составим, бумага сия весьма пространна быть должна.

Царевич Алексей уехал с пространной бумагою. Расстались без должного трепета. Бракосочетание положили совершить по окончании кампании. Холоден, пуглив был сын, холоден оставался отец.

— Отчего это, Катеринушка? — Петр устало смежил глаза, лежа рядом.— Ровно чужой он мне.

Екатерина неожиданно засмеялась — то ли от переполнявшей ее женской радости, то ли от своей победительности. Но тотчас осеклась, почувствовав, что смех неуместен.

— Более любят младшеньких,— как бы невзначай напомнила она.— А отцы — девочек.

Петр вспомнил и тоже засмеялся.

— Да, в Лизаньке души не чаю.

— Чисто вашего величества дочь,— подтвердила радостно Екатерина.

— Алексей с тобою почтителен был?

— Без охоты. Чужой,— вздохнула она.— Мачеха я ему, иного и не жду.

— При родной-то матери инако быть и не может.

Екатерина смутилась. В самом деле: Евдокия хоть и ушла от мира, приняв иноческий чин, здравствовала. Доносили: сын тайно видится с матерью. Можно ли пресекать? Петр пребывал в затруднении, но так ничего и не решил.

— Хорошо мне тут,— Петр обнял Екатерину.— Вольготно и спокойно. Век бы не съезжал.

— Ждут вас, государь-батюшка,— со вздохом напомнила Екатерина.— Полки-то уж далеко ушли.

— Чаю, близ границы волосской.— Петр разомкнул руки и неожиданно сел.— Как полагаешь, Катинька, непременно ли царю либо там королю быть при армии? Ни султан турский, ни король французский, ни цесарь римский, царствие ему небесное, в воинские сражения не хаживали. Разве токмо мы с Карлом...

— Поздно, царь-батюшка, об этом думать,— рассудительно отвечала Екатерина.— Уж коли и прежде во походы хаживали и себя в них отличили, коли и ныне поход ваш миру известен, то уж надобно идти до конца.

Петр снова улегся, заложив руки за голову. Он размышлял: только что высказанная мысль давно не давала ему покоя. Зачем подвергать себя опасности, отвлекать от дел по устройению государства, наконец, и не жить в свое удовольствие, как все potentаты, коли есть опытные военачальники, такие, как, скажем, тот же Шереметев, как Меншиков и иные? Отчего ему нейдет? Можно было по молодости лет, с тогдашним азартом, жаждою подвига, стремлением испытать себя... Еще при Полтаве он кипел молодым кипением, и чувства тогда были совсем иные.

Всего два года минуло, а как он огрузнел, отяжелел. Тогда он чувствовал себя по крайности ровнею Карлу, хоть и был на десять лет старше.

Бремя власти тяжкое и сладкое. Счастье и смерть, радость и кровь, повсечасное напряжение, великое отягощение. Богатырскую силу надобно иметь, чтобы снести все это.

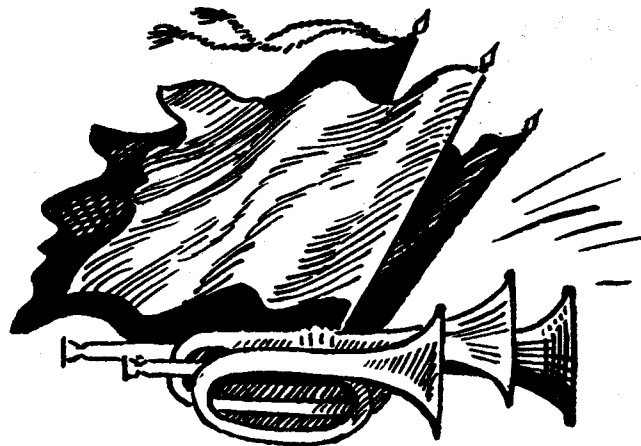
Дана ему эта сила, дана. От Бога. Но надолго ли ее хватит? Ведь с каждым годом она пока еще неприметно, но убывает. И порою, вот как сейчас, так хочется скинуть сверхтяжкую ношу. Ибо старит она, гнетет и старит, накладывает морщину за морщиной. И точит и точит волю...

— Не по-царски себя оказываю, Катеринушка? — неожиданно спросил Петр. — Кудесничаю, а?

Екатерина смутилась. Нагляделась она разного чванства — княжеского, графского, баронского, шляхетского и прочего. Царь же ведет себя разное: когда по-царски, когда по-простецки, но не чванится, где бы ни был.

— Я так скажу, — осмелела она. — Коли вы государь, то и вольны в поступках своих, равно и в речах. А я? Более всего человека в вас, государь-батюшка, вижу.

— Славные у тебя глаза, Катеринушка. И славно ты видишь.



Глава восьмая

ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ БРАТ, ДРУГ И СОСЕД...

Непорочность прямодушных
будет руководить их, а лукавство
коварных погубит их...

Правда прямодушных спасет
их, а беззаконники будут уловле-
ны беззаконием своим.

Книга Притчей Соломоновых

Голоса: год 1711-й, май

Петр

Господа Сенат. Зело мы удивляемся, что мы по отъезде нашем с Москвы никакой отповеди от вас не имеем, что у вас чинитца, а особливо, отправлены ли по указу на Воронеж новые полки, также и в Ригу рекруты, что зело нужно, о чем мы уже дважды к вам писали... исполнено ли то, или нет.

Петр—Шереметеву и В. В. Долгорукову

Понеже мы из всех мест ведомости имеем и напоминания, а особливо нам непрестанные прошения от господарей мультянского и волоцкого и всех тех народов знатных людей доходят, чтоб мы, как наискорее, поспешили, буде невозможно со всем корпусом главным нашего войска, то хотя б знатную часть оного, более в кавалерии состоящую, послать в Волоцкую землю и зближатца к Дунаю, где турки велели делать мост, предполагая, что сколь скоро те войски наши вступят в ту землю, то они, господа, с войски своими к Бендерю, куда им по указу турецкому итти повелено, не токмо не пойдут, но тотчас с войски нашим совокупятца и весь народ свой многочисленной побудят к восприятию оружия против турков; на что глядя, и сербы (от которых мы такое же прошение и обещание имеем), також и болгары и другие христианские народы против турка восстанут...

Петр—царице Прасковье

Я зело удивляюсь тебе, что ты не пишешь о своей дочери (а моей племяннице, кнегине курлянской), ибо вчера я у Рена видел письмо: пишет Кайзерлинк, что она подлинно беременна (речь идет о будущей императрице Анне.—Р. Г.) А мне люди про то сказывают, что надлежало б мне ведать, ибо в том много надлежит. О чем немедленного уведомления прошу.

Петр—Куракину в Лондон

По получении сего письма приищи у охотников токарной станок (на котором возможно точить овал и розан) доброва мастерства, и чтоб оной уже в деле несколько был; также довольное часло долот, а именно вдвое или втрое, и с собою вывези в Голандию, а оттоль пошли в Ельбинг или в Ригу...

Также привези с собою две или три прешпективы... доброго мастерства, а особливо чтоб немалое место вдруг мочно было видеть...

Шереметев—Петру

...с кавалериею пришел на Воложскую границу к реке Днестру. И хотя там неприятелей татар было немало, однако же под местечком Рашковым упомянутую реку безо всякого препятая перешел. И отбив их, пришел близ Яс, резиденции воложских господарей, и послал туда бригадира Крпотова с сильною партией для принятия господара воложского князя Дмитрия Кантемира...

Петр—Шереметеву

...При входе же в Волоцкую землю заказать под смертною казнию в войски, чтоб никто ничего у христиан никакой живности, ни хлеба без указа и без денег не брали и жителей ничем не озлобляли, но поступали приятельски.

Чертов король! Заставил-таки ехать к нему на поклон!

Обязанный ему много, многими благодеяниями. Обязанный польским троном! И вот изволь ехать к нему! Он, видишь ли, отягощен. Знамо чем — блядством.

Все забыл, все. Забыл, что Карл шведский заставил его дать деру, бросив свое королевство. Заставил подписать унижительный Альтранштадтский мирный договор, в коем Август был принуждаем отказаться от всех прав на корону Польши. Ею Карл увенчал своего покорного ставленника Станислава Лещинского. Август тогда отрекся от него, Петра, и, дрожа заячьей дрожью, засел в своей курфюршеской столице Дрездене.

Август Сильный? Он и в самом деле сильный — завивал трубкою серебряную тарелку. И в детородстве

сильный — наделал три с половиной сотни детишек. Никем не брезговал — обсеменял всех подряд: крестьянок и графинь. Его канцлер только успевал выдавать пособия на содержание королевских чад. Незаконных, вестимо.

Тут-то он сильный — ни смелости, ни ума не надо: знай себе суй. Кабы не он, Петр, не Полтава, не видать бы Августу снова Варшавы: царь высвободил его из оков Альтранштадтского договора, и он снова принялся обсеменять польских панночек.

Черт с ним! Хоть и худой союзник, но по нынешним обстоятельствам нельзя терять и такого. Правда, ненадежен: ежели что, предаст и глазом не моргнет — оказал себя пять лет назад перед Карлом. Но может быть, урок сей пошел ему впрок?

Нет, на благодарность Августа ему, Петру, рассчитывать нечего, коли, несмотря на все просьбы и резоны, король так и не явился в Яворов, а предложил царю явиться в Ярослав.

Катерину оставил в Яворове — для собственного спокойствия. Август мог и на нее накинуться. Зачем его искушать. К тому ж меж них дела государственные, опять же возвратиться придется через Яворов...

Что-то в нем было, в этом Августе, какой-то магнетизм, равно притягивавший к нему не только женщин, но и мужчин. Лихач, бражник, гуляка. Петр испытывал к нему слабость со времени их первой встречи. Славно они тогда грешили: пир за пиром, дворец за дворцом, дама за дамой. Переменялись, а после хвастали как мальчишки: кто сколько поставил...

Жили ровно братья. Вот отчего и именовал его в письмах «любезнейший брат, друг и сосед». После того что меж них было все общее, как иначе!

Остались воспоминания — сумбурные и сладчайшие. Столь много всего, всяких и всех было перепробовано, такая крутилась карусель, молодая да знатнейшая, что голова шла кругом. И досель стоило вспомнить, как все оживало, да.

Не для того ль Август зазвал его в Ярослав? Неужели не утомился? Меж них два года разницы всего-то, ему, стало быть, пятый десяток.

Нет, такой не утомится. Он создан для сладкой жизни, для утех любовных и потех застольных. Таково его поле битвы. Лишь на эдаком поле он — Август Сильный. С иного поля, настоящего, он мгновенно ретируется.

Что ж, каждому свое. Может, тем и притягателен Август для Петра, что другого такого более нет.

До Ярослава — два дня пути. По счастью, дороги исправились, можно стало ехать, не опасаясь завязнуть. Жаль было покидать Яворов, расставаться с ботом — он провел там более месяца, да так и не насытился. И Катериношкой не насытился. И озером. И обществом гетманши Сенявской — с трудом продрался сквозь Катерину ревность, впервой ее почувствовал. Утвердилась, видно, в звании царицы. Подарил гетманше бот в знак любви мимолетной, но благоуханной.

Конечно, с Августом ему не равняться, но любовный пыл не угас. И зовы женщины были покуда ему внятны и желанны. А тут был именно зов. Можно ли было пренебречь?! Брат Август, тот не разбирал — есть зов или нет: точно ястреб кидался и когтил.

Он стал не таков: Катериношка отдавалась ему щедро и всяко — как никакая другая. После нее все казались пресны. И все-таки иной раз позывало. Более всего ради сравнения — может ли быть слаще.

Пока что не было. Вот и с гетманшей тоже, хоть и весьма притягательная дама, обворожительная, истинно женщина с барственной шляхетской тонкостью. Так что было познание, а не похоть. Более всего познание. И что же? Очарование осталось позади. А жаль...

Что же сам гетман Сенявский? Сказывала: он стар и не ревнив. Меж них соглашение: каждый свободен в своих поступках, привязанностях и желаниях. Но только без огласки, равная свобода меж мужем и женой — что

может быть разумней! Супружество ненаруσιμο, а вот верность — предрассудок.

Гетман в Ярославле, встречает своего государя. Он занят своими мужскими делами и не ревнив. «Ревность есть чувство низменное»; — утверждала гетманша Сенявская.

Вот он, Петр, как будто бы не ревнив. В нем более всего говорит собственник, хозяин. Ежели женщина, с которой он связал свою судьбу, изменит, он не возревнует, но оскорбится. Царь есть владыка животов и персонального живота, и без указа никто не вправе покушаться на принадлежащий ему живот...

Ах, нет, не о том, не о том. И не туда сворачивают мысли. Должен быть озабочен делом. Недоволен он собою, конечно, недоволен! Писал он Меншикову, что в конце мая будет к Днестру, но теперь ясней ясного: сего не исполнит.

Петр оборотился к Макарову:

— При тебе письмо Шмигельского?

— При мне, государь.

— Чаю, господа министры его не читывали?

— Нет, государь, — разом отозвались Головкин с Шафировым.

— Чти им вслух. Да пусть на ус мотают.

— Кто сей Шмигельский? — осведомился Головкин.

— Креатура Лещинского. Письмо сие перехвачено и к нам прислано.

Письмо было довольно длинное, и Макаров где читал, а где пересказывал.

— Получил Шмигельский объявление от приятелей из Польши, что саксонцев только семь тысяч, а москвы четыре тысячи. «Постановлено есть у нас и с тем войском итти отчаянно на саксонцев и на москву, которых свободно разгоним». Командировано-де к ним две тысячи шведов. Пишет, что столь великой силы турецкой и нашей москва не выдержит. «А король Август чаю, что прежней договор воспримет и спрячетца в Саксонии».

— Вот сии строки мы и приготовили для Августа, — усмехнулся Петр. — Покушение на власть его затеяно, и без нас ему не отбиться.

— А нам — удар в спину?

— Князю Меншикову копия с сией цидулы послана, дабы принял свои меры. За ним не пропадет. — Петр снова усмехнулся. — Августу же — шпага в задницу.

— Напужается, — предположил Шафиров.

— Пусть его. Зело пуглив, — улыбка не сходила с уст царя. — Альтранштадтский мир помнит и вовек не забудет.

— Да уж, изрядно побит был Карлом.

— Сильный-то он сильный, да вся сила в портки ушла, — Петр позволил себе непочтение к королевской особе. Себе — иных же непременно осадил бы. Досада не проходила: настоял-таки Август на своем, не приехал в Яворов, как сулился, и вот его, Петра, благодетеля своего, выманил.

— С ним надо бы пожестче, — сказал Головкин.

— Знаю. Боюсь, однако, отпугнуть. Он нам ныне зело надобен в альянции против турка. Султан с Карлом зарятся на Польшу да на Украину. Мазепа помер — Орлик объявился.

— Ну, Орлик — не орел, — хихикнул Шафиров. И все засмеялись, оценив шутку.

— Невелика птица, — согласился Петр, — а нагадить может.

— Завозились мы с вами тут, — неожиданно расхрабрился Головкин, как видно вспомнив, что он, канцлер, есть тоже власть, и власть немалая. Но Петр неожиданно согласился и даже поддержал его:

— Верно говоришь, Гаврила Иванович. И я тому причинен. Более месяца в Яворове катался, и никто меня остановить не взялся.

— Как остановишь, ваше величество. Не могли перебить слово молвить. Опять же Августа ожидали.

— А надо бы, надо бы молвить. Когда по делу, я не обидчив.

— Все едино опасаемся. Можно ли высочайшей особе слово в противность?

— Мы единый интерес имеем. А вы есть ближайшие помощники и сотоварищи в деле государственном. Я строптивцев не жалую, а коли по справедливости, никто не должен опасаться.

— Так-то оно так, — и Головкин опасливо покосился на царя, — но ваше царское величество яко бомба без фитиля взрывается.

— Доведут — взорвусь. Без фитиля, говоришь? Нет, фитиль-то непременно есть, токмо невидимо он тлеет. Верным да справным никогда обиды не чинил. Который из вас жалобиться хочет, говори! Смело говори!

Все смущенно молчали. То ли память прохудилась, то ли не было обид, то ли боялись, но никто рта не раскрыл.

— То-то! — удовлетворенно хмыкнул Петр. — Ибо верных да справных берегу. А что грех порою случится, так конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. А еще говорят: у царя да у Бога всего много.

В Ярослав приехали, а Августа нет. Неужто опять надул? Великий коронный гетман и кастелян краковский Сенявский поспешил успокоить их: король-де задержался в пути. Он был ретивым сторонником Петра, гетман, и выказал царю свое уважение, выехав ему навстречу.

Петр выбрался из кареты, потянулся так, что хрустнули кости, и пошел навстречу гетману.

— Рад приветствовать ваше величество на земле Ярослава, владетелем коей я являюсь.

— Весьма благодарен вашей ясновельможности, — торопливо произнес Петр и, наклонив голову, отдалился на несколько шагов от гетмана, как видно приготовившего приветственную речь. Царь испытал некоторую неловкость: гетман оказался не столь уж стар, как обрисовала его супруга.

Впрочем, коронный гетман, оставшийся с открытым ртом, так и не успел его закрыть, потому что вдали

показался королевский кортеж и ретирада Петра могла сойти за встречу.

Конные жолнеры, сопровождавшие королевскую карету, по данному им знаку отстали. Августу дали знать, что царь идет навстречу.

Карета остановилась в нескольких саженях от Петра. Дверца распахнулась, и Август тяжело сошел на землю, поддерживаемый с двух сторон подоспевшими придворными.

Он шел навстречу Петру, картинно распахнув руки — большой, грузный, краснолицый, сильно обрюзгший со времени их последней встречи. Сошлись и заключили друг друга в объятия: пусть подданные видят, сколь сердечна их связь. Демонстрации такого рода меж союзных монархов благотворны — оба они прекрасно знали это.

Политес был соблюден. Теперь они шли рядом, оживленно разговаривая. Свита следовала в некотором отдалении, охватывая их полукругом.

Все неприятное — на потом. А пока им было что вспомнить. Их связывал общий грех — такая связь сильней иных других. Петр осведомился о здравии королевы Христины — то был знак вежливости. Август в свою очередь полубобытствовал, как поживает новая супруга царя. Он уже прознал об Екатерине — такого рода новости распространяются с непостижимой быстротой, несмотря на то что иностранные potentаты не были официально уведомлены об этом.

— Хороша зна? — спросил Август. И глаза его загорелись любопытством старого волокиты.

— Пригожа, коли взял за себя.

— Отчего не привез?

— Оберегаю от лишнего трясу и от лихого сглазу.

— Не от меня ли? — хохотнул Август.

— Чать, друг, брат и сосед. Можно ли?

— Мы славно с тобою резвились, — перевел разговор Август, воссев на своего любимого конька. — А по-

тому повязаны тесно-телесно. Я и в этот раз приготовил тебе угощение, дорогой брат. Не все же войны и политика.

— Согласен, брат Август, — нехотя согласился Петр. Он было настроился на деловой лад, но решил на этот раз уступить, а лучше сказать — отступить, дабы потом неожиданно перейти в наступление. Он понимал, что король расставляет те же сети, в коих они бывали вместе, чтобы потом ловчей ускользнуть от запутавшегося царя. Расчет был слишком прост.

Август был мот. Денег у него вечно не бывало: двор и утехы поглощали их с ненасытной жадностью. Этим он разительно отличался от Петра, слывшего скопидомом и щеголявшего в штопанных Екатериной чулках и старых сношенных башмаках. То было, разумеется, не скопидомство, а бережливость радетеля государства.

Август, похоже, почувствовал душевную настороженность Петра, а потому принял тон, приличествовавший монарху:

— Когда собираетесь отбыть, ваше царское величество?

— Что ж так сразу — отбыть? Я еще как следует и прибыть-то не успел. У нас общего интереса много.

Король состроил кислую мину и некоторое время шел молча. Наконец он сделал некий знак, и к нему приблизился шедший в нескольких шагах позади юноша в желтом парчовом камзоле. Он был непомерно завит и надушен.

— Позвольте, ваше величество, представить вам моего сына и наследника престола, будущего Фридриха Августа Третьего.

Юноша поклонился и отчего-то зарделся. Петр подал ему руку.

— Точь-в-точь мой Алексей, — произнес он добродушно. — Только Алексею-то быть Вторым: первым был его дед.

Петр с нахлынувшей теплотой подумал о сыне: в эту минуту он был для него наследником. Петр все еще хотел этого, хотел, несмотря на то что пока еще узкая полоса отчуждения прошла меж них. Суждено ли ей разрастись? Один Бог ведает.

Сын от нелюбимой жены. При том что есть жена любимая, плодоносная. Петр не сомневался: родит ему и сына. Как быть тогда? Завещать ли престол по старшинству? Так велел обычай, пока никем не нарушавшийся. По кончине батюшки престол унаследовал его старший сын — пятнадцатилетний Феодор Алексеевич. В двадцать с небольшим отдал Богу душу — хилый был. Следующим по возрасту шел Иван, он и наследовал Феодору. Ивану было тоже чуть более пятнадцати, когда занял престол. Слабый здоровьем Иван и умер тридцати лет. Соправителем при Иване был десятилетний Петр. С Иваном кончились и Милославские на троне, и воцарился Петр — Нарышкин, крепкого корня. Кто же наследует ему?

Нет пока ответа. Не наступило еще для него время. И по всему видно: когда время для ответа наступит, будет он тяжек, но справедлив... А пока он, Петр, отодвигает этот ответ как можно далее во времени.

— А я, брат Август, женю нынче своего наследника, — сообщил он королю с некоторой долей гордости и даже вызова.

— Как же, слышал, — отвечал Август так, словно для него не существовало никаких тайн. — На принцессе Вольфенбюттельской. Ничего, приличная партия. Царевич будет в родстве с римским цесарем: сестрица его невесты сосватана за него. Однако же традиционная немецкая бедность, — и король то ли сострадательно, то ли пренебрежительно поцокал языком. — Да и откуда взяться богатству в этом крохотном герцогстве. У них там и реки-то приличной нет. Вашему царскому величеству придется содержать молодых, а то и ее родителей. — И Август с сожалением поглядел на Петра.

— Молодые будут жить в моей новой столице, — упрямо произнес Петр. — В Санкт-Петербурге, в Парадизе.

Этот чертов Август, как видно, вознамерился испортить ему настроение. И своим всеведением, и довольно-таки прозрачным намеком на неудачный выбор невесты для сына: все-таки наследник столь великого и могущественного царства был достоин невесты из королевского дома.

— Ничего, и такая сойдет, — буркнул Петр. — Моей славы довольно и для одного герцогства, и для молодых. Я-то не погнушался вот — взял за себя даже неродовитую, — с вызовом закончил он. Этому проныре все небось и так было известно.

За разговором они приблизились к дворцу. Четыре пущонки бабахнули салют. Камер-оркестр, устроившийся в портике, заиграл нечто вроде марша. Коронный гетман Адам Николай Сенявский встречал их на лестнице в окружении пышной королевской свиты. О, он был отлично посвящен во вкусы своего короля и знал, как потрафить ему.

Чело Петра постепенно разгладилось. Август фамильярно подхватил его под руку: пусть все видят их единение.

— Мы можем прекрасно провести здесь время, ваше царское величество, — вполголоса оповестил он. — Как некогда у меня в Дрездене. Полячки не чета немкам, да. О, они пламя, разбрасывающее снопы искр.

— Кабы не сгореть. На войну ведь еду, — со всей серьезностью проговорил Петр.

— Я и предлагаю войну, — тучное тело Августа заковычалось. — Только война эта будет сладчайшей.

— Прежде надобно дело сладить, — уклончиво отвечал Петр. Он еще в дороге настроился на деловой лад и решил не давать Августу спуска. Экий, однако, искушитель, экий ветрогон. Заронил искру соблазна, она и начала разгораться. Воображение услужливо подсовыва-

ло ему картины их дрезденского блудодействия, действительно сладчайшего.

Да, король Август был великий магистр орденов Венус и Бахуса со всеми их кавалериями и приложениями, со всем оргиастическим действием. И здесь, в замке гетмана, все наверняка приугоотовлено к радостным провождениям великих особ.

«Бедный гетман, — сострадательно подумал Петр. — Ему, видно, приходится волей-неволей участвовать в королевских увеселениях, ибо повелитель любил соучастие, видя в нем и некое смягчение своего собственного греха, и возможность замкнуть языки. Не потому ли гетманша почитала его стариком, что он часто грешит вместе с королем? И на нее его не хватает?»

Однако воображение делало свое искушительное дело, раздувая ноздри, пыша жаром. И Петр сказал то, что должно было прозвучать как согласие:

— Мы, конечно, поладим с твоим королевским величеством. Сговоримся и трактат подпишем. Для сего я сюда и прибыл, — заключил он.

«Поладим, поладим, — эхом отзывалось в нем, когда они шагали по протяженным анфиладам замка. — Поладим!»

Поладили, вестимо. Многое их связывало. И ни порвать, ни ослабить, ни расторгнуть связи эти было не можно. Прежде были связи политические, а уж потом иные, сластолюбские. Политику никак нельзя было принести в жертву. Европа сходилась и расходилась в унии, союзы и прочие скоротечные образования. Следовало определиться и определить.

— Прошу ваше королевское величество завтра пожаловать ко мне на обед, — официальным тоном отнесся Петр, когда пришло время расходиться по апартаментам.

Предложение это, казалось, застало Августа врасплох. Он остановился, помялся, верхняя губа недовольно оттопырилась, но наконец вяло согласился:

— Только с одним условием, мой высокий брат: с глазу на глаз. Самые близкие за столом, никаких министров. С ними потом, они подождут.

Петр пожал плечами. Ладно, коли так. Но отчего бы это? Не хотел ли он перехватить инициативу и предложить нечто свое, да не успел? Тот, кто первый устраивает званый обед, тот и заказывает музыку, иначе говоря, задает тон. Август хотел, видно, задать тон на правах хозяина, да не успел. Хотел повернуть по-своему. Хитрая bestия, он догадывался, чего потребует от него царь. За столом будет закинут пробный шар, не более того. Август же терпеть не мог принимать на себя какие-либо обязательства. Особенно если дело касалось расходов и участия в войне.

Этот блудодей знал: Петр непременно ввергнет его в расходы. И поведет об этом речь за столом. Предварительно они крепко выпьют, это уж положено. И Август, разгоряченный и размягченный застольем, непременно наобещает сорок бочек арестантов, как бывало уже не раз. А потом придется отвечать и подписывать обязательства...

Обед был сервирован в малой зале замка. Август был с наследником, его же представлял хозяин замка. Со стороны царя были канцлер Головкин и посол Долгоруков. Август морщился: уговор был нарушен.

Возлияние было обильно, стол ломился от яств и вин. Были и фазаны в соусе, и кабанчики, нафаршированные каштанами, и пулярки с яблоками, все это скворчило, пахло и возбуждало аппетит.

— Здоровье друга и брата моего, пресветлейшего короля и верного союзника, подымаю сей бокал, — провозгласил Петр и потянулся к Августу.

Последовал ответный тост, по обыкновению цветистый. Они и их приближенные старались перещеголять друг друга. Начали с легкой настороженности, размягчались все более, обратились к сердечности. А когда допились до высокого градуса, сколь ни официален был обед, начались и взаимные уверения, и объятия.

Петр был куда как крепче Августа. И ему ничего не стоило вытянуть из короля обещание полного военного альянса. Благодушие короля дошло до крайней степени: он пообещал и денег. Петр ему поверил — размяк.

Не забыть бы только, не забыть. Благо предупредил посла Долгорукова все запоминать, а уж потом в консилиии выложить и припереть. А Головкину подготовить договор.

— Эх, ваше царское величество, — сокрушался на следующий день князь Григорий Федорович Долгоруков. — Король что тверез, что пьян, тороват на посулы. Ничего не даст, ничего не исполнит. Мне ли его не знать.

— Знаю, — качнул головой Петр. — Все королевские повадки и мне давно ведомы. Но тут общий враг. Мало ему Карла было, так теперь салтан турецкой походом пойдет, и не токмо Польши, но и Саксонии ему не видать. Клепами вытяну из него полки, на Евангелии заставлю поклясться.

— И поклянется, и слезу пустит... Знаю я сего короля, сколь годов при дворе его обретаюсь. Хоть и королевская особа, а возьму грех: пустой человек...

Петр сердито взглянул на Долгорукова, но смолчал. Оно и лучше, когда посол зол: сотрет позолоту с пилюль, приготовленных для русского двора.

Ладно, теперь черед за Августом отдавать обед. Поглядим, каковы будут в этот раз королевские песни да королевские пени. Все едино — не отвертеться Августу, нет!

Меж тем в Ярослав съезжалась шляхта. Будто на поклон королю. Учинилось знатное многолюдство. Август притворно — видел Петр притворство — удивлялся: зачем да почему? Места свободного не стало: ясно-вельможные за ясновельможными, такого и в Яворове не было.

Пошли охоты конные, с егерями, выжлятниками, загонщиками, доезжачими. Стравили великое множество

кабанов, ланей, оленей, свалили и двух зубров — все более от ухарства да от жадности: можно ль переест столь великую гору мяса.

Где охоты, там и пиры. Пирьи закатывали ежедневно. Обьедались и опивались. Шляхта кадила королю, король — шляхте. Великая то была лицемерность: саксонца недолюбливали, у Лещинского приверженцев было поболе.

— Опасается Август своих панов, — заметил Магров. — А с иной стороны и полагается на них: надавят-де на ваше величество, глядишь, и выторгуют нечто. Посему и многолюдство их.

Верно рассуждает Макар, глаз у него приметлив, ухо наострено. Но Петра уж захватила польско-саксонская карусель, втянула в себя, завертела-закружила.

Ах этот Август! Как ему ни противься, как ни отталкивай — все едино вцепится железною хваткой, ровно капкан, и не выпустит. Соблазнов напустит рой!

Разве не изумительно хороша пани Ядвига из Ржевусских? Глаз не отвести! Экая наживка, можно ли устоять? Явно приготовленная для царя.

— И кто вас, прелестная пани, выучил по-русски? — Петр недоумевал и восхищался. — И где это было? И отчего кожа ваша ровно шелк, прикосновенья тешат негою. Вот это охота так охота! Истинно царская дичь мне попала под выстрел.

— Вы хороший охотник, ваше царское величество. У вас меткий глаз и сильная рука, я тотчас это заметила и восхитилась, — пани Ядвига потупляла взор. — Спаситься от вас невозможно.

Они переговаривались средь застолья. И пани Ядвига смущалась, ловя на себе неотступный пронзительный взгляд царя. Петр не прятал своего желания — он шел к цели прямо, никуда не сворачивая, и знал, что не встретит отпора. Так было всегда: пригожие девки Преображенского норовили не попадаться ему на глаза. Увидит — ухватит и в первую попавшуюся камору, где есть полати. Спротивляться бесполезно — царь свое

возьмет. Да и можно ли противиться царю из-за такой безделицы?!

Был разгорячен и раззадорен. Поманил пани Ядвигу. Зашагал по дворцовым покоем саженными своими шагами, не глядя перед собой и не оборачиваясь. Все перед ним расступались. А когда наконец оглянулся, вожделенной дамы своей не увидел.

Любовный огонь продолжал пылать, и Петр повернул назад, ища ту, которая его разожгла.

Наконец он наткнулся на нее.

— Ваше царское величество так стремительны и так нетерпеливы, — с улыбкой выговаривала она. — Дама требует внимания и обхождения. А вы, кажется, дебошпан, — и она кокетливо погрозила ему пальчиком. — Не могу же я, в самом деле, бежать за вами. Мой повелитель, король Август, просил меня угождать вам. Я готова. Но взамен прошу быть рыцарем.

Петр не отвечал. От ее речей, от звука ее голоса — приманчивого и обещающего — он разгорелся еще пуще. Хотелось схватить ее в охапку, тонкую и невесомую, и понести, понести. Прямо в альков.

А она продолжала дразнить его. Оперлась на его руку, капризно произнесла:

— Вы такой большой и такой сильный. Я боюсь не выдержать, да. Обещайте мне, что будете осторожны...

Из груди Петра вырвался звук, похожий на рычание.

— Ну ведите же меня, ведите, — испуганно, как ему показалось, произнесла она, как видно поняв, что долее опасно испытывать царское терпение. — Только не так быстро. Я не привыкла к такой спешке.

Было не мало глаз: стража, королевские гвардейцы, денщики, лакеи. Мимо, мимо, к себе, сквозь почтительно расступавшийся строй, умеряя шаг, вынужденный соразмерять его с миниатюрными шажками своей дамы.

Затворил дверь, откинул полог.

— Нету мочи, пани Ядвига! Быстрей, быстрей! — он почти кричал.

Она принялась расстегивать многочисленные крючки и пряжки своего пышного платья, приговаривая:

— Ваше величество получит много больше того, что желает. Но только не торопитесь, мой царь. В любви нет ничего хуже торопливости. Я дам вам столько, сколько вы не можете вообразить, мой могучий государь. Я ждала этих минут. Я их хотела.

Петр рвал с себя одежду, швырял ее прямо под ноги. Она его опередила. Ядвига стояла перед ним совершенно нагая, стройная, как богиня Венус, с оттопыренными грудками. Розовое тело светилось и звало. Она была ему по грудь, не доставая и до сосков.

Наконец Петр освободился. Он бросился на нее как зверь, желая мучить, неистовствовать. Рядом с ним, огромным, длинноногим, она казалась куклой.

Он схватил ее в охапку и бросил в постель.

— Тише, тише, мой великий царь,— бормотала она. Но Петр не слышал, он оглох и ослеп.

— Ох, больно, больно, больно же,— стонала она.— Такой огромный, пощадите же. О-о-о!

Голос ее затихал, гибкое тело было податливо и уже стремилось навстречу. И вот совсем еле слышно:

— Сладко, сладко, сла...

Изогнулась под ним, еще и еще, застонала и изнеможенно затихла... Потом вывернулась, очутилась рядом и, тяжело дыша, сказала:

— Так не пойдет, мой царь. Я должна быть сверху. Так будет слаще и вам и мне.

Петру казалось, что он опустошен и более ни на что не способен. Но то, что она проделывала с ним, превосходило его разумение. Он воскресал снова и снова, и это было непривычно, мучительно и сладостно одновременно. Ее руки, губы, рот, груди — все было в движении и все дарило необыкновенное наслаждение.

Она была неумоима. А он, такой сильный и огромный, совершенно изнемог и иссяк. И уже все ее старания пробудить его, несмотря на изощренность, были тщетны.

— Я, кажется, перестаралась, мой царь,— сказала она и легла с ним рядом. Ее тонкие пальчики, однако, не унимались, смелея все больше и больше.

— Какой вы все-таки огромный. Царь! Истинный царь! — бормотала она.— Я дам вам отдохнуть, а потом с вашего позволения совершу путешествие по вашей царской необъятности.

Руки ее продолжали неумоимо и умело возбуждать его, это путешествие казалось бесконечным. Потом пришел черед губ и упругих грудей...

Петр мимолетно подумал о своей Катерине и почувствовал легкий укол совести. И невольно стал сравнивать: пани Ядвига была несравнимо subtilней, но столь же, если не более, умела. Хрупкость ее была кажущейся: она противостояла ему на равных, но превосходила его выносливостью и неумоимостью.

— Изнемог я, нету более сил,— с трудом выдавил Петр.

— Вижу, мой царь, вижу. И бросаю свои усилия.

Он расслабленно лежал, а затем незаметно погрузился в короткий истомный сон.

Петр неожиданно проснулся от вкрадчивого мужского голоса. Он с трудом узнал в нем голос Августа. И тотчас встрепенулся: кто пустил! Но тут же обмяк, сообразив, что перед королем открываются все двери.

Петр открыл глаза. На Августе был красный халат, отороченный горностаями. Рядом с ним стояла женщина, тоже в халате, огромном, явно с королевского плеча.

— Теперь у меня два повелителя! — Ядвига выпростала руки из-под одеяла и картинно воздела их.

Петр продолжал лежать. Он не удивлялся: у них с Августом бывали совместные любовные увеселения с переменою. Как видно, король вспомнил об этом и решил устроить своему высокому гостю сюрприз.

— Мы без одежды,— продолжала щебетать Ядвига.— Мой король простит меня?

— О, с радостью, плутовка, — добродушно отозвался Август. — Ты же знаешь: я люблю тебя именно нагой. Ибо женщина прекрасна в своей первозданности. Одежда лишь скрывает то, чем должен любоваться мужчина. Это прекрасно понимали великие художники с незапамятных времен, оставившие нам вдохновенные изображения нагого женского тела на холсте ли, в мраморе либо бронзе. Вы согласны, ваше царское величество?

— Можно ли не согласиться, — отвечал Петр, уже пришедший в себя и готовый к новым сражениям на поле любви.

— Эту прекрасную даму зовут Казимира, — представил свою спутницу Август. — Она жаждет свести близкое знакомство с повелителем России. И я, естественно, не мог отказать ей в этом, — с усмешкой добавил он. — Так же, впрочем, как она не могла ни в чем отказать мне, своему королю.

Петр пристально глянул на ту, которая жаждала близости. Рослая брюнетка с пышными формами, она была полной противоположностью сублильной Ядвиге, напомнив чем-то его Катерину.

— Мы с прекрасной Ядвигой отправимся ко мне, — продолжал Август. — Казимира же я не могу отказать в желании остаться здесь для интимного знакомства с особою царя. Надеюсь, мой друг и брат, ты не возражаешь?

И прежде чем Петр успел открыть рот, Август и выпорхнувшая к нему Ядвига исчезли.

— Ваше величество не разгневается на меня, если я...

И, не дожидаясь ответа, она сбросила халат и скользнула под одеяло.

Ее не надо было ни о чем просить и ни к чему побуждать. Горячее тело само диктовало свою волю. Эта воля была смелой и решительной, она повелевала, уже не встречая сопротивления. И Петр, успевший уже остыть от предыдущих объятий, был воспламенен заново.

Часа полтора назад он думал, что был на вершине блаженства. Что Ядвига дала ему все, что может дать женщина, и что большего потребовать от нее нельзя. Его новая возлюбленная была так же свежа и упруга, но, пожалуй, более искусна. Может, потому, что и ростом и формами ближе соответствовала Петру. А может, оттого, что ей пришлось возделывать уже истощившееся поле, а для этого требовались новые отличные усилия.

Она возбуждала его своими стонами, вздохами, вибрирующими движениями бедер и всего тела, поцелуями, поглаживаниями. Их схватка продолжалась долго, гораздо дольше, нежели с Ядвигой. Казимира то расслаблялась с криком, который казался последним, но через минуту, не давая ни себе, ни ему передышки, снова опрокидывала его на себя. А затем, откинув покрывало, одним движением оказывалась наверху, словно амазонка на норовистом коне, и продолжала свою скачку.

Тут уж Петр окончательно выдохся и изнемог. Он ни о чем не мог ни думать, ни вспоминать. И когда наконец она заставила отдать ей то, что у него еще оставалось, самую малость, он замер в полном изнеможении.

Они еще лежали в полной темноте, когда в спальне забрезжил свет и вошел Август с шандалом в руке. За ним семенила Ядвига. Похоже, и они были выжаты.

— Ну-с, мой царственный друг, брат и сосед, как ты себя чувствуешь? По-моему, мы все должны быть довольны: друг другом и собою.

— Весьма доволен, — через силу вымолвил Петр.

— Его царское величество — предел мечтаний для любой женщины! — воскликнула Казимира. — Я горда и счастлива. Я готова служить ему и душою и телом.

— Ну вот и прекрасно, — Август потянулся. — Наступило время отдохновения: я лично в ближайший день два ни на что не способен. Вы, прекрасные мои дамы, отдали нам все, что могли, да и взяли все, что у нас было. Стало быть, нам остается поужинать вместе и

разойтись. Приводите себя в порядок. Мы будем ожидать вас в нижней зале.

...Оба государя продолжали отводить душу истинно по-королевски. За Августом всюду следовала карета великосветских обольстительниц. Он, впрочем, щедро делился ими с высокими особами, удостоенными его интимного доверия. «Я свое всегда возьму», — говаривал он. Так оно и было.

Петр понимал: уловлен в западню и Август на самом деле «свое возьмет», только в ином роде. Но чары были столь велики, что он никак не мог сбросить их.

По счастью, обед в честь их величеств дал коронный гетман Сенявский. И Петр обрадовался возможности покончить наконец с интимом.

Он был совестлив, русский царь. Совесть в главном. Он самолично, своими руками строил новые пределы своего царства. И что же: предавался утехам в то время, когда сближались армии, когда следовало укреплять политический и военный альянс. Много было забот, неотложных дел, следовало поспешать к армии, к гвардейским полкам. А он-то, он...

Во все время обеда Петр был молчалив и односложно отвечал на тосты в его честь, более кивком головы, что, конечно, воспринималось как неучтивость. Август же был в духе, острил, перемигивался с дамами, в общем — благодушествовал. И Петр раздраженно думал: «Все. Конец. Заставлю его раскошелиться!»

Назавтра король звал к себе. Петр отказался, сославшись на головную боль. Голова и в самом деле трещала с похмелья: много было пито и столь же много едено за обедом у коронного гетмана. Просил передать его величеству, что назавтра созывает консилию, в коей надобно обсудить общую политику.

Собрались в верхней зале. Партия Августа была впятеро многочисленней. Так вот для чего съехалась шляхта — обложить царя. Обложить превосходящими силами после хитроумной королевской подготовки. Выторговать уступки. Повязаны-де одним вервием, почти род-

ственники, ну хотя бы кумовья... Крестили под одними сводами...

Консилия была долгой и по временам шумной. Господа полномочные Речи Посполитой представили свои пункты. Их было девять.

Петр слушал и постепенно накалялся. Поляки требовали отдачи польской Украины и Белой Церкви со всеми к ней принадлежащими фортециями и с целым краем, отдачи Риги и прилежащих городов и крепостей, Эльбинга, возвращения всех пушек, захваченных в свое время в польских и литовских крепостях, выплаты нескольких миллионов...

Были, впрочем, требования справедливые. Вот хотя бы насчет пушек — пушки отдать следовало. Только надлежало их сыскать, ибо развезли их по российским крепостям.

Надлежало согласиться и с требованием не разорять население тех городов и сел, чрез которые проходила армия царя. Петр, правда, в свое время повелел, чтобы действовали по справедливости. С другой же стороны, можно ли войскам, назначенным для обороны польских владений от шведа и иного возможного неприятеля, отказать в продовольствовании и фураже?

— Ваше величество король, господа полномочные, сенаторы и старосты, — Петр говорил ровным тоном, сдерживая себя, но не срываясь. — Прошу изложить представленные пункты на бумаге и вручить ее канцлеру нашему графу Головкину. Мы же беремся рассудить и ответить по справедливости, как нам присуще.

Только по справедливости! А справедливость вопиет. Российское войско вернуло Августу польский престол, а самой Речи Посполитой свободу от шведа. Ныне они зарятся на Ригу! На Белую Церковь! На многое и многое, чего николи не имели!

Не имели и иметь не будут! По справедливости. Вот так-то, друг, брат и сосед Август. Славно ты меня потешил, но и провел зато славно. Помощи ждать от тебя нечего. Поеду-ка восвоюся.

— Скажи-ка, Феофане, как там на латынском про Юпитера и быка?

Прокопович, встречавший царя в Яворове, лукаво улыбнулся и отвечал без запинки:

— Квод лицет бови, нон лицет йови, то бишь что быку дозволено, то Юпитеру не можно.

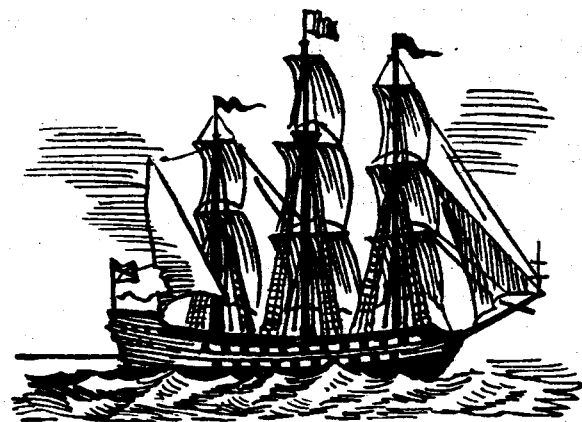
— Я поступил как Юпитер, но грешил как бык — истинное слово. А ты, яко духовник мой, отпусти-ка мне мои прегрешения — вольные и невольные. Однако исповедоваться не стану.

— Ныне отпускаеши раба твоего по глаголу твоему с миром, — провозгласил Феофан. Он изо всех сил старался соблюсти серьезность, ибо слух о царских проказах приехал вместе с ним из Ярослава в Яворов.

«Императору надлежит умереть стоя», — пришла Феофану на память другая пословица. «Императорем стантем мори опортет». Жить стоя тоже.

Он сказал об этом царю.

— Я и живу стоя, — согласился Петр. — И буду жить так, доколе хватит сил.



Глава девятая ОТСТУПНИКИ ОТ ЗАКОНА ХВАЛЯТ НЕЧЕСТИВЫХ...

Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна... Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них.

Книга Притчей Соломоновых

Голоса: год 1711-й, июнь

ИЗ ДОГОВОРА, УЧИНЕННОГО В ЯРОСЛАВЛЕ

...Также хочет его королевское величество (Август II) полской при нынешнем сенатус-консилиии прилежно о том предлагать, дабы Речь Посполитая купно в турскую войну вступила и по надлежащей должности в том участие приняла. И чтоб, по последней мере, от

8 до 10 тысяч конницы с коронного и литовского войска к царскому войску присовокупиться повелены были.

Петр — Брауншвейг-Вольфенбюттельской герцогине Христине Луизе

...получили мы вашей светлости и любви приятное писание... из которого мы с особливым удовольствием и сердечною радостью усмотрели, что до сего времени трактованное супружественное обязательство между нашим царевичем и вашей светлости принцесою дщерью, действительно к заключению и тако свою исправность получило.

Петр — Шереметеву

...Извольте чинить все по крайней возможности, дабы времени не потерять, а наипаче чтоб к Дунаю прежде туркоф поспеть, ежели возможно. Взаимно поздравляю вас приступлением господаря Волоского.

Петр — Меншикову

...О здешнем объявляю: что положено с королем и с поляками, экстракт посылаю при сем... Фельтмаршал уже в Ясах. Господарь волоской с оным случился и зело оказался христианскою ревностию, чего и от мултянского вскоре без сомнения ожидаем, и сею новизною вам поздравляем.

Петр — датскому королю Фридрику IV

...принц волоский Кантемир за нас деклеровался и по силе учиненного от него самого подписанного трактата себя нам обязал чрез всю сию войну, яко союзник, крепко держатися и со всею своею силою купно со мною против общего неприятеля действовать, яко же он уже действительно с десятью тысячами человек благовооруженных и конных волохов

с помянутым моим генерал-фельтмаршалом Шереметевым соединился и еще больше войск к себе ожидает...

Петр — Шереметеву

...И ежели по указу учинили, то б конечно прежде туркоф к Дунаю были... А ныне старые ваши песни в одговорках, на которое дело я больше не знаю, какие указы посылать... О провианте, отколь и каким образом возможно, делайте, ибо когда салдат приведем, а у нас не будет что им есть, то вас оным в снедь дадим...

Петр — Меншикову

...Здесь нового к ведению не имею что писать, только что турки к Дунаю ускорили пред нами (которых, сказывают, 60 или 70000 со всем)... И ежели совсем турки на сию сторону перейдут (а ныне несколько пехоты перешло и делают шанец у мосту), то в будущем месяцу чаю быть конечно баталии. Дай, Боже, милость свою.

Петр — Владиславичу-Рагузинскому

Пишете вы, что провианту у вас достать невозможно, кроме Дунаю. А о том не пишете, в каком месте на Дунаю достать можем... П.С. Проведай, гораздо возможно ль купить в Волоской земли холста на полатки салдатам.

Он стал двухбунчужным пашой и одновременно векилем — то есть доверенным лицом. Словом, персоной.

Гюрбан его украшал пышный султан, турецкая одежда казалась не слишком удобной. Впрочем, он быстро приноровился и даже стал находить некоторые преимущества.

Ну, например, при большой и малой нужде полы просто раздвигались и подбирались. Да и одеваться

стало проще. Слава Аллаху, не надо было наматывать виток за витком: тюрбан был пашинский, то есть цельный, правда, несколько громоздкий.

Покровительствовавший ему каймакам-паша Мехмед Челеби, в отсутствие великого визиря глава кабинета Султанского стремени, снабдил его всем необходимым. Он же посвятил его в ранг паши — это была великая милость, это было много: иные турецкие беи лишь на закате жизни удостаивались двух бунчуков.

В немногие оставшиеся дни в султанской столице он лихорадочно заштопывал прорехи в знании турецкого, обычаев и нравов правоверных, ибо обязан был знать много больше простолюдина.

Когда он в своем новом обличье явился в шведское посольство к Функу и Нейгебауэру, они сначала его не признали, решив, что их посетил всамделишный турецкий вельможа. Тем паче что он обратился к ним по-турецки.

Оба смутились и стали кликать посольского драгомана, то бишь переводчика, ибо языка не знали. И лишь после того, как его разобрал смех, оба его сослуживца всплеснули руками.

— Неслыханно! Мы бы ни за что не узнали вас, граф. Потрясающая мистификация! Оказывается, вы превосходный актер. Да еще и эта борода.

— Лицедейство и политика — две родные сестры, — заметил Понятовский, самодовольно улыбаясь. — Борода накладная — до той поры, пока не обзаведусь собственной. Я отправляюсь к армии и буду векилем при визире — советником, представляющим его величество короля. Король посчитал место векиля уничижительным для себя, хотя такое предложение содержалось в письме султана — да пребудет над ним милость Аллаха и пророка его Мухаммеда, да сияет он славой, мощью и могуществом над всеми народами подлунной.

— О, вы прекрасно вошли в образ! — воскликнул Функ. — Я просто восхищен. Верю, что вы будете более

чем достойно представлять особу его величества в ставке визиря.

— А где сейчас армия? — поинтересовался Нейгебауэр.

— Сколько известно каймакаму, она только что вышла из Адрианополя-Эдирне.

— А москвиты?

— Они, по донесениям татарских лазутчиков, подошли к Днестру у Сорок.

— Обе воюющие стороны отнюдь не поспешают. Не говорит ли это о том, что они опасаются сражения?

— Может быть, — рассеянно отозвался Понятовский. — Однако я думаю, что все дело в поздней весне. Плохие дороги, кавалерии нужен подножный корм.

— Как многочисленно войско царя?

— Здесь этого никто не знает, даже каймакам. Помоему, сам царь тоже не знает, сколько у него под ружьем, — засмеялся Понятовский. — Его армия скорей всего невелика — тысяч сорок, от силы пятьдесят. По слухам, добытым турецкими агентами, царь рассчитывает на помощь единоверных народов. Но пока это только слухи...

— Королю, как вы знаете, противостояла вполне современная русская армия, обученная и экипированная на европейский манер, — вмешался Функ. — Полтава дала урок всей Европе: Россией нельзя пренебрегать, это больше не дикая страна.

— Дикой страной осталась Турция, — отчего-то понизив голос, сказал Нейгебауэр. — У наших союзников турок не армия, а орда. И хоть они куда многочисленней москвитов, можно ждать самого худшего.

— А ведь это слово турецкое — орда. И означает она именно: армия, — заметил Понятовский. — Я, должен вам доложить, отправляюсь в орду-и-хумаюн — августейшую армию, под начало сердара-и-экрема, то есть верховного главнокомандующего, как именуется сейчас великий визирь.

— Орда, стало быть, армия? — отчего-то удивился Функ. Он так и не выучился турецкому, хоть и был официальным представителем державы отнюдь не захудалой. Да и другие послы европейских государств почитали ниже своего достоинства учить этот варварский язык. И в Блистательную Порту — кабинет министров — все они отправлялись со своими драгоманами. В драгоманах же у них состояли в основном фанариотские греки — многоязычное и пронырливое племя, равно и местные армяне.

— Честно вам скажу, господа: я сильно опасаюсь за исход кампании, — Понятовский и прежде не скрывал своих опасений. — Каймакам, между нами говоря, настроен тоже весьма пессимистически. Кабинет не прочь бить отбой, но министры боятся неудовольствия султана. Хотя никто из них толком не знает, как он настроен. Здесь не хотят войны.

— Султан объявил войну под нажимом короля Карла и хана — это всем известно, — уныло произнес Нейгебауэр.

— Король готов был, как нам всем известно, возглавить турецкую армию и даже предлагал это в письме султану. — Понятовский невольно вздохнул. — Увы, он подчас теряет чувство меры. Неужто он мог подумать, что султан доверит ему свою армию — орду-и-хумаюн? Да еще после Полтавы.

— Султан терпит его именно потому, что он король некогда грозной державы, — Функ выражался без обиняков. — Султану нужен ореол королевского имени, и ничего больше.

— А расходы? — хихикнул Нейгебауэр. — Он щедро отваливает его величеству денежки.

— Считается, что это займы, и как только король возвратится в Швецию, он их вернет.

— Судя по известиям, которые мы получаем из Стокгольма, двор и кабинет тоже побираются. Его величество из Варницы требует денег и денег, — заметил Функ.

Было мало утешительного — они все это понимали. Но положение обязывало. Положение, если говорить откровенно, было прескверным: король в осаде, казна пуста, долги растут, армии нет. Швеция обратилась в страну-побирушку. Если уж совсем откровенно, а наши собеседники могли себе это позволить, то во всех бедах Швеции был виновен ее воинственный и безрассудный король. Да, можно согласиться: Карл XII — полководческий гений, его призвание — война. Но нужен ли этот гений стране и ее народу?! Следует ли поддерживать его всею плотью и кровью Швеции? Нужны ли бесконечные жертвы на алтарь войны, чье чрево ненасытно?

Понятовский, не имевший времени оборотиться внутри себя за множеством необычных забот и хлопот, теперь как бы приостановился и заглянул в свое внутреннее зеркало. Он-то что, он-то?! Кому он служит? Ради чего? Граф, родовитый шляхтич, потомок знатнейшей фамилии, владелец имений?..

Он служит своему королю? Как бы не так! Его король — Станислав Лещинский, он не правит, он в изгнании, как и тот, кто вернул ему престол на короткое время, — Карл XII. Сейчас граф Понятовский по прихоти судьбы вынужден служить шведскому королю. Эта служба не сулит ему решительно ничего, ибо Карл лишен реальной власти. Можно ли назвать правлением его указы, посылаемые из Варницы в Стокгольм, которые, как правило, не выполняются? А сейчас граф Понятовский фактически служит султану Ахмеду, чьим повелением он сделан двухбунчужным папой...

Это было черт знает что такое! Ужасаться или хохотать? Смех над собою — здоровый смех. Но как долго ему придется смеяться над собою этим полным горечи смехом?

У дипломатов, сидевших перед ним, если говорить честно, — завидная судьба. Он глянул на них, сытых, розовых, беспечных, — и ожесточился. Он-то, он чего ради должен подвергать себя многим опасностям, пре-

вратностям долгого и трудного пути? Ради службы и х королю! Дворянская честь, рыцарственность, верность слову и долгу — вот что им руководило, вот что его вело. Всего-то. Такие пустяки! А из-за них он потерял все — дом, семью, родину.

Он невольно рассмеялся. Функ и Нейгебауэр как по команде устали на него.

— Что вас так развеселило, граф? Не мы, разумеется...

— Так, кой-какие размышления.

— Сделайте милость, доверьте их нам. И мы посмеемся вместе.

Может, высказаться, в самом деле? Может, схлынет его душевное смятение?

Нет, они не поймут. Как не понимают слуги душевного смятения своего господина. Они всего только чиновники, нерегулярно получающие свое жалование, а потому не очень-то ревностно отправляющие свои обязанности. А он — рыцарь долга, он служит не ради корысти...

— Как-нибудь в другой раз, господа, — наконец отозвался он.

Рыцарь долга? Он не хотел признаться, что такая жизнь ему нравилась, что он любил приключения, ощущение опасности, любил дорогу — сухопутную ли, морскую — с ее превратностями.

Прекрасно быть и слыть странствующим рыцарем... У него была возможность прочитать роман испанского сочинителя Сервантеса на французском языке «Дон Кихот Ламанчский». Им зачитывалась вся Европа. Сервантес мастерски описал такого странствующего рыцаря — сквозь смех и слезы...

У него, графа Иосифа Понятовского, тоже и смех и слезы. Но он не намерен что-либо изменять в своей жизни, как не намерен сражаться с ветряными мельницами...

Ему осталось нанести визит в своем новом обличье маркизу Дезальеру и, главное, получить от него самую

свежую информацию. Ибо разведочная служба маркиза действовала куда лучше турецкой. То были купцы, сновавшие со своим товаром из города в город, из местечка в местечко, по большей части армяне. «Армянская почта» действовала с завидной быстротой и точностью, на достоверность сообщений ее можно было смело полагаться.

Он взобрался на коня, кликнул сопровождающих и медленно затрусил по дороге. Сухие пыльные смерчки вставали и опадали, конь фыркал и тряс мордой, лицо и шея, одежда и конская шерсть — все покрылось тонкой желтой кисеей. Пыль была едкой из-за нечистот, пропитавших ее.

Дезальер тоже не сразу узнал его, шумно подивился и сделал вид, что завидует.

— Любезный маркиз, мне нужны последние новости. Обо всем: о великом визире, о численности турок и татар, о русском царе и движении его войска.

— О, новостей хватает, — оживился Дезальер. — Начать с того, что царь провел встречу с королем Августом в Ярославле. Вы имеете представление об этом городке?

Еще бы ему, Понятовскому, не иметь. Ведь это были все памятные места, недалеко от его имения и родовых поместий его друзей — Радзивиллов, Сенявских, Огиньских, Сапег... Они часто гащивали друг у друга. Какая то была привольная беззаботная жизнь!

Никто из них не отправился бродяжничать подобно ему, никто не захотел связывать свою судьбу с Лещинским. Это означало бы потерю владений, собственности, опалу, изгнание. Они все вовремя открестились от него, понимая шаткость и непрочность его положения, его дела. Никто из них не пожелал стать изгнанником. Ради чего, ради какой идеи? Только он, Понятовский, пустился во все тяжкие, легкомысленно поверив в счастливую звезду шведского короля.

— Доносят, будто бы царь и король заключили наступательный союз против турок.

— Август должен быть по гроб жизни благодарен царю: Полтава вернула ему Польшу. Но можно ли положиться на саксонца? Он неверен и даже вероломен. Неужели это неизвестно царю?

— В настоящее время царь и его армия находятся на пути к владениям господаря Кантемира, — продолжал маркиз. — А фельдмаршал Шереметев будто бы уже в Яссах.

— Русские, как видно, хотят поодиночке разбить вассалов султана, — предположил Понятовский.

— Здесь кое-кто думает иначе, — усмехнулся Дезальер. — В Высокой Порте подозревают, что царь призвал единоверные княжества Молдавию и Валахию отдаться под покровительство России. Что уж он им пообещал — одному Богу известно. Эти турецкие данники жаждут отпасть от Оттоманской империи, более всего побуждают их к этому тамошнее духовенство.

— Иначе и быть не может...

— Прямых доказательств изменнических намерений пока нет, — продолжал маркиз, — но турки тщательно разведывают. На всех дорогах устроены заставы: вылавливают курьеров.

— И каков результат? Угодил кто-нибудь в сети?

— Улова пока нет, — в тон ему отвечал маркиз. — Но, судя по тому, как упорно русские полки стремятся к пределам Молдавского княжества, здесь пахнет изменой. Разве не об этом свидетельствует приход Шереметева в Яссы?

Понятовский вздохнул. Конечно, главной целью царя должен быть быстрее выход к Дунаю и воспрепятствование армии визиря форсировать его. Но если верны сведения, которыми располагает маркиз, то у русских иная цель, и Дезальер определил ее верно. Таким образом, армия царя будет иметь ближнюю базу для пополнения и снабжения...

— Скажите, дорогой маркиз, у господаря Кантемира многочисленная армия?

— Да нет у него никакой армии, — рассмеялся Дезальер. — Разве что соберет тысяч пять волонтеров — это в лучшем случае. Так что на военную помощь царю нечего полагаться. Кроме того, молдаване и валахи воинской доблестью не отличались. Это мирные земледельческие народы.

— Не нравится мне все это, — пробормотал Понятовский. — Вероломство, непредсказуемость...

— Дорогой граф, пусть вас ничто не пугает, — маркиз был полон оптимизма. — Соединенные силы турок и татар по меньшей мере втрое превосходят армию царя. А такой перевес что-нибудь да значит. Другое дело, что царь показал себя искусным полководцем, и войско его хорошо обучено в отличие от турецкого. Но ведь сила соломой ломит, как говорят москвиты. Не сомневаюсь в успехе визиря...

— Москвиты говорят еще: вашими устами да мед бы пить, маркиз. Что ж, надежда уходит последней. Будем надеяться...

— Благодарю вас, граф, за посещение. Здесь, увы, мне редко приходится слышать столь прекрасный французский. Даже мои служащие его коверкают. Желаю вам успеха в вашей нелегкой миссии, господин паша. Как ваш турецкий?

— Каймакам поздравил меня, стало быть, успехи есть. Мы беседовали по-турецки, и он нечасто меня поправлял.

— Мне же этот варварский язык не дается, — посетовал маркиз. — Я оставил все попытки.

— Напрасно, — сказал Понятовский и поглядел на Дезальера с некоторым сожалением. — Вы быстро сняли осаду.

— Язык надо изучать в молодости. А моя молодость за спиной, — оправдывался маркиз.

Понятовский согласился. Его французский начинался в трехлетнем возрасте, а к десяти годам он стал его вторым родным языком. Теперь он трехязычен. Да

еще немного немецкого, немного шведского и немного русского — он вполне вооружен для странствий.

«Пора, пора в дорогу,— думал он, покачиваясь в седле.— Чересчур много суеты, чересчур мало дела. Будет ли польза от моего сидения в ставке визиря... Да и вообще: каков он, Балтаджи Мехмед-паша? Каймакам предпочел уклониться. Говорили всяко: и что покладист, и что неглуп, и что склонен выслушивать советы, но поступать по-своему».

Балтаджи всплыл как-то неожиданно, даже для дивана. Говорят, он обязан своим возвышением чистой случайности: никаких особых заслуг за ним не водилось. Просто он всегда держал нос по ветру...

«Но если он покладист, как утверждают многие, то мы сойдемся. Мне еще не приходилось быть в роли советника. Что ж, это ни к чему не обязывает — ни ответственности, ни последствий, ни конфликтов... Когда кампания закончится, напишу книгу воспоминаний и издам ее непременно в Париже. Тамошние издатели охотно печатают подобные сочинения, тем паче писанные по-французски...

Балтаджи — это ведь «алебарщик» по-турецки, стражник при султанском дворе,— вдруг сообразил он.— Унаследовал от отца. Их всего четыре сотни, и султан знает каждого в лицо. Султанская гвардия, по существу. Да, из нее-то и отбирают малых султанят. Интересно, сколько ступеней пришлось одолеть Балтаджи, чтобы так высоко подняться?

Ну, что ж: делить нам нечего, власти я не домогаюсь, подсиживать его не стану. Не исключено, что он станет взывать ко мне как к третьей судьбе при конфликтах...»

Конь шел шагом, словно бы не желая растряссти мысли своего седока, эскорт в беспорядке следовал за ним. Немногие встречные клонились в почтительном поклоне. Если бы правоверные знали, что перед ними не истинный паша, а ряженный гяур! Вот был бы конфуз...

По амфитеатру крыш в Босфор медленно сходило багровое солнце, отражаясь в воде мириадами золотых бликов. Казалось, огненный шар вот-вот наколется на пики минаретов мечети Сулеймание, или Айя-Софии. Но он оставлял на их кровле лишь брызги расплавленного металла.

Дорога... Снова дорога. Безвестная и, как всегда, полная неожиданностей и опасностей. Понятовскому и его спутникам надлежало добраться до Эдирне, а там пуститься по пятам армии визиря. Каймакам уверил: войско движется медленно, делая не более одного перехода в день. Так что догнать его не составит труда.

— «Ленивое войско»,— усмехнулся каймакам и с сожалением покачал головой.— Не хочет воевать, хочет покупать-продавать-менять. Бо-ольшой базар!

Понятовский запомнил. Запомнил он и этот день с его предотъездной суматохой, и торжество весны, взывавшее к его чувствам. Кружевное бело-розовое покрывало укрыло землю на склоне: отцветали абрикосы, персики, миндаль, и лепестки искрапили все, словно весна праздновала грандиозный бал с боем конфетти. Этот праздник вошел в него и остался в нем.

Он не был сентиментален — жизнь не располагала к сентиментам. Но тут в памяти невольно всплыла весна в его родных местах, и защемило сердце. Вспомнилось все, что было дорого: отчий дом, парк, переходивший в лес, тихое озеро с гусиной стаей... И лица, лица, родные лица! Их голоса словно бы коснулись слуха. Навяждение было так велико, что он закрыл глаза и стал вслушиваться...

Весенние бесы будоражили кровь, ворошили желанья. Последнее время они его тревожили весьма редко, хоть он был не из худых мужчин, любил приволкнуть и довести дело до конца. Постоянное напряжение походной жизни высушило его. Могло ли быть иначе.

Случались интрижки и в Варнице. Не со шведками, нет. Этих были единицы. С аборигенками — простова-

тыми, однако не лишенными обаяния молодости. Да, они были просты, и в этом-то и заключалась вся прелесть: ни затей, ни капризов, ни ужимок. Его графство, его изысканные манеры действовали как магнит. Одну, а затем и вторую притянуло прочно — трудно было оторвать...

Один король оставался равнодушен к женским прелестям. Казалось, все его мужское естество поглотила война. Он равнодушно взирал на волооких юниц, на томных шведок — офицерских жен, на резвых молдаванок... Для всех для них король Карл оставался недостижим, какие бы авансы ему ни делались. Он был над всеми в этом маленьком мирке приближенных, заброшенных в отуреченное полумолдаванское, полуукраинское сельцо. Он как бы парил над землей в своей недостигаемости.

Придется прежде отправиться к нему, дабы обзавестись целым ворохом королевских наставлений и указаний: нечего было и думать жить в турецкой ставке своим умом. Ум должен быть королевским!

Время от времени на Понятовского накатывала строитивость. Хотелось сбросить ношу придворного и жить своим умом. Но долг и честь дворянина, потомка королей, словно каменные плиты, придавливали мимолетные приступы отрезвления.

— Прощайте, господа, — помахал он рукой Нейгебауэру и Функу, этим дипломатическим поварам, не любившим, однако, ничего самостоятельно стряпать, а предпочитавшим готовые блюда. — Я отвезу ваши бумаги его величеству, хотя вряд ли они поколеблют его в чем-либо.

Он не завидовал им — каждому свое. Не завидовал их невозмутимости, их посланническим брюшкам, их отвислым щекам и двойным подбородкам. Не завидовал тому, что в Стокгольме о них продолжали заботиться, полагая значительным их влияние на политический вес королевства. И король их жаловал, придавая значение

их донесениям, собранным в прихожей дивана либо того же Дезальера.

Простился с ними по-домашнему. И пожелания добра были искренни с обеих сторон. Зависимость была общей, ибо повелитель был общий.

...Галата, как всегда, была облеплена судами и суденышками — можно было выбрать то, что поприглядней. Большая часть держала курс на север, переправляя военный груз в армию. Лошади, бочонки пороху, ядра, медные пушки, жесткие турецкие седла — все отправлялось вдогон войску.

Корабль назывался «Мунзир», что означало «Предостерегающий». На взгляд Понятовского он выглядел основательней соседних, хотя ему так и не удалось допытаться у реиса, отчего он дал такое название своему судну.

Погрузка уже заканчивалась, Понятовский со своими людьми поднялся на борт, как вдруг по сходням скорым шагом заторопились янычары — целая ода, то бишь рота, замыкая которую не ода-баши — ротный, а полный чорбаджи, полковник, тучный, страдавший одышкой.

Странные воинские звания у турок. Ведь «чорбаджи» в переводе «раздатчик супа». Кормилец, что ли? Младший офицер янычарского войска — ашчи, то есть повар. Ода-баши — главный в комнате, бостанджи — султанский гвардеец, переводится как огородник. Все какое-то домашнее, приземленное. Веками кормились войной — может быть, поэтому. Однако регулярства в войске так и не завели, одно слово — орда...

Реис уступил свою каютку Понятовскому в знак почтения к двухбунчужному паше, почтенному лицу. И граф тотчас оценил преимущество такой отъединенности: «Мунзир» был перегружен, люди усеяли палубу, расположились на корме и на носу, янычары бесцеремонно заняли проходы, мешая команде.

Порешив никуда не выходить до конца плавания, Понятовский разлегся на узкой и жесткой лежанке, ус-

тавив глаза в потолок. Топот босых ног, гортанные выкрики реиса, отдававшего команды, наконец легкая качка возвестили о том, что «Мунзир» отплыл.

Топот и шум разом улеглись, Понятовский чувствовал себя как в колыбели, глаза против воли стали слипаться. Сон немедля подхватил его и понес по своим мягким волнам с покачиванием и поскрипыванием, постукиванием и шуршанием, которые казались его естественным сопровождением...

Пробудили его голоса. Реис монотонно повторял:

— Прошу прощения у высокородного бей, прошу прощения...

И вслед за ним хлопающий незнакомый голос надрывно причитал:

— Высокородный бей, бей над бейми, нам всем грозит опасность.

Услышав слово «опасность», Понятовский тотчас скинул сон и сел, свесив ноги. Рядом с реисом стоял тучный чорбаджи и кланялся как заведенный.

— Что стряслось, правоверные? Мы наскочили на риф?

— Янычары... Мои янычары взбунтовались,— простонал чорбаджи.— Они не хотят воевать. Они требуют плыть в Анатолию. Они взбунтовались, а мне отрубят голову.

— Что же я должен делать?

— Выйди к ним, о могущественный. Прикажи им именем султана, нашего повелителя, повиноваться священному долгу мусульманина. И пусть убоятся гнева Солнца Вселенной и его неминуемой кары, да падет на них гнев Аллаха!

Понятовский надел свой сарык, увенчанный султаном, и в сопровождении реиса и чорбаджи вышел на палубу.

Янычары, разбившись на кучки, галдели, угрожающе размахивая руками. Большая группа их окружила рулевого. Там закипали главные страсти.

Новообращенный паша направился туда. Он понимал: если янычары расправятся с рулевым, корабль неминуемо потеряет управление. Тогда беда грозит им всем.

— С вами будет говорить высокородный бей,— выкрикнул реис.— Слушайте и повинуйтесь!

— И повинуйтесь! — во всю силу легких возгласил Понятовский. Он понимал: главное взять инициативу в свои руки, ошеломить, нагнать страху, явить повелительность.

— Страшная кара ждет изменников на земле. Но еще более страшную кару обрушит на вас Аллах в другой жизни. Они будут гореть в адском огне, гореть вечно, отступники от зеленого знамени пророка. Клянусь его святейшим именем, бунтовщикам и изменникам не будет пощады.

Он видел, как меняются лица: от злобно насупленных, свирепых, самоуверенных — до растерянных и испуганных. И понял: главное теперь — не ослаблять напора, наступать и наступать.

— Именем повелителя правоверных повелеваю: связать зачинщиков!

В толпе послышался ропот. Никто не ожидал такого оборота. Да, они были напуганы, но выдать своих товарищей...

Вперед выступил рослый янычар, как видно ветеран. Шрам от уха до переносицы был его красноречивым отличием.

— Могущественный бей,— произнес он хрипло.— Мы претерпели голод и холод, почтенный чорбаджи знает. А лишения ожесточают. Мы готовы повиноваться. Но и ты, господин, будь великодушен и прости нас.

Отступить? Проявить малодушие? Бунт есть бунт, и даже раскаявшиеся бунтовщики не могут избежать наказания. Нельзя допустить ни малейшего послабления!

— Я сказал! — со столь же грозными интонациями воскликнул Понятовский.— И да будет исполнено. Пусть те, кто подбил вас на бунт, сами выйдут впе-

ред.— И он обратился к реису: — Распорядись, почтенный реис, чтобы принесли плеть.

Плеть была неслучайной принадлежностью корабельного дисциплинарного устава, и Понятовский знал это.

Плеть принесли. Он взвесил ее на руке, потом щелкнул ею. Решил: пусть сами изберут экзекуторов. Из своей среды. Это самый верный прием. И он протянул плеть янычару со шрамом:

— Тебе, храбрец, поручаю исполнение наказания. Будь справедлив перед лицом всемогущего Аллаха и пророка его. У кого повернется язык оставить зачинщиков без кары, пусть скажет.

Все молчали. Бунт в войске плохо пах во все времена... Само слово «бунт» было тяжелым, как каменная плита над могилой.

Толпа глухо гудела. Брожение медленно закипало в ней. Минута за минутой. Тот, кого Понятовский назвал храбрецом, обернулся к своим соратникам и что-то вполголоса сказал. Он был удостоен знака власти — плети и, похоже, считал себя обязанным ее употребить. Он вертел тяжелую плеть в руках, словно бы примериваясь, затем щелкнул ею, призывая подчиниться.

Вот он, сигнал. Из толпы вытолкнули двоих. Они стояли перед всеми, переминаясь с ноги на ногу, понурив головы, быть может, в надежде на прощение.

Но обладатель плети уже созрел для власти над своим стадом. И он, а не Понятовский, уже был непреклонен. Он снова щелкнул плетью с твердым намерением пустить ее в дело.

Тотчас нашлись и добровольные помощники. Они подступили к тем, кого обрекли в жертву, и стали сдирать с них одежду. Другие принесли скамью. Велели лечь первому, он было стал упираться. Тогда его схватили и уложили насильно. Двое сели ему на ноги. Все делалось охотно и быстро. Так, словно они были привычны к этому.

Экзекутор взмахнул плетью и нанес первый удар, оставивший багровый рубец. Еще и еще. С каждым взмахом он как бы входил во вкус. И когда спина вспухла от рубцов и стала кровоточить, он уже не мог остановиться.

— Довольно, — Понятовскому пришлось его остановить, ибо стало очевидно, что он готов запороть своего товарища до смерти.

Теперь, когда у янычара со шрамом был опыт, он жаждал его применить. И второго порол до крови с первых же ударов. Его добросовестность не вызвала сомнений, так что пришлось снова ее умерять.

«Крохотная власть — все власть. И человек, наделенный ею, почти тотчас же переменяется, — размышлял Понятовский. — Толпа жестока и, как правило, готова предать своих же. Вот и янычар, который только что защищал товарищей, получив плеть — символ власти и ее атрибут, готов запороть их до смерти».

Власть — сила, но она же пагуба. Он, Понятовский, был искушаем ею, но не искусился. Потому что не хотел быть несправедливым, а жизнь во всех ее проявлениях вынуждала к несправедности и даже жестокости. Вот как сейчас, когда он был вынужден распорядиться случайно выпавшей на его долю властью.

Махнув рукой, он остановил экзекуцию. Реис хотел было отобрать плеть у янычара, но Понятовский остановил его.

— Не надо, — вполголоса сказал он. — С ее помощью он станет пасти свое стадо как наемный пастух. И не даст ему своевольничать и взбрыкивать.

С чувством, похожим на удовлетворение, он удалился в свой кубрик. Чорбаджи шел за ним, бормоча слова благодарности.

— Не надо благодарить, почтенный ага, — прервал его Понятовский. — Благодарить будешь, когда мы благополучно высадимся на берег и, не потеряв никого, примкнем к армии. Помни: на берегу многие вознаме-

рятся бежать, и будь настороже, ибо тебе придется держать ответ перед великим визирем.

Всемогущий хранил графа в его многих странствиях. Он простер над ним свою милостивую длань. Дважды в Буджацкой степи на его отряд насакивали шайки татар, а может, то были даглы-разбойники из молдаван, кто их разберет, но оба раза его людям удалось отбиться. Миловали его и стихии — на суше и на море боги земной тверди и текучих вод были к нему благосклонны. И он уверился в существовании высшей силы, которая покровительствует и благоприятствует одним, ее баловням, и неуклонно преследует других с непостижимой последовательностью.

Он был баловнем судьбы. Он был храним ею, как видно, за то, что презрел честолюбие и довольствовался тем, что она назначила ему. Вот теперь по ее назначению он стал турецким пашой, и этому маскараду, как видно, суждено длиться. Бунт янычар помог ему утвердиться в новой шкуре. В глазах толпы читалось почтение и готовность подчиниться. То же было и в глазах рейса и чорбаджи. И его бывшая неуверенность миновала. Похоже, и в его турецком все они не находили изъяна, и это радовало его больше всего.

А что будет в ставке визиря? Понятовский вез к нему доверительное письмо каймакама. Только садразам будет посвящен в его тайну. А его приближенные? Не лучше ли снова возвратиться в первобытное состояние и стать графом Понятовским, доверенным лицом короля Карла, его советником.

Но турки недолголюбивают шведского короля. За высокомерие. Он выказывал откровенное презрение к ним, к их вельможам, к их строю, даже к их языку. Гордость его была непомерна. И если у него появились новые стратегические идеи и даже гениальный план разгрома царя Петра — в его взвихренной голове роились такие планы, — то он ни за что не подарит его садразаму. Только сам во главе войска!

Червь отмщения за Полтаву грыз и грыз Карла дено и ночью. Он поднялся над теми злосчастливыми днями, ясно увидел свои просчеты и просчеты своих генералов, черт бы их побрал! Если ему доведется снова встретиться с Петром на поле битвы, промашки больше не будет! Но только при том, что он встанет во главе армии, а не будет под рукой какого-то визиря, хоть и великого.

...Понятовский живо вообразил себе скучливое лицо короля Карла со слегка выпяченной нижней губой. Положение нижней губы отражало степень его душевного неудовольствия. А ведь придется доложить ему о провале всех его упований, о том, что королевский план всего лишь принят к сведению, но отнюдь не к исполнению.

Придется долго рассказывать, не упуская подробностей, о всех разговорах с каймакамом, с Функом и Нейгебауэром, с Дезальером о том, почему не удалось добиться аудиенции у султана, скрыв истинные причины: лишенный энергичного действия, король восполнял его долгими беседами с приближенными. Вдобавок он еще не утратил юношеского любопытства, плохо скрываемого за дворцовыми церемониями: хоть самого дворца и не было, но ритуал остался. Он был незыблем: король оставался королем даже в захолустье, даже в изгнании.

А сейчас король наверняка пребывает в лихорадочно-нервическом состоянии: ему донесли о последних шагах русского царя, о его свидании в Ярославле с битым Августом. Царь был в движении. Теперь он на Днестре. И ежели ему вздумается посадить свое войско на суда, то он может вскоре оказаться под стенами Бендерской крепости. Правда, с реки она неприступна. Но этот дерзец может учинить обходной маневр...

Никто не был посвящен в планы царя. Царь всегда неожидан. Он способен совершить какой-нибудь ошеломляющий маневр. К примеру, прежде, чем сблизиться с войском визиря, высадить крупный десант близ Бен-

дер, дабы напасть на Варницу и захватить короля Карла. Кому-то такой маневр может показаться бессмысленным, но он очень даже важен: захватив Карла, он выведет Швецию из войны...

Нет, он, Понятовский, не поедет в Варницу. Бумаги Функа и Нейгебауэра вместе со своей докладной перешлет королю с курьером. Прочь всякие колебания: ему предстоит догонять армию визиря!

«Мунзир» — «Предостерегающий» ошвартовался в Орманлы. То был малый турецкий порт — перевалочная база на Черном море.

Отсюда предстояло посуху достичь Эдирне — сборного пункта всех турецких армий, нацеленных на север и на запад: на Россию и страны Европы. Теперь Понятовский волею случая оказался во главе довольно большого отряда.

Он со своим эскортом замыкал шествие, а впереди пылила ода усмирённых янычар во главе со своим тучным чорбаджи.

Грустные мысли одолевали графа. Он чувствовал свое одиночество среди огромного пустынного пространства. Толпа, окружавшая его, была безлика и безгласна. То были колосья, которым суждено быть сжатыми кровавым серпом войны.

Одиночество показалось ему нестерпимым, а его дело — бессмысленным. Ну почему, за что судьба так немилостиво обходится с ним?! Лишь недавно он считал себя ее баловнем, но то была, по всей видимости, иллюзия. Судьба хранила его в дорожных передрягах, верно. Но в остальном она уготовила ему жалкую роль статиста, услужника действующих и бездействующих фигур на политической сцене.

Он был, увы, статистом, всего лишь статистом. И это при его уме, воспитании и достаточно высоком происхождении. Сколько раз размышлял он о своей судьбе, сколько раз выискивал способы изменить ее. И все напрасно! Случался какой-нибудь поворот, за которым виделось ему нечто иное, увлекательное, сулившее

перемены, и он тотчас забывал о своих нравственных терзаниях.

Иной раз ему даже казалось, что дело, которому он посвятил свои лучшие зрелые годы — служение двум королям, судьба которых была несправедливо изломана, — стоит того, что он поможет им выйти на дорогу славы и величия и тем будет вознагражден...

Но то была прекраснотдушная иллюзия. Он вынужден влачиться среди толпы, которая способна только жрать, спать и срать. Он, поклонник Боссюэ и Рабле, Петрарки и Патрици, читавший их в подлиннике, среди этих невежественных людей, вынужденный быть с ними вровень, ибо иного ему не дано. Вдыхать вониючие испарения давно не мытых тел, мешающиеся с едким конским потом, есть их пищу, слышать их храп.

За что?! В эти минуты тягостных сомнений он казнил себя всеми мыслимыми казнями.

Хорошо было королю Карлу, хуже, но тоже хорошо королю Станиславу Лещинскому. Они, словно пауки, затаились в центре своей паутины и ждали жертвоприношений со всех сторон. Он, Понятовский, среди тех, кто приносит жертву. Верней — себя в жертву.

Солнце грозным немилосердным оком вставало и опадало среди выцветшего безоблачного неба. Оно жгло, жгло и выжгло все, что могло, иссушило землю, выпарило воду из рек. Все трудней стало выпасать и поить лошадей. Людям было легче. Они всяко приноравливались, довольствуясь сухой лепешкой, глотком воды из заброшенного степного колодца...

Переходы все удлинялись: люди и кони изнемогли. Армия великого визиря ушла из Эдирне неделю назад. Подумать только: отплыви они неделю назад или чуть раньше, и не пришлось бы им пускаться вдогон по неведомой дороге, зная лишь направление — северо-восток...

Неведомой ли? С самого начала их безмолвного прощания с Эдирне их вел широкий след великого войска султана. Сломанные, обутленные либо словно са-

ранчой обглоданные деревья и кустарники, конские катыши, измостившие землю мягкими рассыпавшимися булыжинами, следы людских ног и конских копыт, гигантские плещины биваков и кострищ вели их верною дорогой.

Все это невольно ускоряло их движение. Казалось, стоит им влиться в войско — и наступит облегчение, они будут сыты и напоены.

Да, они двигались быстро. Так быстро, что уже на третий день их отряда коснулось дыхание великой армии.

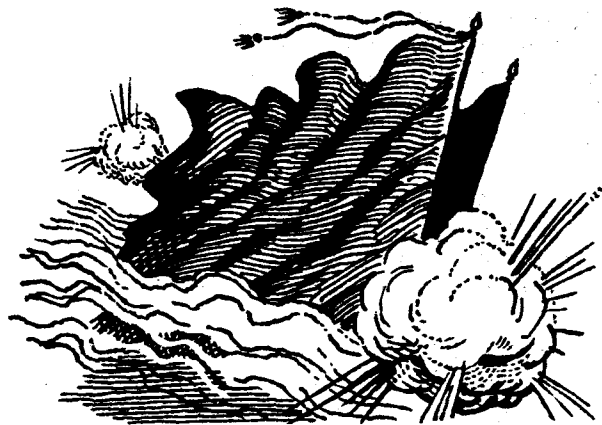
Отдаленный гул, словно бы слабый отзвук морского прибоя, достиг их ушей. Они, однако, были далеко от моря, и когда это наконец дошло до сознания, поняли: то голос войска.

В воздухе висела сухая пыль. Не взметнул ли ее ветер? Но нет: пыль становилась все гуще, все плотней. Стало трудно дышать, люди чихали, кашляли, плевались...

Потом гул обратился в невнятный говор, в конское ржание, топот и шарканье множества ног, шлепанье копыт.

Это они взметали пыль — десятки тысяч ног, босых и обутих. Вот он, арьергард великой армии могущественного повелителя правоверных султана Ахмеда III.

Догнали!
Слились!



Глава десятая

ЗЕМЛЯ СКУДНА И ГЛАДНА

Благо тебе, земля, когда царь у тебя
из благородного рода и князя твои
едят вовремя, для подкрепления, а не
для пресыщения!

Книга Екклесиаста

Голоса: год 1711-й, июнь

Петр — В. В. Долгорукову

Господин подполковник. Зело желаем от вас ве-
дать, можете ль вы успеть к Дунаю прежде туркоф,
или нет; и буде еще тово вам вскоре подлинно знать
нельзя, то дайте знать в колико дней можете...

Кантемир — Шереметеву и Рагузинскому

Послал я указы по всему моему государству с
присланными от вас универсалы и велел всем наро-

дом, дабы собрались и вооружились и пришли к монаршеским войскам под мою команду до 15 числа сего месяца, а кто не придет — шляхтич будет отлучен от своих маєтностей, а народы будут преданы суду не токмо мирскому, но и церковному проклятию. Любезнейшему брату нашему господарю мултянскому письмо ваше послали и от себя писали пространно, на что ожидаю ответу. Извольте и вы от себя к оному... писать, дабы немедленно и он свое обещание исполнил и с нами соединился... Провиантом, наипаче хлебом, вся наша земля велми скудна и гладна, ибо сего года не родилось; а что мало у кого, тот бережет про себя, токмо скота сыщем довольно. Еще доношу, извольте по всякой возможности, как наискорее, призвать двадцать тысяч пехоты, и толко войск довольно будет, с которыми, аще Бог изволит, можно дать с турками баталию без жадного опасения... войска их еще не собрались и от единой баталии могут совсем пропасть. А ежели опоздаем, то травы посохнут, которые могут быть от татар сожжены... Турки кругом Дуная великия магазины наполнили муки, овса, ячменю и прочих провиантов толко ныне.

Посланник России в Париже Волков — Головкину

Известно ли будет вашему высокографскому превосходительству, что... имел я конференцию с министром иностранных дел господином де Торсием, в которой... пространно объявлял я, что его царское величество ни малого сумнения не имеет, чтоб от его королевского величества какое побуждение произошло туркам к начатой войне, но что только его царское величество имеет причину на министров его королевского величества, а особливо в Царьграде сущих, жалобу приносить о яственных их вспомогательствах королю шведскому и послан-

ных его в интересах его, и дабы его величество повелел к оным указы послать, чтоб они от того спомогательства предстали...

Азовский губернатор И. А. Толстой — Петру

...По указу вашего величества и по приказу адмирала кавалера графа Федора Матвеевича Апраксина посылал я в Кабарду ко владельцам черкеским с писмом, призывая их в подданство вашему величеству. И оные владельцы... пишут, что они со всем тамошним народом в подданство под вашу высокодержавною рукою усердно быть желают вечно...

Шереметев — Петру

С определенным деташаментом прибыл к р. Пруту ниже Ясс 2 мили к урочищу Цуцур. И сего месяца 6 числа с господарем волошским виделся и пространную имел конференцию, и из слов его всякие верности к высоким вашего величества интересам выразумел. Войско свое обещал... собрать 10000; токмо желает им по обещанию денег на войско. О неприятельских подвигах объявил, что около 40000 войска турецкого при Дунае обретаются, и упова-ет знатной части быть уже на сей стороне Дуная для сохранения мосту; и чрез 10 дней оные в силе могут быти в 50 тысяч, також татарской орды Буджацкой немало соберется. И того ради предлагал, дабы с войски, при мне обретающимися, без знатного числа пехоты к Дунаю не ходить. И во оном я с генералы имел совет...

ИЗ РЕШЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА

Обретающийся при здешнем деташаменте вышний генералитет заключили и за благо рассудили. Понеже определенной деташамент в нынешнем марше в силе 14843 состоит, а по всем ведомостям турков с визирем

по обе стороны Дуная 60000, к тому же татар с 20000 имеет быть, того ради такова азарту без позитива ордера его царского величества... поступать не можем... Также и весьма, как видимо из поступок, на воложский народ обнадежиться невозможно, ибо скоро могут чрез фракции и деньги показать между собою ссиссию или разделение, о чем отчасти и показывается...

Г. Ф. Долгоруков — Головкину

Государь мой Гаврило Иванович... доношу, что когда я получил указ его царского величества о магазинах... то тогож маменту к господину генерал-лейтенанту князю Голицыну советом до указу чрез письмо предлагал, дабы оной... те магазины в пристойных местах учреждать приказал, на что оной ко мне разными писмами отвечивал, дабы тем магазинам быть для безопасности от неприятеля где на Волыне... И я, мой государь, отставя другие дела, сам в Злочев ездил... где об учреждении магазинов ближе к Днестру оному (Голицыну) говорил... На что он мне не токмо разговором, но и злобою объявил, что будто для опасности от неприятеля и пустоты того краю... быти магазинам невозможно.

— Нешто повиниться? — И Петр, вопрошая то ли себя, то ли Екатерину, оборотился к ней.

Сидели друг против друга в карете, увозившей из столь пленившего их Яворова к Брацлаву, в сторону валашской границы.

Тесна была царю карета государыни, он долго вертелся, приманиваясь, неловким движением надорвал обивку, осердился и теперь жалел, что из своей по мерке сработанной кареты переместился в Катеринину.

Жалел повиниться, открыть душу, ибо в ней, в душе, угнездилась неловкость. Любопытно было, каково

примет на этот раз. Прежде она почти радостно принимала и отпускала грехи такого рода.

Екатерина молчала. Ждала с улыбкой проступки. В конце концов может ли царь быть грешен? Ведь он повелитель. Всея Руси. И всея Екатерины.

Исповедался. Рассказал все, как было. Как с Августом амурничал, какие польские дамы выделявали фигуры и под ним и на нем.

Екатерина всплеснула руками:

— Ах, царь-батюшка, господин мой великий, рада-ра-дешенька, что натепился.

Она обняла его и стала жарко целовать.

— Рази посмею я поперек желаний моего государя и повелителя стать? Мне-то не убудет. Одно скажу вашему величеству: таковые фигуры и я делать способна и даже много более того. И ежели вы повелите, то я себя окажу.

Наступил его черед умиляться. Он обнял свою царицу и по-отечески поцеловал ее в лоб:

— Голубушка моя, непременно повелю. Знаю, что превзойдешь.

«Все-таки, — подумал он, — это благодать Божия — найти свою, по мерке твоей скроенную женщину, и жену, и любовницу, и сотоварища, которая с тобою и в поход, и в плаванье, и верхом, и пешком».

Макаров, чувствующий движения души своего государя, однажды словно бы невзначай рассказал ему замшелую притчу, будто бы вседержитель греческих богов Крон, сотворяя человеков из глины и праха, лепил их о двух головах, четырех руках и четырех ногах. И, будто бы разгневавшись на глиняных человеков, разметал их с горы Олимп. С той поры-де разъединенные половинки и ищут друг друга по белу свету. И счастливы лишь те, кто находит свою...

Кажется, он, Петр, нашел наконец свою половинку, все умевшую, все понимавшую, все чувствующую, ласкавшую, укрощавшую тяжкие припадки, которые скру-

чивали его огромное, сильное тело. Нужна была великая сила для их одоления, и эта сила была в руках Екатерины, в ее объятиях — могучих и целительных.

Тем временем война все чувствительней проступала из дали, из по-прежнему не меренных пространств, отделявших его от неприятеля.

То и дело на взмыленных конях приносились курьеры — и с юга и с севера. Вести были нерадостные: под началом визиря собрано турок и татар более чем втрое против российских. Единоверные господа ограничивались все больше посулами. С каждой сотней верст, приближавшей его к их пределам, посулы эти словно бы ссыхались. Его, Петра, генералы были все так же медлительны и нерасторопны. И свои, русаки, и иноземцы, служившие более из корысти, чем из интересу.

Сенат тоже не оправдал возлагавшихся на него упований. Среди господ сенаторов начались трения, малопомалу переходившие в распри. Деньги, которые суть артерия войны, притекали худо.

В душе Петр казнился: сам был беспечен, не подавал примера, препровождал досуги в увеселениях, в обжорстве и пьянстве. Потому и генералы скурвились, оставшись без глаза.

Теперь он погонял, приказал ехать как можно шибче, обоз за ним еле поспевал. Хотел поскорей сомкнуться с гвардейскими полками, устроить смотр, поднять дух.

— Куда это мы несемся, Петенька? — неожиданно спросила Катерина, прервав его невеселые мысли.

Он снова умилился. Эх у нее славно сорвалось — Петенька. Николи прежде себе не позволяла, даже в минуты сокровенные.

И он откликнулся в тон:

— В Брацлав, Катинька, к полкам гвардейским.

И, умиленный, наклонился, взял ее за подбородок и смачно поцеловал в пухлые податливые губы. Вкус у

губ был яблочный и телесный, губы пахли желаньем и свежестью. И еще чем-то, чему и названия не было.

Обедали во Львове.

Город собою вальяжный, выставивший напоказ пышную латынщину. Однако и православные святыни. Царь, Екатерина и министры пошли им поклониться.

Начали с зело благолепной Успенской церкви на улице Руськой. Была она и тем примечательна, что именовалась еще и Волошской: отстроил ее после многих пожаров и разрушений молдавский господарь Александр Лэпушняну с благоверной супругою своею Руксандой. Вкладывали немалые деньги в ее возобновление и другие господа — Иеремия, Симон и сын его славный церковный иерарх и просветитель Петр Могила. Равно и царь Феодор Иоаннович, вклад которого был отмечен российским гербом и надписью: «Пресветлый царь и великий князь МоскоРоссии бысть благодетель сего храма».

Преклонили колени пред богатым иконостасом, получили благословение настоятеля. Он же поведал им удивительную историю казацкого атамана Ивана Подковы, чей прах захоронен в церковном склепе.

Пошел Подкова походом на княжество Молдавское, бывшее под турком, как и ныне, отвоевал его у врагов Христова имени и воссел, дерзец, на княжеском престоле в стольном граде Яссах. Но поляки, союзники турецкого султана, вместе с нехристями захватили Подкову, увезли его во Львов и тут прилюдно казнили. Перед казнью сказал он речь в таких словах: «Я всегда боролся мужественно и как рыцарь против врагов Христа, и было у меня одно желание — защищать христиан и не пускать басурман по сей берег Дуная. Запомните, господа поляки, наступит день, и головы ваши и ваших королей отвезут в Константинополь и воткнут на колья».

— И ты, великий государь земли Московской, будь благословен. И пусть Господь ниспошлет тебе победу

над турком, ибо прах Ивана Подковы вопиет... — такими словами напутствовал Петра настоятель храма.

Неожиданный этот сюжет воодушевил Петра. Как, однако, прихотливы судьбы людские и удивительны встречи на дороге войны — все с турком и турком.

В Онуфриевской церкви погребены московский первопечатник Иван Федоров и сын его. На надгробной плите прочитали: «Иван Федорович друкар московитин... Друкар книг, пред тим не виданных. Преставился во Львове...» Оказалось, в одной из здешних келий устроил Федоров свою печатню, откуда вышел приснопамятный «Апостол».

Поклонились и иконам дивного письма в соседней Пятницкой церкви. И здесь гробницы молдавских господарей. Да и сама церковь была воздвигнута иждивением господаря Василия Лупу, о чем гласила вмурованная в стену доска с гербом: головою зубра, мечом и короною, солнцем и луной.

Петр внимательно рассматривал герб. Все это было удивительно: встречи в чужой стороне, в дальней дали с предвестниками той земли, куда он стремился и где надеялся найти верных союзников. Не означало ли это, что он обретет их? Не был ли то добрый знак?

Воодушевленный, он приказал погонять. От Брацлава, где ожидали царева прибытия оба гвардейских полка — Преображенский и Семеновский, — отделяли его три дня пути.

Радостна была встреча. словно бы не царь он был, а любимый полковник среди породненных с ним солдат. Напружившись, шагал вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица — не измождены ль долгим путем, худым харчем.

Нет, отмытые, бритые, глядели бодро, ели царя глазами, боясь лишний раз дохнуть. Многих знал в лицо, по именам, улыбался, улыбка долго не сходила с уст. Покамест уста не устали.

Прошли парадным строем: смотр по всем правилам, с полковой музыкой. Петр принимал рапорты начальни-

ков. По счастью, убыло мало. Животной болезнью болели от незрелых плодов — их рвали безбожно и ели во множестве, отвадить было не можно.

Широко распростерлась Польша, да были у нее нетвердые ноги. Все те же турки, а особливо татары почитали эти земли своими кормными. На то жаловался царю брацлавский воевода. Как оборониться, коли нет ни крепости, ни сколь-нибудь крепкого земляного вала. А плехонькие укрепления порушили басурмане. Во благо была лишь Господня ограда — река Южный Буг с каменистыми берегами.

Воевода жаловался на худые прибитки, на бедность обывателей, глядел же в сторону. И Петр понял: провианту тут не запасаешь. Но магазины приказал заложить — волошская граница недалече.

— Прошу пана воеводу озаботиться поставкой фуражу и скота. С заплаатою возьмем, — и Петр испытующе глянул на воеводу — не покривится ли. Добавил: — Не то налетят татары либо казаки да все исхитят.

— Да, ваше царское величество, тут у нас ровно в диком поле — пасутся все, кому не лень, — вздохнул воевода. Лучше было продать, чем так отдать. И он согласился: — Много не наберем, но кой-чего поставим. Народ у нас больно пуганый, в землю да в пещеры зарылись, для себя берегут. А войско королевское далече, не оборонит.

Не задался поход, не задался. Казалось Петру прежде, что южные земли всем изобильны. Ан нет: единоверцы были бедны и слабы, встречали без восторгу. Российское войско было для них не освободительным, а тягостным, как, впрочем, всякое войско. Всякое насильничало, несло разорение и убытки, а то и смерть.

Упадал дух. Тяготили сомнения. Но избави Боже явить подначальным! Мог без опаски пожаловаться одной только Катериночке: утешит и успокоит. Находила какие-то простодушные, но убеждающие слова.

— Пустыня, Катинька, пустыня. А что далее-то будет, — сетовал Петр. — Начальники мои нерасторопны, без укаски да подсказки шагу не сделают. Была надежда на иноземцев, да растаяла: служат все более для прибытку.

— Полно, государь-батюшка, по моему слабому женскому разумению, война не гладкая дорога. Все бугры, ямы да колдобины. Не своя сторона, не свои люди. Насильничать не можно. Одолели шведа, неужто турка не побьете?

Верно ведь: что турок перед Карлом! Утешительные слова, сколь многие и многожды ему говорили. После Полтавы решили все, что царь неодолим, что он вознесся. На самом же деле, находясь на самой вершине власти, в этой заоблачной дали, он оставался таким же ранимым, как все остальные человеки. Просто слабости его были сокрыты. На самом же деле все чувства были ему ведомы: любовь и ненависть, сила и слабость, справедливость и несправедливость... Но в отличие от простых смертных все в нем было обострено до той крайности, когда человеческое соприкасается с Божеским, ибо Господь отличил его.

...Он широко шагал вдоль фронта гвардейских полков и ловил на себе преданные солдатские взгляды. Он твердо знал, что они пойдут за ним в огонь и воду. Речь его перед походом была кратка — долгих не любил.

— Волошская граница недалече. Там — армия, воины господаря Кантемира, коих обещал он рекрутовать десять тыщ. Там и сыты будем, и напоены. Побили шведа, сильнее коего не было во всей Европе, само собою, должны и турка побить.

— Ура государю!

— Слава, слава, слава!

Прокатилось по шеренгам, из конца в конец строя. Залились дудки и рожки, затрещали барабаны. Извиваясь как большая многоголовая змея, колонны трону-

лись. Все были одушевлены: их вел сам царь-государь. Наконец-то он с ними!

Устали полки от долгого, казавшегося бесконечным похода. Хотелось в дело! Померяться силою с басурманом. Полагали: будет легкой победа: ведь с ними Бог, единственно истинный и всемогущий. С ними и царь-государь — тоже истинно христианский монарх, одержавший великую викторию над шведом, стало быть, над ним — благословение Божие.

Дорогу гвардейским полкам торила дивизия князя Репнина, вышедшая накануне из Брацлава. Ей предписано было охранять переправу через Днестр и дожидаться царя с полками.

Марш к Днестру занял четыре дня. Запаленный фельдъегерь доставил доношение Шереметева.

— Слава Господу, медлитель достиг цели, — объявил царь собравшимся возле него для военного совету министрам и генералам. Протянул бумагу Макарову: — Чти, Алексей, внятно.

Макаров начал негромко:

«Марш мой к Ясам с общего совету учинен не бес пользы и многова рассуждения к высоким вашего величества интересам: первое, что господаря волоцкого совокупили, которой и войско свое при моем прибытии против неприятеля на сих днях около пяти тысяч представит...»

Петр хмыкнул:

— Обещано было десять тыщ, а еще и пяти, выходит, не набрано.

— Союзникам никоим веры нет, — безапелляционно высказался Головкин.

— Это мы еще посмотрим. Чти далее, Алексей.

«...Второе, что прямым путем воды, кроме малых колодезей, не обретается, також при драгунских полках хлеба было всего на месяц, которой уже и употреблен. Турки на Дунай 3-го числа сего месяца пришли, и не возможно было нам прежде с войском ускорить... А Бучацкая Орда всю скотину свою и дома

свой, по ведомостям от языков, к морю и за озеро отправили...»

Макаров закончил. Воцарилось молчание. Его прервал Петр:

— Худые вести нам в науку. Провиант есть важнейшее. И запастись его надобно как можно более. Сколь много я писал и выговаривал всем начальникам о сем, однако ж осталось в пренебрежении. На кого уповать?! — обвел взглядом сподвижников и сам себе ответил: — Токмо на самих себя. Денег на провиант и фураж не жалеть! Доброхотов ждать нечего, равно и манны небесной. Ничего не будет, коли сами не запасем.

Согласно кивали головами. Слова были не нужны — слов и прежде было сказано много. Даже чрезмерно много.

— За нерадение стану взыскивать со всею строгостью! — поставил точку Петр.

Ах ты, Боже великий! Старались вроде бы и радели. Но как в чужих землях быть, коли сам царь повелел под страхом сугубого наказания местных обывателей не утеснять. А без утеснения, за одни деньги, притом же невеликие, с животиной, зерном, сеном расставаться не хотели. Была сушь великая, а от нее недород.

Катилась, приминая былье, царская карета, позади топали преображенцы и семеновцы, коя-то часть верхами. Едкая колючая пыль вставала за царским кортежем. Она долго не опадала и словно дым набивалась в карету, закладывая нос, припудривая лица. Дышать было трудно.

— Подайте коня, — приказал Петр. — Нету мочи терпеть жар взаперти.

Подвели царскую любимицу, статную арабскую кобылу Геру. Вели ее в обозе от самой от Москвы. Петр время от времени навещал ее, потчевал краюхой хлеба, но во все время долгого пути ни разу не садился в седло. Подбирали лошадь царю по мерке: Гера была редкой крупноты.

Взгромоздился в седло, поскакал вперед. Сухой степной ветер бил в лицо, нес по пробитой ногами, копытами и колесами дороге шары перекати-поля, пугавшие коней. То тут, то там столбиками вставали суслики и тотчас проваливались в норки.

Было легче, способней, нежели в карете. Рядом скакал Макаров.

— Куда как лучше, а, Алексей?

Макаров кивнул. Он привык во всем соглашаться с царем. И вовсе не из подобоострастия, нет: просто его повелитель был сполна наделен здравым смыслом.

Впереди вставали и опадали пыльные смерчи. Иной раз казалось, что то — всадники. Но мираж развеивался, и тревога проходила. Кругом рыскали татары, ища поживы, и следовало быть настороже. Конные разъезды выдвинулись в дозор — вперед и обочь.

Ордынцы не могли причинить большого урону: они были плохо вооружены и предпочитали не иметь дела с регулярным войском. Опасны были своей неожиданностью, лихим стремительным налетом. Один из разъездов им таки удалось порубить — видно, недоглядели, расслабились, жара замутила мозги.

— Каково скверно! — выкрикнул Петр. — Глянь-ка, и небеса выгорели.

В самом деле: голубизну выжгло солнце, небо было блеклое, выцветшее. Как выцвела и растительность: была она желтой либо бурой. Только колючий татарник как ни в чем не бывало высился вдоль дороги.

— Татарник татар крестник, — заметил Петр. — Ничего ему не дается, все снесет, ровно кочевой татарин. Дик и колюч.

Табуны диких лошадей были еще нередки. И один такой приняли за татарскую конницу. Когда разобрались, Петр удивился и посожалел:

— И отколы только корм добывают, бедолаги? Смекай: есть где-то травяные выпасы, разведать бы.

Задумался, рассеянно поглядывая вперед. Все сам, сам! Помощники не тороваты раскидывать умишком.

Лтого и рад, коли попадется в окружении придумщик, вроде прибыльщика Курбатова. Или вот серб Владиславич-Рагузинский. Таким ничего подсказывать не надо, сами вперед заскакивают, радея о государственной пользе...

— Вот они, государь, слева заскакивают! — неожиданно вскрикнул Макаров, да так пронзительно, что Петр востепенел и машинально дал шпоры Гере. Лошадь взвилась и понесла.

Слева рассыпным строем неслась к ним орава всадников числом до сотни. Но уже наперерез им скакал гвардейский эскорт.

Петр вытащил седельные пистолеты и торопливо стал заряжать их. Страх не было — царь был не из пугливых: на рожон не лез, но и от стычки не уклонялся. А коли приходилось — пер напрямик на неприятеля.

Волна азарта подхватила Петра. Напрасно Макаров надсаживался в крике, остерегая, осаживая: царь поворотил налево, на ходу взводя курки. Вот уже слышны гортанные крики «Алла, алла!» и дикие завывания — тартава подбадривала себя и устрашала неприятеля.

Казалось, вот сейчас всадники спшибутся... Пелена поднятой копытами пыли на мгновение скрыла обе лавы. Но когда Петр подоспел к своим, татары были уже далече.

— Эх, нечистый! — царь смачно выругался. К нему с виноватым видом трусил начальник конвоя. Подъехал, вытянулся в седле с глазами, выпученными от страха пред царским гневом.

— Кажись, дремлют твои дозоры! А?

— Кругом виноваты, ваше царское величество. Три шкуры с них спущу. Да нешто за бусурманами углядишь? Их ровно пыль ветром носит.

— Твое это дело, ты и отвечать должен. Моих драбантов эскадрон от гвардейских полков отделить и в охранение послать. Драгун поболее в дозоры, дабы не зевали.

Подъехал сконфуженный Макаров.

— Нешто заробел, Алексей? — повернул к нему Петр.

— Конь заартачился, государь.

— Кто из вас артачливей?

— А вам, ваше величество, великий грех рисковать высокоцарскою своею персоною, — осмелел Макаров, видя снисходительную усмешливость Петра. — Я вдогон вас остерегал!

— Я свою персону мог и сам остеречь, да особой нужды не было. А все же тебе пристойней при мне быть. Хотя и нерасторопен казался драбантов начальник, а молвил хорошо: татар-де ровно пыль ветром носит. Вот и принесло их ровно пыль да тако ж унесло. Лихие наездники, нашим за ними не угнаться, — с сожалением закончил Петр.

Война приблизилась, явила свои первые приметы. Далее будет их все больше — граница валацкая близко.

— Кабы не забыть: письмо заготовь к господарю Кантемиру за собственной моей руки подписанием. Скажу о чем...

Петр размышлял о будущих своих единовверных союзниках. Было ясно: всяк из них норовит свой интерес соблюсти. Свой, а не общий. И поменее вложить своего в заключенный союз. Оба господаря обнадеживали, подманивали. Подманивали-обманивали? Один Господь то ведает, он и истину откроет. У него же сердце к союзникам слишком открыто. Пора его прикрывать...

Скорым шагом полки и царский обоз двигались к Днестру. И вот он открылся с крутого берега. И местечко Сороки. Как объяснил толмач, то не птичье имя, а молдаванское слово «бедняк».

Почти у самого уреза воды, насупротив, высится крепость, похожая на круглую шляпу. Глядит она не грозно, как-то приветливо, даже весело.

Открылся и русский лагерь на обоих берегах с налаженной переправой. Многолюдье. Палатки, шалаши, телеги, пушки, кони меж людей и люди меж коней...

Завидели царский обоз: нестройные крики «ура» прокатывались из конца в конец лагеря. Кавалькада всадников скакала навстречу. То были князь Репнин и Адам Вейде, предводители дивизий, дожидавшиеся царя у переправы.

Петр спешился. Из карет вышли министры, вельможи и вся многочисленная свита, остановив движение колонны. Феофан Прокопович со служками готовился к благодарственному молебну и освящению наплавного моста.

— Ваше царское величество, — князь Репнин почти что свалился с коня под ноги Петру. Багровый от усилий и неловкости, он вытянулся перед царем: — С благополучным, стало быть, прибытием ко границе волошской. Щастие видеть милость вашу в добром здравии...

— Доложь, как дошли, велик ли урон, есть ли в чем недостачи? — нетерпеливо перебил его Петр.

Урон был, слава Богу, невелик, подоспело и пополнение из рекрутов, а вот недостачи испытывались во всем: в провианте, фураже, амуниции. Ружей бы не мешало иметь сверх комплекта для надежности.

Доложил и Вейде, добавив:

— Дивизия генерала Алларта с артиллериею уже переправилась и обосновалась под крепостными стенами.

— Сие отрадно. Станем и мы, не мешкав, переправляться. Тут оставим генерал-майора Гешова с четырьмя драгунскими полками для прикрытия тылу и устройства магазина. Понтонный мост не разбирать: провиантский обоз подоспеет.

Тем временем Феофан с причтом обходил ряды выстроившегося войска, то помавая кадилом, то кропя святой водой.

— Ныне святой царю славы ниспошли от святого жилища Твоего, — возглашал Феофан, — от престола царствия Твоего, столп световидный и пресветлый, в наставление и победу на враги видимыя и невидимыя, державнейшего и святого моего самодержца, и укрепи

его десною Твоею рукою и такоже с ним идущия верные рабы Твоя и слуги, и подаждь ему мирное и немязежное царство...

Петр стоял молча. Феофан постарался: капли святой воды остудили разгоряченное лицо.

— Эх, кабы подал Всевышний мирное да безмятежное царство, — пробормотал он едва слышно. — Так ведь ратными трудами сверх меры утрудил меня Господь.

Да, не хотел, как видно, Господь снять с него до поры тяжкое бремя войны. Ему бы при жизни увидеть заложенный им возлюбленный Парадиз отстроенным и украшенным — таким, как замыслил его трудолюбивый итальянский архитектор Трезини. Все про него небось думают: какой-де царь воинственный, не то что батюшка его Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим за то, что воевать не любил, в походы не ходил, а войско поручал доверенным воеводам.

Иное ныне время, иной и обычай. И приходится ему без охоты, а токмо ради государственного интересу да престижу перемогать походы, как ныне.

И то сказать: отправлялся без всякой охоты в сей поход. И сердце его пребывало в смущении. Предчувствие ли томило либо болезнь, время от времени нападавшая на него?

Мирное да безмятежное царство остается покамест мечтою. Трудится он не покладая рук ради его устроения. Все, что мог заложить в основание, — заложил, все, что успел скороспешно задумать, — построил. А сколь много еще надобно строить-то! Для сего строительства нужен твердый мир на всех рубежах. Но и новые границы: Россия должна прочно стать на морских берегах. На севере, на западе, на юге, на востоке. Так он, царь Петр, замыслил — того требует достоинство государства Российского...

— С переправою медлишь, князь, — обратился он к Репнину, как только молебен закончился и Феофан с прислужниками, обойдя строй, удалился в свою па-

латку, служившую одновременно и походной церковью.— Пошевеливай своих. Отчего еще один мост не наплавили?

— Пунтонов мало, ваше царское величество. Князь Голицын прислал не по потребности.

— О понтонах я ему в Киев писал,— сказал Петр, нахмурясь.— Коль видишь недостачу, прикажи плоты вязать — звон сколь лесу на берегах. Неужли соображения не хватило?

— Не хватило, ваше царское величество,— со вздохом отвечал Репнин.

— Эх вы! — Петр не договорил и, махнув рукой, направился в церковь.

— Расстроен я, Феофане,— с этими словами, еще не видя Прокоповича, Петр шагнул внутрь и с ходу стукнулся головой о свод.— Ах, нечистый! Не по царской мерке скроено,— сказал он, потирая лоб.

— Так ведь велика да высока мерка,— заметил Феофан, выходя из алтаря.— Истинно царская, а мы тут округ малые люди, сей мерки недостойные.

— Расстроен,— повторил Петр.— Идет война, а кругом нерадение, недомыслие, неустройство.

— Се человеки,— молвил Феофан и перекрестился. Машинально перекрестился и Петр.— Ежели бы на всякое важное место взамен генералов да чиновников поставить по царю, Россия заняла бы весь вселенский мир, вышла бы на все моря и океаны.

— Лысiec ты,— махнул рукой царь и стал перед иконой Николая Чудотворца. Губы его шевелились: просил снисхождения и заступления у защитника всех странствующих и путешествующих посуху ли, по морю.

— Ну вот, малость отлегло,— повернулся он к Феофану.— Приди, шахову игру сыграем. Охота мне речи твои утешительные послушать: давно мы с тобой не играли.

— Не призывали.

— Заботы навалились. И грехов гора. Отпустишь?

— Вестимо. Груз царевых забот велик, грехи под ним никнут.

— С Алексеем дела управим, тогда и приходи.

Повернулся резко и чуть не сбил с ног Макарова, последовавшего за ним.

— Берегись, Алексей, зашибу,— сказал со смешком.— Легок на помине — ступай за мной, займемся письменным делом.

Палатки царя, царицы и свиты были уже устроены на возвышении. Отсюда открывалась живописная панорама: прихотливо извитой Днестр, местечко Сорока с крепостью-шапкой, переправа, лесистые холмы, терявшиеся вдаль.

Главное: все армейское движение было как на ладони. Легко было заметить, что выговор Репнину сдействовал: живей задвигались, да и понтоны орудовали, наводя еще мост. Нестройность и хаотичность мало-помалу переменялись на некую видимость порядка. Шаткие понтоны опасно кренились: Репнин приказал пускать поболее народу.

— Потопит солдат! — рявкнул Петр.— Усердие не по разуму. Эй, Тихон,— оборотился он к стоявшему позади дежурному денщику.— Беги к переправе да остереги переправщиков моим именем. Вели пускать ровным строем — царь-де приказал.

Наглядевшись вдоволь на движение войска, удалились в палатку.

— Пиши за мной, потом исправишь, где корявость, отдашь перебеливать. Нынче же отправить.

«Светлейший князь... Ныне же оставить не восхотели есмы любезность вашу о милостивой нашей склонности и благом к вам намерении обнадежить, коль приятна нам была она ведомость, что любезность ваша, как скоро генерал наш фельтмаршал граф Шереметев с знатною частию кавалерии нашей в подданную провинцию вшел, обещание, которое вы по постановленному

договору нам учинили, презрительно исполнил: себя, оружие свое и войско к нам присоединил. Мы истинно... в том пребудем, что любезность ваша оные надежды не лишите, которую себя из сего в протекции нашу отдания воспринять уповаете, но чаемой плод и пользу с потомством своим совершенно получать и иметь со всею землею своею будете.

Что же принадлежит в войске нашем, и от любезности вашей прилежно желаем, чтоб не только помянутому нашему фельтмаршалу во учинении действий против неприятеля и в других случаях мудрыми своими советами помогать, но и о пропитании войска нашего, как того, что там, так и с нами идущаго главного, попечение иметь. И естли потребного хлеба ни из земель неприятельских и ни за деньги получить невозможно, то при оскудении хлеба войску довольно волами и овцами между тем, покамест... при вступлении в неприятельскую землю промыслить возможем, вспомочь и удовольствие учинить подтщитесь... Мы, как можем, поспешаем со всею нашею главною армеею в случение к вам. И ныне уже две дивизии пошли от Днестра, а утре и мы чрез Днестр перейдем в марш свой.

Пребываем при сем милостию нашею к вам склонный

Петр.

Из обозу от Сороки, июня 16 дня 1711.

Сладили письмо. Петр подписал, запечатали, призвали фельдъегеря с командой. И они поскакали по правому берегу Днестра, по всем сообщениям безопасному от татар.

Царь уселся наконец за шахматную игру с Феофаном. За игрой вызывал царь его на мудрования, ибо мудрствовал монах весьма затейно.

Феофан скептически относился к другому фавориту царя из духовных — местоблюстителю патриаршего престола Стефану Яворскому. И не преминул высказаться на сей счет. Да, учен митрополит, отрицать сего не можно. Однако же к царевым новшествам относится кри-

тично и их не одобряет. К примеру, весьма противился он царскому указу, коим всем вероисповеданиям в России была объявлена полная свобода.

— Указ сей привлечет разноязыкие народы к престолу вашего царского величества, а потому он весьма разумен, — горячился Феофан. — Тако соблюден государственный интерес. Митрополит же хочет поставить интерес церкви выше государственного.

— Посему я и патриаршество упразднил, что церковь норовила в дела государства мешаться и владыку духовного поставить над земным, — Петр назидательно поднял палец. — Власть в государстве над животами подданных принадлежит едино царю, а над душами — Богу. Православие от века главная наша вера, в том сомнения не было и нет, и таковой остается. Хулители его наносят стыд государству и не могут быть терпимы...

Петр охладевал к Стефану тем более, что доходили до него слухи, что митрополит не одобряет утеснения монастырских доходов, не одобряет и заточения Евдокии в монастырь, а стало быть, не благословит брака с Екатериной.

Феофан же входил в силу, как духовный мыслитель. И Петр привязывался к нему все более. Ему нравились мысли монаха об устройении церковного управления без патриаршего единовластия, но с владычного совету. Нравились рассуждения о власти монарха, единодержавии в государстве.

Сейчас, передвигая фигуру за фигурой, царь задавал Феофану заковыристые вопросы:

— В чем, полагаешь, Феофане, истинное блаженство состоит?

Резва была мысль монаха, с ответом он не медлил:

— Нет сомнения, что истинное блаженство состоит в том, в чем человек был подобен Богу и создан по образу и подобию его: так как Бог есть блаженнейший,

и нет в нем ничего такого, что не было бы величайшее благо...

— Шах тебе объявляю и гляну, как вывернешься.

— И царю не поддамся: спрячу короля своего за турус.

— Смело речешь, Феофане.

— Учен смелости от государя и повелителя своего, смиренный его выученик и раб, — без запинки отвечал Прокопович.

— Скажи-ка речь о любви к государю, — усмехался Петр, — пока я промыслю, как твоему королю конец учинить.

Феофан не помедлил. Передвинув фигуру в чайнии спастись от поражения, он начал:

— Когда слух пройдет, что государь кому особливую свою являет любовь, как все возмутятся, все к тому на двор поздравлять, дарить, поклонами почитать, служить и умирать за него будто бы готовы. Един службы его исчисляет, коих не бывало, другой красоту тела описует, хотя харя крива; тот выводит рода древность, хотя предок был харчевник либо пирожник. Льстивость сия охуднения достойна, ибо не заслугами питаема, а единственно надеждою на приближение к государю чрез любимца его...

— Шах тебе, златоустый, — перебил его царь. — Гляди веселей да бди!

— Закроюсь, государь.

— А тако кем закроешься?

— Ретируюсь.

— Гляди теперь — карачун твоему королю. Нету ему более хода.

— Не можно устоять против царя и великого князя московского и прочая, и прочая, и прочая, — Феофан поднял руки вверх, а затем быстрым движением положил ниц своего короля. — Так и султан турецкий, и войско его не устоят.

— А кто только что изрекал: льстивость охуднения-де достойна, — засмеялся Петр.

— Так то не льстивость, а святая правда. И да расточатся врази его!

— Благослови тя Господь, Феофане. Ловок ты и быстр умом. Быть тебе в моих советниках, — Петр поднялся и с хрустом потянулся. — Однако пришло время нам переправляться и далее поспешать. Меж тем охота мне крепость Сорокскую осмотреть, ибо зело занята она с виду.

Солнце клонилось долу. Днестровская быстротекучая вода играла множеством бликов. Царский обоз медленно продвигался к правому берегу. Петр пересел в карету Екатерины — для бережения.

Вода пахла рыбой и свежей травой. Река покачивала мост, словно баюкая тех, кто переправлялся. Наконец карета скатилась на берег, взрытый множеством копыт, колес и ног, и стала подыматься вверх.

Ворота крепости были предусмотрительно распахнуты. Царя и его свиту встречал комендант крепости, а по-тамошнему пыркэлаб.

Петр резво поднялся на башню, прошел по крепостной стене.

— Га! Нешто это крепость? — развел он руками. — Кого бы стала она оборонять и сколь гарнизону тут поместилось бы. Нет, это склад, магазин. Генерал Гешов станет складывать тут провиант и амуницию, словом, всякий припас, который сплавлен будет по реке. Для склада она и строена.

Становилось прохладно. На крепостной высоте свободно реял ветер. Селение у подножья крепости уступами взбиралось в гору. Крут был склон, в почти отвесном теле его темнели отверстия — пещеры, словно ласточкины гнезда. Солнце все снижалось и снижалось, норовя скрыться за дальними холмами.

Царь глянул вниз, на мост. Переправлялись гвардейские полки. Шли чинно, шаг в шаг. Пронзительно надрывались дудки, барабанщики отбивали такт, дабы шли веселей.

— Кто сию крепость возвел? — обернулся Петр и вопросительно глянул на пыркэлаба. Толмач перевел. Пыркэлаб — крупный черноволосый мужик с бегающими глазами находился в совершенном обомлении. Отвечая, он еле шевелил губами.

— Одни говорят, господарь Петру Ратеш, другие же — генуэзские купцы для хранения товаров, — пересказал толмач.

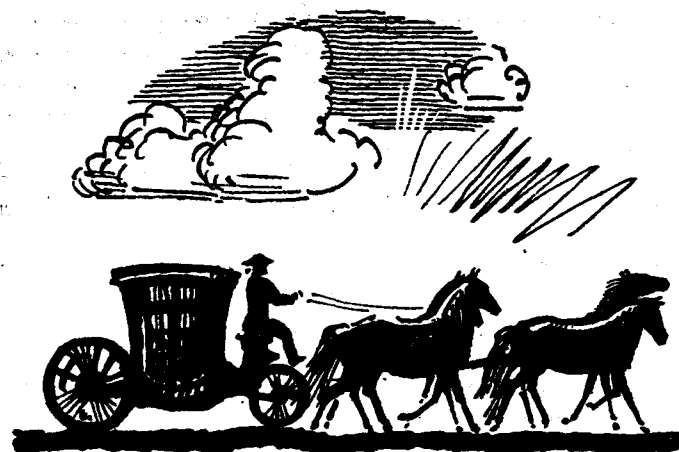
— Вот-вот, сие верно, — обрадовался Петр. — Как я и говорил. Пущай палатки разобьют под крепостными стенами — заночуем тут. А завтра, как развиднеется, продолжим путь.

...Обнял за холодавшую Екатерину, прижал ее к себе:

— Соскучился я, Катинька.

— А я-то, я-то, государь-батюшка. Каково мне, заброшенной.

И она, осмелев, прижалась к своему повелителю.



Глава одиннадцатая ПРЕСТОЛ И ВОЛЯ

Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

Книга Екклесиаста

Голоса: год 1711-й, июнь

Сенат — Петру

По указу вашего величества... соболей из Сибирского приказу на 10000 рублей в Посольский приказ сороками мы отпустили. Да писал к нам указом вашего царского величества господин граф Головкин, чтоб, купя 10 персон вашего величества ценою от 300 до 1000 рублей и больши, прислать

оныя к вашему царскому величеству в армию с нарочным добрым немедленно на нарочной почте. И мы по тому ево писму сыскали готовя вашего величества (миниатюры в золоте и алмазах) толко девять персон, а десятую делают...

Шереметев — Петру

Высокоблагородный г-н контра-адмирал... взятые языки сказывают, что неприятель конечно намерен итти к Выборху ради така. Однакож, когда соберусь со всеми войсками и оныя во всем исправлю, тогда оставлю здесь некоторую часть, с которою б оборонительно поступать, а з достальными пойду сам... О здешнем поведении доношу, что за поощию Божию, здесь благополучно и дела здешние по возможности отправляютца. Но токмо страшат нас пожары...

При сем поздравляю вашу милость нынешним торжественным днем рождения вашего... желая от всего мого верного сердца, дабы сподобил Бог вас и нас всех оной день с такою радостью.

Фома Кантакузин сюда своею персоною прибыл... токмо я пространной с оным конференции не имел, ибо оный желает вашу, царского величества персону видеть... И другой с ним прибыл, Георгий Кастриот, которой имеет инструкцию от господаря (Брынковяну), токмо оной еще с нами в пространной конференции не был, а частью видим, якобы один от другого опасетца... Сего числа приехал волох из Бендер и объявлял, что под Бендером турки зделали мост и якобы 6000 намерены переправитца на ту сторону Днестра и итти под Сороку.

Савва Рагузинский — Петру

Сего моменту сиятельнейший господарь Димитрий Кантемир писал ко мне со слезами, будто ваше величество мимо его изволил писать в Ясы к

митрополиту, дабы двор приготовил в Ясах к пришествию вашего величества, чего он сам с радостью и со всею фамилиею ожидал, дабы мог ваше величество в своем дворе увидеть и милость Божию и монаршескую получить, а не чернецы, которые во многих делах вашего величества не токмо дают способ, но с многословием препятие. Я всенижайше прошу милости... не инде где изволите стать, но во дворе его сиятельства господаря, и ни чрез кого иного никакого дела повелевать, токмо чрез самого сего господаря, которой сердцем и душою вашему величеству со всяким усердием служить желает... Також где мне и графу Фоме Кантакузину, Георгию Кастриоту и сиятельнейшему господарю повелите очи свои монаршеские увидеть, желаю милостивейшего респонсу...

Наваждение! Чистое наваждение!

Нахлынуло и завладело. И надо же: тогда, когда был он весь на виду, на людях, в походе. И жизнь была походная: шатер, палатка, карета, денщики, часовые, вестовые... Постоянно чьи-нибудь глаза, уши, носы... Чьи-нибудь — раздувшиеся от любопытства. Носы генералов, министров, канцелярских, лезущие в каждую дыру, в каждую щель. С докладами, доношениями, бумагами, письмами, прожеками...

Нахлынуло в самое, можно сказать, неподходящее время. Дорога — позади и впереди. Война — впереди. Турок и татар несметная сила — впереди.

Пришлось все в себе, что было сильного, стойкого, упрямого, непримиримого, выносливого, собрать и, укрепляя себя повсечасно, явить подданным всякого ранга.

А он, царь московский и всея Руси (и прочая, и прочая, и многая прочая), пребывал в состоянии умягченности, что было замечено и свитою, и прочими подданными. И виною тому — его новая супруга, уже ти-

тулуемая царицей, удивительная ее податливость, соразмерность, выносливость, понимание и сила.

Великая Женщина! С одной стороны, вроде бы и не следовало бы брать ее в поход — столь протяженный и столь тяжкий. С другой же — как бы он был без нее? Без ее рук, врачующих его недуги, как ни один из придворных докторов, без ее губ — тоже врачующих? Без ее податливого тела — одновременно и согревающего и остужающего?..

Как она умела его любить! Как умела ободрить! Слова тут непригодны, язык беден, ничтожен, разеваешь рот, словно рыба, вынутая из воды... И молчишь, молчишь. Задыхаясь от сладостной муки.

Отчего все это? Сказывают, близ сорока лет наступает у мужей любовное безумство. Видно, и его такое обуяло. И надо же — не к месту и не ко времени!

Шатер его царский, походный велел утеплить. Зимой и весной, ясное дело, для тепла. Ну, а в летние жары для прохлады. Более же всего, как теперь оказалось, для непроницаемости. Чтобы — упаси Бог! — ни звук, ни стон любовный не проникал наружу.

— Что же это, Катинька, со мною стряслось? Аlichtы меня приворожила, приворотным зельем опоила?

Счастливый смех был ему ответом. Лежали они нагие, и уж давно меж них никакого стыда не было... Была радость, безмерная и легкая, истомность как бы воздушная. Господь и ангелы его все небось видели и благословили. Ибо каждая истинная любовь им угодна. И нет в ней греха, а есть радость, одна только радость.

— Надобна я вам, государь-батюшка, и в походе и в дому, — отвечала она, невидимая за крошечной темнотой, ибо ни свет солнца, ни луч луны не проникали в шатер, а все светильники были погашены. — Надобна и для всяких утех любовных и иных.

Они видели друг друга без всякого света, ибо свет был у них внутри, в их сердцах, в их телах.

— Надобна, да, — тотчас согласился Петр. — Тебя сотворила матушка твоя аккуратно под моею звездой и по моей мерке, и ангелы Божьи привели ко мне.

— Не ангелы, а князь Алексан Данилыч Меншиков, — негромко рассмеялась она. — Пospел поздравить милость вашу с тезоименитством.

Упоминание о Меншикове кольнуло царя.

— Душно что-то, Катинька.

Спустил вниз длинные ноги.

— Давай облачимся. Выйти надобно. Забылись мы не ко времени.

Она покорно согласилась: была понятлива, уловляла все душевные токи своего повелителя. Как всякая истинно любящая женщина, была наделена острой чувствительностью. И дался ей князь Меншиков в такие-то минуты! Не к месту и не ко времени был помянут, истинно так. Экая неловкость!

Вечер пахнул сухими травами. Лагерные костры уже пылали вовсю. Протяжно перекликались неизвестные птицы. Небо медленно потухало, багрец остывал, оставляя желто-лимонную полосу.

— Ступай к себе, матушка, я с министрами должен потрактовать, — сказал Петр. — Заутра государь обещался — гонца прислал оповестить.

Так-то оно так, да только остудно стало отчего-то на душе. И в самом деле — время ли любви разводить. Потачки себе делает, распустил то, что должно в сих обстоятельствах смирять и в положенном месте удерживать. Впрочем, не он один. Генералы да полковники, а то и чином помене своих жен в поход побрали будто для обиходу.

Прежде любого неприятеля, прежде того же турка, должно себя победить! Снисхождение себе есть слабость. Трактовал о сем с Феофаном, беседа была как бы исповедальной.

— То не грех, ваше царское величество, а благодать, ниспосланная свыше, — без обиняков отвечал Феофан. — Ибо любовь есть чувство божественное. Родите-

ли Иисуса жили в любви, и Господь даровал им согласие. И все угодники Божьи были любвеобильны: любовь к Отцу Небесному сочеталась у них с любовью к женам своим. Всякой твари земной Бог любовь дарует, что же говорить о человеках.

Как всегда, утешил Феофан, был рассудителен и разумен — истинный проповедник. Однако Петр решил обуздать чувства, ибо наступали времена против бывших труднейшие, напряжение нарастало повсечасно. Твердил: «Петр есть камень, камень, камень! Отныне воля холодному уму, а не сердцу. Есть порог, его же не переступать».

Мудр Феофан, потому и не любят его черноризцы, завидуют: проповедническому дару, многоязыкости — в латыни, в греческом, в польском, в немецком преуспел. Решил: воротимся из похода, заставлю рукоположить его во епископы.

Министры стеклись, был полный сбор.

— Господа совет, предстоит нам завтра слученье с господарем Кантемиром, понеже он своей особою нам навстречу прибывает. Полки выстроить, седалища приготовить. Речи будем говорить: я, Гаврила Иваныч и Феофан на латыни. Поднести бы некую редкость.

— Персону вашего царского величества — чего уж лучше, — подсказал Шафиров. — Аккурат прибыли вместе с мягкой рухлядью.

— Вот-вот, — одобрил Петр. — И соболей до сорока: господа Сенат подладили.

— Много милостей оказали мы господам, — проворчал Головкин. — А что имеем?

— Более всего обещаний, — ухмыльнулся генерал-фельдцейхмейстер Яков Вилимович Брюс, известный чернокнижник. — Сколь уже издержали денег, мехов, пожаловано кавалерий святого великомученика Андрея Первозванного, а все покамест втуне.

— Да и обещания с каждою милей приближения нашего в сии пределы ровно высыхают, — почел нужным вставить Шафиров. — От небесного жару, — хихикнул

он. — Сколь много провианту обещано, а где он? На Москве капитан Прокопий, посланец господаря, трактовал со мною о тридцати тысячах конницы...

— Записано то было, — подтвердил Головкин с охотой. — Ныне же речь ведут о пяти тысячах.

Вспомнили и об обширных обещаниях господаря Брынковяну, ныне замолкшего. Обещания таяли по мере приближения российской армии к пределам княжеств, к театру военных действий. А ныне, когда войско перешло Прут, и вовсе растаяли.

Царь молчал, ждал, пока все выскажутся. А их всех словно бы прорвало: тяжкие переходы, возрастающая убыль в людях, умножающееся число больных, ополовиненный солдатский котел, летние жары... Неужто и союзники ненадежны? Выходит, так.

— Вот что, господа совет, — хмуро произнес Петр, — надобно жить верою в то, что предназначенье наше исполнится. Завтра торжество, надеюсь, его не омрачат сомнения. Я князю Кантемиру склонен верить. Ныне ему отступу нет. И что может, то он и исполнит. Да и нам с вами дороги назад нет. Укрепим дух свой и положимся на милость Божию.

«Да, князю Кантемиру отступу нет — он приперт российским войском в собственной столице, — размышлял Петр, когда совет был отпущен. — Теперь и турок о том сведан, что он нас принял и навстречу вышел, — предаст его мучительной казни. Затеявая тайные сношения со мною, понимал, что приход наш неотвратим. Полтава многих вытрезвила, и ныне с боязливостью глядят на нас. Господарь же Брынковяну приумолк и пособления более не сулит. Оно и понятно: визирь у него под боком, а мне его покамест не достать. Ждет: кто возьмет верх — визирь али я. Тогда и к победителю пристанет. Да и Кантемир погодил бы до исхода, да уж мы тут.

Жалко их: нету у них ни силы воинской, ни отважности, более всего страшна им немилость султана. Дорого, сказывают, плачено ими за господарский трон:

турок ничего даром не дает, а все норовит поболее забрать. Опять же раздоры, зависть меж бояр и господаря. Ровно как у нас. Везде власти домогаются, ищут у государя чести да прибытку... Поглядим, каков он, господарь Кантемир. Говорят, великой учености персона — мне то по сердцу, стало быть, человек достойный...»

В четыре утра, чуть забрезжило на востоке, царь был уже на ногах. Легкий туман зыбился над спящими деревьями, над рекою, над лагерем, обозначенным тлеющими костерками. Время от времени протяжно перекликались дозоры. А за рекой монотонно, как по часам, скрипел коростель: скрип, скрип, скрип.

— Вставай, матушка государыня, — Петр наклонился над постелью — пришлось сгibasь чуть ли не вдвое — и чмокнул Екатеринину теплую щеку. — Вставай да нарядись как должно царице: на смотрины едем.

Екатерина потянулась, зевнула, еще вся во власти сна, не вполне понимая, что от нее требуется. Потом быстрым движением откинула покров, соскользнула на ковер и прильнула к Петру жарким ото сна телом, целуя его в щеки, в губы, в глаза. Она уже освоилась со своим положением царицы и позволяла себе вольности, о коих страшилась прежде и подумать.

— Полно, матушка, полно, поторопись.

— Господин мой великий, не осрамлю царского величества, кликну девок, они меня живо вырядят.

Спустя час лагерь ожил. Свита была на ногах, ждали приказов государя. Петр было заколебался: в каком наряде предстать пред господарем, но тотчас решил: в преображенском мундире. Да и можно ли иначе?

Вскоре царский кортеж был уже на правом берегу Прута и неспешно подвигался к Яссам.

Солнце выкатилось из-за горизонта, и мало-помалу все окрест окрасилось в блеклые пока еще цвета дня, заблестало мириадами росинок на листьях, на траве, словно бы и сама природа готовилась к торжеству и предвкушала его.

Вот вдаль показались массы войск в пешем строю, группы всадников, кареты. Их ждали... И стоило им приблизиться, как гулко раскатилось русское «ура!» и заиграла полковая музыка.

Российская инфантерия под предводительством генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева встречала своего государя. Встречала восторженными кликами, музыкой, пушечной пальбой.

Навстречу кортежу царя подвигался господарь Дмитрий Кантемир. Он и бояре были верхами. Конь нервно перебирал ногами — великолепный арабский скакун, Кантемир сидел в седле точно влитой, и Петр невольно залюбовался им и живописной группой.

В дюжине шагов Кантемир с необычайным проворством и даже изяществом соскользнул с коня и пошел навстречу царю. Оба с любопытством вглядывались друг в друга.

Господарь был в пышном одеянии, напомнившем Петру одеяние турецкого посла. Вершиною его была высокая, как бы боярская шапка, увенчанная султаном. В нескольких шагах от него шествовало княжье семейство в полукольце бояр.

Вот они сошлись, и Кантемир преклонил колено. Он был малого роста, а когда обнажил голову, оказался чуть ли не по пояс царю.

Петр был умилен и сего не мог скрыть. Повинуясь порыву, он обнял господаря и, легко приподняв его, трижды, по русскому обычаю, поцеловал, все так же держа на весу.

Начались представления: бояре, министры, княгиня Кассандра и царица Екатерина, наследники и наследницы. Княгиня держала на руках двухлетнего младенца Антиоха, родившегося в Царьграде. Кто мог предположить, что со временем он станет гордостью российской словесности. Феофан обменялся с Кантемиром речью на латыни, на латыни же, великим знатоком которой был Кантемир, писавший на ней свои сочинения, возглашал чернец имена и звания...

Господарь нравился Петру все больше. Несмотря на малый рост, было в нем нечто истинно княжеское, повелительное. Чувствовалось это и по тому, как подходили к нему бояре, они же, как оказалось, и министры его двора.

Кантемир был человек великой учености, успевший сочинить несколько книг. Он владел множеством языков, турецкий был как бы родным. Родным был и греческий — обиходным в семье. А валашский служил для общения с боярами.

Под приветственные возгласы и непрерывную пушечную пальбу союзники стали обходить строй российских войск. Шереметев с генералами вышагивали сбоку.

В глазах своих офицеров и солдат царь читал ожидание, надежду, преданность. Но чего они ждали? Битвы? Истомились в долгом походе, долгом и трудном, от худой пищи, от неопределенности, тяготившей более всего.

Войско призвано воевать, а не тащиться сотнями и тысячами верст под солнцем и дождем, в любую непогоду, в ожидании встречи с неприятелем и генерального сражения. Сражения, которое призвано решить судьбу всех: и начальников, и их солдат, даже самого царя и султанского визиря. Сам султан тем временем предается великим радостям в своем гареме, где у него, скаывают, четыреста пятьдесят наложниц.

Войско осталось в поле: уж которые сутки оно дневало и ночевало в поле под Яссами. Гости и хозяева отъехали в столицу княжества. Царь с царицей, Феофан с Макаровым поместились в господарском дворце, остальных развезли по конакам бояр, порою мало чем уступавшим княжескому.

Благодарственный молебен служили в Трехсвятительской церкви. То было чудо рук человеческих во славу Божию. Царь в городах чужестранных бывал, российские храмы ведал — один московский храм Покрова-на-рву дивным дивом возвышался. Но столь искусным каменным художеством был заворочен.

— Кружево, чистое кружево! Экий труд волшебный. Кто ж такое сотворил? Что за мастера? Сколь долго трудились?

— Армянские камнерезы, — отвечал митрополит Гидеон. — Будто главного их мастера звали Етиз. Вроде бы в пять лет подняли храм.

— Нам бы таких искусников заполучить! — со вздохом произнес Петр. Он был жаден до всякого художества, приветчал мастеров, всяко отличал их. Жадность эта с годами росла: хотел Парадиз украсить так, чтобы было всем европейским столицам на зависть.

— Разведай, Феофане, допроси владыку с пристрастностью. Можно ли тех мастеров где сыскать и контракт с ними учинить. Хоть и давно это было, однако же преемство столь славного каменного узорочья не могло пропасть. Чрез детей и внуков сохранилось.

Увы, митрополит Гидеон, духовный владыка княжества, ответить на царские вопросы не смог, ибо принимал все, как есть, каким досталось, и художника от ремесленника не отличал, считая, что все равны перед Богом и церковью.

Петр и раз и другой обошел церковь, сопровождаемый толпой духовных и бояр, трогал лепестки каменных цветов, бормоча: «Эко диво». С резных порталов глядели рога́тые головы туров, во все стороны разбегались пояса причудливых орнаментов, не повторявшие друг друга.

Царь подозвал Савву Рагузинского, знатока и добытчика.

— Сыщи-ка мне подобных камнерезных художников. Сказано: из армянских они краев.

Рагузинский пожал плечами, но ответил как должно отвечать государю:

— Приложу все старания, ваше царское величество.

В его родной Рагузе, она же Дубровник, было не мало каменных дел мастеров. Они ставили хоромы на манер итальянских, клали крепостные стены и башни.

Однако в резьбе по камню, сколько он помнит и знает, не преуспели.

Митрополит Гидеон отправлял службу по-славянски.

— Меч излей, Господи, и заключи всех сопротивных ныне и на ны борющихся врагов: побори враги крепостию молитвы Твоея. Ибо Христос наша сила. Студа наполни вражия лица, и многого бесчестия и срамоты: и да возвратятся вспять... Господи Боже милости, укрепи царя и господаря земли сей непоборимою Твоею и непобедимою силою: воинства же сего укрепи везде и разруши вражды и распри восстающих на державу его...

Петр глядел рассеянно. Его продолжало занимать каменное узорочье. Есть ведь в неких краях таковые дивные мастера, есть. Вот бы их добыть и представить в Питербурх. Чтобы сработали нечто, подобное этой церкви на зависть и удивление иноземным гостям. Что-бы вот так же ходили, задирая головы, и дивились...

Страхнул с себя наваждение, встрепенулся и попросил Феофана:

— Сведай у господаря, где ноне визирь.

Отвечая, Кантемир успокоительно поднял ладонь.

— Князь говорит, что турок еще не подошел к Дунаю, — перевел Феофан.

— Ни черта они не знают, — буркнул Петр. — Скажи: надобно торопиться, не то визирь нас опередит. Зови князя на совет, он ныне главный докладчик.

Кантемир держал речь. Следовало, полагал он, как можно быстрее двинуть полки за Дунай и Серет. Там, за Серетом, турок содержит свои главные провиантские склады. Его лазутчики донесли: те склады худо охраняются и их легко захватить и разжиться провиантом. Здесь же, во княжестве его, и урожай не удался, а что уродило, то саранча пожрала.

«Все мастера разговоры разговаривать и резоны разводить, — раздраженно думал Петр. — Топчемся на месте, парады разводим, а турок подступает». Заговорил:

— Все едино опередить визиря по сухопутью мы не успеем. Разве что отрядить кавалерию, дабы склады те с налету захватить. Возьмешься, Рен?

— Как повелите, ваше царское величество, — с готовностью отвечал генерал Ренне — один из самых надежных. Его конный корпус был боевитей остальных.

— Коли так, то с Богом, — напутствовал его Петр. — Князь Кантемир отрядит сопровождающего.

По словам Кантемира, задача была ясна: корпусу надлежало захватить Браилов — базу снабжения турецкой армии.

Совет был прерван появлением двух человек. Судя по тому, что они были беспрепятственно допущены в покои господаря, их здесь знали. Вид у них был истомленный, лица обветренные, одежда в пыли. Видно, они только что достигли Ясс.

Господарь и бояре встали, приветствуя их. То был князь Фома Кантакузин — ближний боярин господаря Брынковяну и спатарь тамошний Георге Кастриот.

Явление их было многозначительно и породило многие надежды. Не отложился ли господарь Брынковяну от турка, не снарядил ли он вспомогательное войско, как обещался, не отгрузил ли обозы с провиантом?

Оказалось, оба пришлеца прибыли порознь: Кантакузин попросту бежал — покинул княжество в знак протеста против двоемыслия господаря, сочтенного им вероломством. Брынковяну, по его словам, вовсе не собирается ни ладить провиант, ни тем паче снаряжать войско. Он турецкий заложник: чада его в Царьграде и он опасается за их жизнь, ежели турки прознают об его сношениях с царем...

Кастриот же прибыл с официальной миссией. Весть, которую он привез от господаря, поразила всех как громом. Султан-де склонен остановить войну и приказал великому визирю Балтаджи Мехмед-паше снестись с патриархом Иерусалимским Хрисанфом, дабы тот передал это русским. На сей счет и был заготовлен хатт — грамота, которую вручил ему господарь. Прика-

зано передать сей хатт предводителю русского войска. Оказалось, туркам известно, что во главе его — сам царь Петр.

С этими словами Кастриот достал из-за пазухи свиток со свешивающейся печатью красного цвета и подал его Кантемиру. Кантемир развернул его, пробежал глазами и отдал Петру.

Турецкое его содержание в точности соответствовало сказанному Кастриотом. От имени султана великий визирь Балтаджи Мехмед-паша предлагал русскому сержанту Шереметеву остановить движение и повернуть войско вспять. То же сделает и он, визирь. А затем следует повести переговоры между ним и первым министром царя о возобновлении мира между двумя монархиями.

Воцарилось молчание. Что это? Военная ли хитрость либо боязнь поражения и стремление избежать его?

У султана и визиря под боком такой непримиримый советник, как король Карл, мнением которого они дорожат. Ясно: с ним не советовались — он ни за что не одобрил бы этот хатт, просто костыли бы лег, дабы не допустить мирных переговоров. Карл мечтает взять реванш за Полтаву, и эта война предоставляла ему такую возможность. Тем паче что турецкое войско — королю это было доподлинно известно — втрое превосходит русское. Разве Карл мог бы упустить столь верный шанс? Наверняка он загодя составил план генерального сражения и разгрома русских. Наверняка он рисовал себе картины стремительного бегства царя Петра с поля битвы, подобные тем, которые довелось испытать ему...

Все это промелькнуло в голове Петра — о несметном турецко-татарском войске, о мечтаниях короля Карла, о лишениях, которые претерпевает его армия... И предчувствия были, и дурные сны... С такой неохотой отправлялся он в этот поход, так подсиживали его многие недуги, худые дороги и худые союзники вроде короля Августа да и иных...

Союзников, по существу, не осталось. Разве что князь Кантемир, который в лучшем случае мог выставить пятитысячную кавалерию да пригнать сколько-то скота.

Август, Брынковяну, сербы и черногорцы — все отложились. Счет не в пользу царя. И коли эта турецкая грамота правдива, она открывает путь к почетной ретире.

Но сколь всего потеряно! Людей, коней, добра! Сколь много усилий потрачено втуне!

А ежели турецкая грамота есть военная хитрость? Турок вероломен. И его законы, его священная книга велят обманывать и сокрушать неверных...

Что думает по этому поводу мудрый князь Кантемир? Ему ведомы законы мусульман, их шариат. Царю докладывали, что господарь превзошел в знаниях самих магометанских законовевов.

Кантемир затруднился с ответом. Верно, шариат — мусульманский закон — велит не щадить неверных, но обратившихся, уверовавших в Аллаха и пророка его Мухаммеда, ниспославшего правоверным священную книгу Коран, почитает за своих, достойных милосердия и милостей...

— Стало быть, мы ихних милостей не достойны, коли не обратились, — жестко произнес Петр. — Сие не совет и не ответ. Жду от господ министров и генералов слова.

Молчали. Молчание становилось тягостно.

«Экая досада, — думал Петр. — Велик соблазн поверить, согласиться, вступить в переговоры».

Велик! Изнемогли все от долгого пути и лишений. А ежели турок заробел, ежели страшится бою? Ежели в его войске смятение и ропот, что столь часто бывало? Однако быть того не может: ведь от самого султана указ идет. Отчего же султан застрашался? Может, духовники магометанские отговорили его: много-де риску. Опять же война великих денег требует: деньги суть артерия войны, он, Петр, не устает это твердить.

Первым заговорил канцлер Головкин — положение обязывало:

— Опасаюсь, ваше царское величество, дабы мы не угодили в турецкую западню. Не верю я турку, нет. Коли захотел бы он истинно замирения, прислал бы переговорщиков своих, не простых, а сановитых. А так... — и он, не договорив, махнул рукой.

Головкин задал тон. Все оживились.

— В самом деле, государь; коли бы серьезно — прислал бы визирь депутацию по всей форме, — поддержал канцлера Феофан Прокопович. — Отрицаю сию хитрость и отвергаю, дабы не дать неприятелю сердца.

— Слово Феофане наваяно свыше, — заключил Петр. — Не дадим неприятелю сердца, не ввергнемся в соблазн, не вложим меч в ножны. Как станем вести кампанию далее?

Князь Кантемир, чувствовавший неловкость после своего достаточно неопределенного выступления, как оказалось, имел в запасе развернутый план. Главным силам надлежит безотлагательно скорым маршем двинуться по правому берегу Прута до урочища Фальчи, дабы опередить неприятеля. За урочищем лежат непроходимые болота — турок туда не сунется. А тем временем войско, идучи по лесным дорогам, достигнет Серета, соединится близ Галаца с кавалерией генерала Ренне и, вдоволь запасшись провиантом и фуражом, имея в избытке того и другого в магазинах, почнет поиск армии визиря для генерального сражения.

— Зело гладко, — промывчал Петр, когда ему перевели речь князя. — А что же визирь — неужели станет топтаться на месте?

— Российское войско зайдет в тыл визирю, — пояснил Кантемир. — Ибо марш, о котором я говорил, будет скорым и скрытным. А находясь в столь выгодном положении, сможет навязать визирю свои условия.

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев поддержал план господаря. Странствия с армией по лесам не улы-

бались ему, однако же он тотчас оценил выгоды такого марша — в стороне от турок. Правда, как донесли разведочные пикеты, татары рыщут повсюду, распространились повсюду и турецкие отряды. Но вполне возможно, что столь далеко они не досягнут. И тогда он с главными силами обойдет визиря, споможет и князь Кантемир со своими конными молдаванами — отвлечет некую часть турок на себя. И тогда он, Шереметев, ударит визирю в тыл.

Господарь поспешил дополнить свою речь:

— Прослышав о том, что я со старою нашею передался вашему царскому величеству, визирь, несомненно, пойдет на Яссы, дабы город разорить и меня изловить. Посему надо спешить, чтобы обойти и опередить его намерения. Здесь же, на подступах к Яссам, поместить ударный корпус для отражения нападения и одновременно для устройства магазинов.

Мыслили все ровно с князем, и план мало-помалу сложился. «Сколь раз говорено было, что надобно поспешать, а все топчемся на месте, — думал Петр. — С черепашьей медленностью и неуклюжестью разворачиваемся. А ну как некую хитрость замыслил король Карл в противность плану Кантемира? Этот может придумать нечто такое, что опрокинет нашу силу — он полон яда, полон злобы, полон мести. И вдобавок застоялся, как резвый скакун в нелюбезном стойле. Жаждет скачки — дела, денно и ночью обмысливает его в своем убежище».

— Доносят ли конфиденты наши о главном шведе? — спросил царь. — Каково король злобствует?

— Его высочество господарь более всего об этом сведом, — отозвался канцлер.

Кантемир охотно подтвердил. Его люди были в Бендерах и округе, пользуясь тем, что тамошний сераскер считал их своими и никаких препятствий не чинил до самого последнего времени. Карл окопался в сельце Варнице под защитой крепостных стен. Но говорили,

что при приближении российского войска король со всеми своими шведами приготовился отбыть на юг, в крепость Аккерман, что переводится с турецкого как «белая крепость». Отбыл ли — о том не доложили. Ни султан, ни паша Бендер его уж не хотят: проку-де от него никакого, а расход великий. А уж беспокойства сколько — паша жаловался весною ему, Кантемиру, что король вечно всем недоволен: и почестей ему мало, и провиант худой, и людей скудно продовольствуют, и материалу на строительство не дают.

— Охота ему меня побить, — засмеялся Петр. — Да токмо руки коротки. Он еще себя окажет — турка плакать заставит, вот увидите. Эх, славно б было, коли удалось бы нам его захватить! Как думаешь, Борис Петрович?

Шереметев наморщил лоб. А потом осторожно проговорил:

— Сию операцию надобно со тщанием готовить. До-прежь сего разведать место, повадки королевские, сколь народу его охраняет. Предвижу: немалая сила на то потребна. Стоит ли Карл того, государь?

— По мне, так стоит, — отозвался Петр. — Сильно воду мутит, война по его наущению затеяна. Давай обдумаем, Борис Петрович.

Шереметев неохотно согласился. Риск был велик, а успех весьма не ясен.

Неожиданно подал голос дотоле молчавший Фома Кантакузин. Кастриот опасливо глядел на него, как видно ожидая подвоха: князь этот славился своей строптивостью и перекорством.

— Король шведский есть неприятель испытанный, — обратился он к Петру, — только не объявился бы иной неприятель — нежданный: господарь наш Брынковяну. Ему надо частицу российской силы послать для укрепления духа. Коли будут в Бухаресте либо близ него русские полки, он тотчас перестанет колебаться и передается на вашу сторону.

Царь одобрительно кивнул — это представлялось важней, нежели изловление Карла.

— Кого пошлем, Борис Петрович?

Шереметев снова наморщил лоб, мясистые складки от умственных усилий приметно двигались. Наконец он изрек:

— Полагаю, государь, бригадира Луку Чирикова — он есть надежен, с четырьмя полками довольно будет.

— С Богом, — тотчас согласился Петр. — И князь с Кастриотом к нему пристанут.

Кастриот был старый знакомец: не раз посылал его господарь Брынковяну на Москву в исшедшем годе. Полтава многих единоверцев одушевила на свержение османского ига. Уповал на руку Петра и господарь. Желал тесного союза, заверял в верности и сулил всякую помощь. Манил и союзом с другими единоверными народами, был чистосердечен в своих порывах. Иначе зачем бы ему засылать послов: слишком велик был риск. Турки вырубали под корень тех, кого подозревали в измене — целыми семьями.

— Помилуй, государь-царь, — взмолился Кастриот. — Посылал меня господин мой с уведомлением о мире, чаемом визирем. Как явлюсь перед ним с пустыми руками?

— Сочинять ли бумагу? — обратился Петр к Головкину: канцлер был главою дипломатической части и царь не желал умалять его.

— Нет нужды, — нимало не медля, отрезал канцлер. — От визиря по столь важному делу депутации не пущено. Стало быть, не всерьез турок писал.

— Хитрость это, хитрость! — поддержал его Шафиров.

— На словах выскажешься, — сказал царь Кастриоту. — Все, что было тут говорено, слышал. Князь Кантакузин подтвердит, бригадир Чириков припечатает.

Все заулыбались, не исключая и Кастриота.

— Заутра смотр войску перед маршем, — закончил Петр. — И чтоб начальники приготовились к оному по всей форме.

Петр остался с господарем Кантемиром. Он все более и более нравился ему. Нравились его речи, исполненные истинного знания дела. Нравились его осанка и великолепное владение конем. Чувствовалось, что он не мало времени провел в походах, знал толк в воинском деле, не робел и перед будущей своей участью — верил царю.

Толмачом был Феофан. Все, что Петр недобрал в познании княжеств, их устройства, обычаев и нравов, равно и в познании Османской империи и турок, он восполнял в беседах с князем. Он говорил по-турецки как природный турок и знал священную книгу Коран лучше, чем любой мулла. Кантемир был истинный столп учености, и книги, написанные им, ценились повсеместно.

Петр расспрашивал его с присущей ему дотошностью, хотел знать как можно больше.

— Что есть Коран?

— Коран — священная книга, ниспосланная Аллахом его пророку Мухаммеду. Достойная книга со множеством пророчеств, учительных речений — ясных и смутных...

Кантемир на мгновение замолк, как бы подбирая слова. О священной книге должно было говорить с почтением, но и с искренностью, не утаивая истины. Он продолжил:

— Но... Я бы сказал, что Мухаммед почитал основанием библейскую мудрость. Оттого в Коране отдана дань Исе — Иисусу с Богородицею Марией-Мирриам, Аврааму, Исааку и Якову, Ною, Мойсею, Иосифу, пророкам, равно и библейским притчам, и Евангелию. Немудрено: Библия ниспослана людям на много веков ранее Корана и распространилась по всему Востоку. Мог ли пророк не знать ее и не почитать.

— Господь един, — заметил Петр. — И его истины, ниспосланные людям, что в Библии, что в Коране должны быть едины. Прав ли я?

— Совершенно так, государь, — согласился Кантемир. — Обе священные книги призывают жить по справедливости. Но ислам порою стремится утвердить себя огнем и мечом. Писано ведь в Коране: «И сказали иудеи и христиане: «Мы — сыны Аллаха и возлюбленные Его». Скажи: «Тогда почему Он вас наказывает за ваши грехи?» Нет, вы только люди из тех, кого Он создал». Или еще: «А кто не уверовал в Аллаха и его посланника... то мы ведь приготовили для неверных огонь».

— Ежели по справедливости, — после недолгого молчания сказал Петр, — то огонь для своих неверных уготовляют и христиане. И все-таки Бог един. Токмо всяк язык называет его по-своему: Аллах, Саваоф, Яхве или еще как. А земля наша есть смешение языков. Молись Господу и не преступай установлений его. Церковное же свирепство есть самое последнее дело. Огонь и всяческие казни ждут человека в аду. А коли на земле существует мучительство, на то воля владык земных.

Царь распалился, короткие усики его нервно подергивались, морщины на лице стали резче. Отчего так взволновался он? Неужто причина его волнения в последней сказанной им фразе и он сознает себя одним из мучителей земных?

— Ступай за царицей, — шепнул Феофан Макарову, сидевшему в стороне. — Кажись, припадок накатывает.

Екатерина явилась без промедления. Только она была в состоянии утишить припадку царя. Не робея ни перед кем, обхватила Петра сильными своими руками — ровно спеленала. А когда он притих, стала поглаживать его словно дитенка, приговаривая:

— Не гневайся, не огорчайся, царь великий и мудрый, наш государь-батюшка, остуди сердце свое. Все-то пред тобою склоняются, славою твоею покоренные...

Где брала она эти слова, эти движения, эту распе-
ность, эту ласку? Откуда черпала эту силу, врачующую
и исцеляющую?

Кантемир, Феофан и Макаров глядели и слушали,
заороженные, колдовские эти причитания. И быть мо-
жет, дивились. Чистая ли то сила либо нечистая вложи-
ла это чарование в руки, губы, уста простой ливонки?

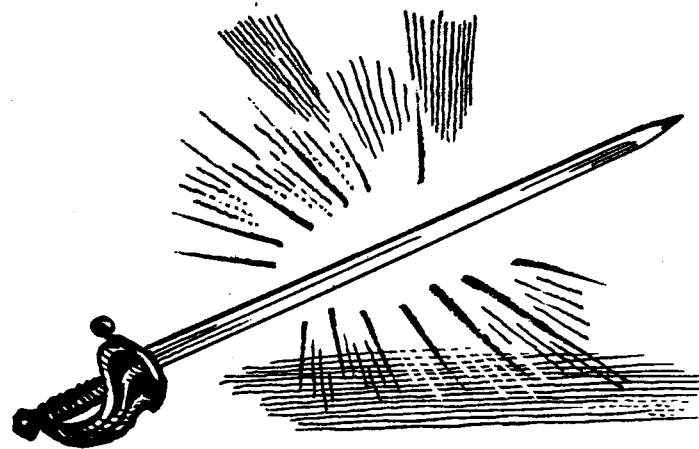
Так прошло полчаса. Царь очнулся, приподнялся,
сел. Екатерина разняла руки.

— Опамятовался, царь-батюшка. Слава Господу,—
сказала она все так же распевно.— Подоспела я, раба
твоя, вовремя.

— Заутра смотр войску и выступление,— осторожно
напомнил Макаров.— Как распорядитесь, государь?

— Чтой-то вы ровно при покойнике примолкли,—
вместо ответа заметил Петр, прислушиваясь.

За окнами господарского дворца слышалась русская
полковая музыка.



Глава двенадцатая

ТЯГУЧИЕ ДНИ БЕЗВЕСТЬЯ

Разве они не ходили по земле
и не видели, каков был конец тех,
кто был до них? Они были мощ-
нее их силой, и взрыли землю, и
заселили ее больше, чем заселили
они. Пришли к ним их посланни-
ки с ясными знаменьями. Аллах
не был таков, чтобы их тиранить,
но они сами себя тиранили!

Коран, сура 30

Голоса: год 1711-й, июнь

Петр — Меншикову

...О здешнем объявляю... Марш наш был с неска-
занным трудом от жару и жажды, о чем скажет
наш присланный Полянской, яко самовидец как сего

пути, так и зело возделенного приему нас от гос-подаря волоского и прочих сей земли. Мултянской гетман Кантакюзин сюда прибыл с таким же обна-деживанием, что все они готовы, толко что-нибудь войска к ним послать... куды не мешкав отправлен генерал Рен с оным гетманом. Турки перебрались чрез Дунай на сю сторону, а мы надеемся к Дунаю около десяти дней стать. И чаю, около половины июля все окажется: даст ли баталию или нет. Бо-же, дай милость свою правым в сем деле. Про ту-рок сказывают, что будто не зело охочи на сию войну, а подлинно Бог весть. Артиллерию великую имеют, а имянно пятьсот пушек.

Петр — Шереметеву

...Командир Волконской глуп, а дело сие немалое, того ради изволь приказать оную команду Луке Чирикову, которого для лучшего приказу в том де-ле пришли к нам с Рагузинским в Ясы.

Лука Барка, драгоман посольства Англии в Царь-граде, тайный конфидент России, — Головкину

...Войско азийское почитай все пришло... и за ве-ликий стыд себе почитают турки видеть такое войско, ибо народ плох, ободран, без ружья и от далекого пути утомлен и затем на войну без сер-дца идут... Хотя войско турецкое есть многочис-ленно, однакож торопко, нерегулярно, без голов ум-ных, которое войско не имеет боязни ни от везира, ни от других офицеров.

Султан Ахмед III — каймакаму Мехмеду Челеби

Раз шведский король пришел в землю хранимого государства (Османской империи. — Р. Г.), то до тех пор, пока он здесь, мы будем его поддержи-вать. Если суждено с Москвой быть миру, то за-

ключая мир, мы заключим его вместе, и если пона-добится война, то мы будем вести ее вместе.

Князь Репнин — Петру

Премилостивейший царь-государь. Вчерашнего числа дан мне указ, дабы мне з дивизиею марширо-вать сего числа поутру... Еще ж вашему царскому величеству покорно доношу. Которую скотину веле-но дать дивизии моей для салдат, и оной скотины я еще не получил. А у салдат хотя правиянт и есть, токмо против указу вашего царского вели-чества даем им вдвое ради того, что мяса не име-ют, и в том правиянту есть убыток. Покорно про-шу ваше царское величество, дабы изволили при-казать салдатам дать скотины или денег против других дивизей, чтобы я мог для салдат скотины купить.

— Попадись мне это нечистое животное, этот гяур и сын гяура, я бы сначала отрубил ему правую руку, которой он подписывал все свои подлые бумаги, потом левую — ее он прикладывал к сердцу изменника, потом ноги — одну за другой, — которые привели его к царю, и голову, голову, где замышлялась и гнездилась из-мена...

Крымский хан Девлет-Гирей, произнесший эту тира-ду, метался из угла в угол как разгневанный барс. Смуглое лицо его потемнело от гнева. Глаза были рас-ширены и метали искры.

Его собеседники — великий визирь Балтаджи Мех-мед-паша, главный советник Осман-яхья, доверенный секретарь Омер-эфенди и два Юсуфа — янычарский ага Юсуф-паша и новоиспеченный паша граф Понятовский, окрещенный для простоты тоже Юсуф-пашой, — воссе-дали, поджав ноги, в просторном шатре визиря и молча внимали гневной тираде хана.

Его ставленник, обязанный ему господарским престолом, до недавнего времени вызывавший в нем неподдельное восхищение своей удалью, сочетавшейся с мудростью и великими познаниями, Димитрий Кантемир передался на сторону русского царя. Это он, Девлет-Гирей, спросил ему княжество у султана, убедив владыку владык, что его кандидат — достойнейший из достойных и вернейший из верных. Теперь султан гневен, и хану придется держать ответ...

Как назло, неприятности сыпались на него одна за другой. Вышли из повиновения ногаи и подняли мятеж, грозя отложиться от ханства. Братья Каплан-Гирей и Гази-Гирей зарились на престол и плели интриги. Партия их умножалась, и он подумывал о том, чтобы отрубить головы — пока не братьям, нет, а их главным сторонникам. Братья свое получают. Со временем.

Теперь эта война и измена Кантемира. Змея меняет кожу, а не душу. Не разглядел естества, пригрел змею... И она ужалила. Не смертельно, неожиданно подумалось ему. Укус болезнен, долго не заживет. Выкричался в гнев и теперь думал о мести. Мысли были, впрочем, вялые.

Кантемир умен, очень умен. И хитер — его теперь вряд ли достанешь. И как еще обернется эта война с русским царем. Аллах велик и милостив к верным, но захочет ли он наказать русских. Они разбили короля шведов, а его почитали непобедимым...

Более всего опасался хан немилости султана. Немилость же его непредсказуема и страшна. Селим-Гирей, отец хана, кладезь мудрости и опыта, говаривал: страшен гнев Аллаха, но еще страшней гнев султана.

Истинно так: гнев султана означал верную смерть. Жертве либо отрубали голову, либо подвергали мучительнейшему концу — сажали на кол. В лучшем случае присылали шнурок — впавший в немилость сам избирал себе способ казни. Хану мерещился шнурок, и он невольно поежился.

Заметив это, визирь успокоительно молвил:

— Доблестный хан и сын всемогущего, любимец владыки Вселенной, умерь свой гнев, ибо гнев омрачает разум и движет неразумными поступками. Сказано в Коране: Аллах не ведет прямым путем того, кто лжив, неверен. Отмщение настигнет его, ибо изменник не остается без кары. Так сказал пророк. А теперь сообщим вам то, что донесли твои разведчики.

— Русский царь в Яссах вместе с изменником, чье имя я не хотел бы произносить, да покарает его Аллах. Возле Ясс и войско царя. Сколько у него воинов, не могли счесть, но они хорошо вооружены. Конных меньше, чем у нас, часть их отправилась куда-то, мои люди не успели проследить. Скорей всего, наперерез нашим передовым отрядам.

— Это все, что ты мог нам сообщить? — с едва уловимой усмешкой произнес визирь. — Должен тебя огорчить: я знаю о русских больше. Воинов у царя, по крайней мере, вдвое меньше, чем у нас, а пушек — втрое меньше. Но воины его хорошо вооружены и умеют воевать. Они лучше обучены. — И визирь невольно вздохнул. — Победа над королем шведов исполнила их уверенности. А уверенность, как всем известно, открывает дверь к недоступному.

— Уверенность — это почти победа, — заметил Понятовский. Он не мог промолчать, услышав про Полтаву. — Начальники должны твердить воинам пророка, что они сильнее русских, много сильнее. Но больше всего должны стараться муллы. Именем Аллаха и Мухаммеда твердить это пять раз в день во время молитвы. Твердить не уставая. Войско-де султана непобедимо, стоит ему показаться, и русские в страхе побегут...

Как видно, Балтаджи Мехмед-паша так не думал, потому что он невольно хмыкнул. И Понятовский понял, что сказанного достаточно. Если хан был настроен воинственно и выражал готовность напрямую сразиться с царем, то визирь, похоже, к этому не очень-то стремил-

ся. Боевой дух собственной армии представлялся ему сомнительным.

Он был достаточно трезвомыслен и помнил о многом. Помнил, к примеру, о вторжениях крымских орд в российские пределы, о чем запамätовал хан, заканчивавшихся бегством: их легко отражали малочисленные русские полки. Помнил он и о брожении в его войске в местечке Давуд, едва не перешедшем в открытый мятеж. Туда прибыл сам султан, вознамерившийся воодушевить воинов Аллаха на священную войну с неверными. Но, почуяв неладное, поторопился отбыть восвояси, приказав следовать в Эдирне. Там пришлось топтаться едва ли не месяц, дожидаясь пополнений из Анатолии. А они притекали капля по капле. От долгого топтания и ленивого движения к Дунаю дисциплина в разношерстной армии и вовсе распаталась. И не было ни вожжей, ни плетей, способных ее укрепить.

Армия двигалась подобно саранче, пожирая все, что находила в попутных селениях, сжигая их дотла, но по-прежнему оставаясь голодной. Визирь чувствовал эту несытость и имел все основания опасаться ее. Особенно тревожили его янычары — главные своевольники во всем войске. Их было двадцать тысяч. Они то и дело выражали свое недовольство и свободно могли повернуть назад. А за ними и остальные...

Балтаджи Мехмед-паша, великий визирь или садразам, что одно и то же, неожиданно почувствовал наступление старости. Она неслышно подкралась к нему и вдруг, в этом пышном шатре, среди подбострастного окружения, стала шептать ему прямо в уши: «Я пришла, я пришла...» Еще прежде она оказала себя, посеребрив голову и бороду, а вот нынче, после страстного монолога хана, старость обернулась слабостью, сковавшей все его члены.

Он думал, что это пройдет, как проходило прежде. Но нет — затягивалось. И более всего хотелось ему оказаться в своем теплом деревянном конаке, среди

своих жен и детей. И не нужно славы, почестей, заискиваний, приветственных кликов, музыки. Он почувствовал, что устал от власти и налагавшегося ею бремени — обязанностей и ответственности. Через год ему пятьдесят, а он уже старик, и ему ничего не нужно. Ничего, кроме покоя. Покой представлялся ему желанным.

Еще в Эдирне с ним были служанки-наложницы, и он время от времени позволял себе забавляться с ними: поочередно с каждой. Но вот он отослал их домой, в свой маленький гарем, где было всего-то семеро женщин, двое из которых — законные жены. Отослал, потому что почувствовал: женщины требуют — и отнимают — слишком много сил и уводят предводителя войска в неподобающую сторону. Вслед за этим он приказал изгнать всех женщин, дабы никто из воинов не был размягчен. Наиболее жаждавшим он разрешил пользоваться женщинами христианской райи в попутных селениях.

А сам он усилием воли старался сосредоточиться на миссии, возложенной на него повелителем правоверных. Он взыскивал с начальников, а они с подчиненных. И видел тщету своих усилий.

Стало быть, старость коснулась его своим первым, пока еще мягким касанием, как бы предупреждая: пора береженья наступила. Наступила пора отказа от излишеств всякого рода: в еде и питье, радостей, даруемых женщинами...

Обидно. Хочется чувствовать себя сильным, способным провести ночь в наслаждениях. Увы...

Кто затеял эту злосчастную войну? Разве она нужна правоверным?

Шведский король — вот огниво и трут. Он писал льстивые послания султану, убеждая его в слабости царя. И в душе султана загорелась искра, воспламенившая костер войны.

Кто знает, каков будет исход. Султан повелел пригласить шведа в армию, дабы подавал советы и попы-

тался устроить боевые порядки на европейский манер, как некогда обязался.

Бессмысленная затея. Войско не устраивают на ходу. На переустройство нужно положить годы. Его, визиря, устраивает второй Юсуф-паша, граф Понятовский. Он симпатичен, старается ни во что не вмешиваться, время от времени выступает в диване с дельными советами. В нем нет высокомерия, присущего всем европейцам, во всяком случае он его тщательно прячет.

— Повелитель правоверных, да продлит Аллах его дни, хотел бы присутствия высокого гостя и союзника султана короля шведов в нашей армии, — торжественно провозгласил визирь. — Мне прислан хатт-и-хумаюн, — он достал из ларца свиток с красной султанской печатью и благоговейно поднес его к губам, — с таковым пожеланием. Я прошу тебя, наш друг и советник, Юсуф-паша, отправиться к своему повелителю королю Карлу и изложить ему пожелание могущественного султана, дабы он мог прибыть к нашей армии до начала активных военных действий.

Понятовский усмехнулся:

— Ты знаешь, друг мой и высокий покровитель, что отныне мой повелитель одновременно и твой повелитель. Но я готов отправиться к королю, притом завтра же. Но сказать по правде, сомневаюсь, что король согласится.

— У тебя будет сильная и многочисленная свита, — поторопился ободрить его садразам. — Мы отправляем в Бендеры Джин-пашу с большим отрядом. — И, заметив, что Понятовский вопросительно вскинул брови, добавил: — Наши люди доносят, что русские собираются напасть на Бендеры и захватить крепость.

— Сомневаюсь, превосходительный садразам, что у них есть такое намерение. С военной точки зрения это было бы бессмысленно, и царь Петр наверняка это понимает. Вряд ли твои люди смогли с достоверностью проникнуть в замыслы русских.

— Другие агенты доносят, что конный корпус генерала с нерусской фамилией отправлен, чтобы разрушить нашу переправу у Исаки. Я приказал отправить и туда десятитысячный отряд. Переправа у Исаки очень важна для снабжения армии.

— Вот эту предосторожность я бы одобрил, — согласился Понятовский. — В любом случае эта переправа нуждается в надежной охране.

Ох уж эти турецкие агенты! Разведочная служба в войске садразам была поставлена довольно-таки слабо. В основном визирь пользовался случайно притекавшими сведениями, нередко из третьих рук. И сейчас армия двигалась вслепую, не зная толком, где неприятель и какова его численность.

Он, Понятовский, не раз предлагал предводителю создать разведочную службу на европейский манер. Визирь благосклонно выслушивал его, соглашался, но все оставалось по-старому. Уроки минувших войн ничему не научили турок. Они вообще не желали ничему учиться у гяуров, всецело полагаясь на свою многочисленность, а всего больше на милость и покровительство Аллаха и его пророка Мухаммеда. Разве с их помощью и заступничеством не покорили они множество народов и в Европе, и в Африке, и в Азии; разве ислам не распростерся вплоть до Китая?! Учение пророка — победительное учение! Кто мог устоять перед ним, перед святыми истинами и вселенской мудростью Корана? Так стоит ли чему-нибудь учиться у тех, кто не верит в могущество Аллаха, у христиан, у неверных?! Помог ли неверным их Бог, которого они считают истинным?

Понятовского раздражало такое самодовольство. Победы турецкого оружия оставались в прошлом. Они были достигнуты благодаря завоевательному порыву фанатичных полчищ. Мирные земледельческие народы ничего не могли им противопоставить. Европа была разобщена, ее раздирали религиозные войны и королевские междоусобицы.

Понятовский чувствовал себя меж двух огней. Меж двух огней высокомерного упрямства — короля и визиря. Порою он приходил в отчаяние. Хорошо бы махнуть на них рукой и возвратиться к родным пенатам. Но, увы, там хозяйничали русские, и он отрезан от них. Он объявлен вне закона, как сторонник Карла и Лещинского. Утешал себя: что бы стал делать в имении? Заниматься хозяйством? На то есть управляющие. Ездить по соседям, выслушивая одни и те же разговоры и жалобы — на безденежье, на скудные доходы, на нерадимость крестьян и воровство управляющих, на умаление Польши? Были бы еще псовые охоты и однообразное пьянство...

Нет уж: лучше Карл, турки, кочевая жизнь!

Джин Али-паша был известен своей отвагой, а его серденгечти все сплошь храбрецы. Серденгечти по-турецки — сорвиголова. Их бросали в самое пекло, где круто заваривалась сеча и надо было вырвать победу. И они ее вырывали.

Их было около трех тысяч — достаточно для Бендер с их немалым гарнизоном. Только вряд ли царь Петр нападет на Бендеры, разве что для того, чтобы захватить короля Карла.

Понятовский рассуждал вслух. Рядом с ним покачивался в седле Джин Али-паша — сущий джинн со спутанной черной бородой и глазами как две плошки. Он, похоже, был согласен с Понятовским: Бендеры русскому царю ни к чему. Осада крепости будет долгой и потребует немалых сил. Нет, московиты туда не сунутся...

Джин Али-паша то ли кивал головой, то ли голова моталась в такт скачке. Признался: доволен поручением садразама. В армии его отряду жилось как всем, а он заслуживал лучшей доли. Его молодцы застоялись, они давно не были в деле, а конь в стойле жиреет, только и всего. Теперь они смогут себя показать во славу Аллаха.

— Ты думаешь, что придется сражаться?

— По крайней мере, кони растрясут жирок у моих серденгечти.

Отряд свернул круто вправо, к владениям Буджакского ханства. Места были все степные, нехоженные и неезженные. Малые селения укрывались в складках холмов. Серденгечти врываются в них пограбить и понасиловать. Джин им в том не препятствовал.

Понятовский успел привыкнуть к бесчинствам турецкого войска. Но тут он не выдержал.

— Эти несчастные пострадали от татарских грабежей, теперь дождались турецких, — сказал он со злобью. Джин Али-паша отвечал снисходительно:

— Они воины и должны есть, пить и иметь женщин. Что ты хочешь, эфенди, такова война. В этих селениях наша рая — наше стадо. Стадо следует стричь либо резать на мясо — так велит пророк. Мы поступаем по его заветам.

— Стадо надо беречь, иначе оно перестанет существовать, и вы, пастухи, останетесь без шерсти, сыра и мяса.

— Это не наше стадо, ты знаешь. Пусть об его умножении заботятся хозяева — татары.

— Они же единоверцы. А ты знаешь: собака собаку не ест.

— У нас говорят и так: что мне с того, что в Багдаде хурмы много. Что ты пристал, эфенди! У войны нет жалости.

Понятовский замолк. В самом деле: война есть война, ей дозволено все. И хоть она прямо не достигнет в эти мирные селения, но нрав ее неукротим. У турок свой устав и его не изменить.

Степь простиралась на сотни верст. Травы стояли в рост человека. Они таинственно шуршали при малейшем дуновении ветра. Шуршали — перекликались. Там, в этих зарослях, шла своя жизнь, не желавшая явить себя людям. Лишь птицы свободно и бесстрашно проносились над их головами.

Все дышало жаром: земля, дорога, которой держался отряд, как видно, недавно проложенная среди зарослей, сами травы, успевшие наполовину выгореть. В этом море растений господствовал желтый цвет — цвет солнца, цвет созревших хлебов, цвет увядания. Но оно не дожидется своих косцов.

— Не дай Бог в степи полыхнет пожар, — поежился Понятовский.

— Зато будет много жареного мяса, — откликнулся паша. У него были свои представления о благе и несчастье. Что ж, каждому свое и у каждого свое.

— Где расположимся на ночлег? — спросил Понятовский, желая переменить тему.

— Под Каушанами. Там можно кое-чем разжиться.

Каушаны были столицей Буджакского ханства. Управляет им мурза, провозгласивший себя ханом, вассал Девлет-Гирея. Кавуш по-татарски — перекресток, место встречи: там-де встретили ногаи старца-вещуна, который накормил их лепешками и велел поселиться в этом месте, предсказав, что станет оно славно и многолюдно.

Понятовский знал, что Девлет-Гирей повелел мурзе, коль скоро русские выйдут на Днестр, отогнать подальше татарские стада, дабы не покусились они на скот, зная, сколь он обилен. Он сказал об этом Али-паше. Тот свирепо выругался.

— Выходит, не видать нам мяса. А мои молодцы иной еды не признают.

— Устроим охоту — степь богата дичью. Тут тебе и туры, и джейраны, и птица...

— Ты смеешься надо мной, эфенди, — ухмыльнулся паша. — Мои молодцы охотятся только на людей и на их стада. За дичью же надо долго гоняться, да еще удастся ли догнать. Нам ни одного табуна дорогой не попало. Нет, это не для серденгечти, да и накормишь ли такую ораву охотой.

Затемно отряд разбил бивак под Каушанами. До их ушей доносилась вечерняя переключка муэздинов,

сзывавших правоверных к молитве, кое-где теплились огни.

Джин Али-паша послал котловых в селение за скотом. Костры уж были разожжены, в котлах начинала закипать вода, а посланные все не возвращались.

— Они ведут малую войну, — пояснил паша. — Могла бы быть и большая, да только, слава Аллаху, татары ушли в набег.

— Откуда ты знаешь, почтеннейший?

— Разве непонятно — никто не стреляет.

Наконец послышалось мычание и блеяние, а потом — предсмертные хрипы. Скот резали умельцы, привыкшие к разнообразной резне. Они же свежевали его с необычайной сноровкой прирожденных мясников, разделявали и тотчас бросали в котлы.

Понятовский, невольный кочевник, был приучен и к этим звукам, и к этой бивачной суете. От его аристократизма мало что осталось. Это только первое время проходило в страданиях тела и души, шокированных всем походным бытом, его грязью и вонью. А потом он притерпелся и свyksя — правда, не без труда.

Джин Али-паша между тем чувствовал себя совершенно непринужденно и в этой обстановке, и среди этих людей: он был совершенно таким, как они. Вид крови и всякое убийство были ему привычны — резали ль барана или человека.

Он позвал Понятовского в свой шатер на трапезу — его молодцы довольствовались ужином и ночлегом под открытым небом. Им принесли по большому бараньему боку. Мясо пахло дымом и было дурно сварено. Понятовский глодал его с такой же жадностью, как паша и его оруженосцы, так же, как они, обсасывая жирные пальцы.

Проснувшись, граф решил бегло осмотреть Каушаны — любознательность не покидала его ни в каких обстоятельствах. Описывать было почти нечего: в походном дневнике осталась лишь краткая запись. Три мечети вознесли свои минареты перстами, указующими право-

верным в небо — обитель Аллаха. Возвращаясь, он набрел на православную церквушку, забившуюся в щель и словно бы пригнувшуюся, чтобы быть как можно незаметней. Такой униженности ему еще не приходилось видеть: мечети со своими минаретами могли торжествовать...

Днем они достигли Бендер. Понятовский представился сераскери Кара Мехмед-паше и после обмена традиционными любезностями, после кофе и шербета отправился в Варницу.

Он был тронут: король, этот сухарь, которому было чуждо проявление чувств, обрадовался ему, обрадовался непритворно, шумно.

— Дорогой граф, могу признаться — я вас заждался. Мне вас не хватало. Долгонько же вы обретались у этих варваров. Рассказывайте, рассказывайте!

Что могло обрадовать либо утешить короля? Только то, что армия визиря почти втрое превышает войско московитов. Все же остальное было почти неутешительно.

Понятовский некоторое время колебался: говорить — не говорить? Но король обязан знать правду, как бы ни горька она была, ибо все короли предпочитали знать правду, а распространять неправду.

— Ваше величество извещены, что господарь Кантемир передался русским?

Карл кивком головы подтвердил.

— Дальше, граф, дальше.

— Войны не хотят ни в Константинополе, ни в самой армии визиря. Султан поручил ему прощупать склонность царя Петра к мирным переговорам...

— Ну и что же? — нервно подхлестнул его король.

— Визирь послал в русский лагерь письменное предложение приступить к мирным переговорам, но царь оставил его без ответа.

— Единственный раз я одобряю царя! — воскликнул Карл, потирая руки. — Черт возьми, при трехкратном превосходстве в людях и пятикратном в артиллерии

можно разбить царя наголову. Я берусь это сделать. Я готов сразиться с ним! И победить! Да здравствует ненавистный, но мужественный царь Петр!

Карл вскочил и возбужденно стал расхаживать по кабинету. Понятовский еще ни разу не видел его в таком состоянии.

— Надеюсь, султан доверит мне свое войско, и я покажу миру, на что способен король Швеции, — почти выкрикнул Карл. — Нет, граф, я не сломлен Полтавой, как полагают многие. То был в известном смысле урок, и я его усвоил сполна. Теперь я готов сразиться хоть с самим Александром Македонским... Но надо основательно подготовить войско визиря. Ведь это сброд, вы наверняка можете подтвердить.

— Вы совершенно правы, государь, — сброд. Иного названия турецкая армия не заслуживает.

— Я приставлю к этим варварам моих шведов в качестве инструкторов. У Потоцкого среди ваших соплеменников тоже найдутся бывалые воины, обученные европейской системе строя и боя — возьмем и их в учителя...

Понятовский молчал все то время, пока Карл развивал перед ним свои стратегические и тактические планы. Ему предстояло вылить на короля ушат холодной воды. Начать с того, что султан вовсе не собирался доверить ему свою армию. Он отвел, уже отвел королю всего лишь роль советника при визире. К тому ж времени на обучение турецкого войска уже не оставалось, да и Балтаджи на то не согласился бы.

Акции короля шведов пали у турок ниже низкого. Он был для них всего лишь нежелательный иждивенец — об этом сказал ему каймакам в доверительной беседе. На это намекал и садразам. Об этом, не стесняясь, говорил хан Девлет-Гирей. Султан не принял плана короля — он опасался сообщить об этом Карлу, боясь, что эта весть повергнет короля в неопишное бешенство...

— Султан внял моим доводам, — упоенно продолжал Карл. — Конечно, визирю следовало бы повести армию к Бендерам — это более соответствовало бы моей главной цели. Она, как вы знаете, заключается в том, чтобы придвинуть театр военных действий как можно ближе к владениям царя Петра. Наконец, крепости на Днестре — Анкерманская, Бендерская, Сорокская и Хотинская — стали бы опорными пунктами и центрами снабжения турецкой армии. Мои войска смогли бы окружить и запереть армию царя...

«Боже мой, — думал тем временем граф, — он уже говорит «мои войска». И мне придется отрезвить его, иначе бесплодные мечтания завладеют всем его существом».

Но король был так воодушевлен и так красноречив, что у Понятовского язык не поворачивался остановить его вдохновенный монолог. Он все ждал, что Карл наконец иссякнет и тогда можно будет говорить.

Король, однако, и не думал умолкать. Его можно было понять: он изнемог от бездельного и бесцельного сидения под стенами Бендерской крепости. Его деятельная натура жаждала бури и натиска. Он жаждал высоты, с которой его низвергла злая судьба. Наконец-то, казалось ему, султан откроет ему его главное поприще, и он вынет меч из ножен. Война могла не только возвратить Турции Азов и Таганрог, открывшие России дорогу в Черное море — турецкое море, но и подчинить ей весь юг, лежавший во владениях царя...

Наконец король выговорился и замолк. Понятовский поспешил воспользоваться этим.

— Ваше величество, — осторожно начал он, — великий визирь Балтаджи Мехмед-паша получил грамоту султана, в которой тот предлагает ему...

— Ну что, что?! — нетерпеливо перебил его Карл, жаждавший услышать то, что нарисовало ему воображение. — Говорите же, черт возьми! А то вы тянете и тянете, словно язык ваш одеревенел.

— Предлагает ему призвать вас в армию... — Язык и в самом деле плохо повиновался Понятовскому; он предвидел взрыв и боялся его, понимая, что сейчас нанесет самолюбию короля нестерпимый удар.

— Граф, вы стали несносны! Что с вами? Я жду. Ну же!

— ...в качестве главного советника при визире, — наконец закончил Понятовский.

Он ждал вспышки гнева, ругани — король был великий ругатель, топая ногами. Но Карл неожиданно миролюбиво произнес:

— И с этим вы явились ко мне, граф? Неужели этот турецкий индюк мог осмелиться предложить такое мне? Мне! Королю шведов?!

Он замолк и тяжело плюхнулся в кресло. Морщины на его лице сошлись, он весь побагровел, казалось, вот-вот с ним случится удар. Чуть подавшись вперед, он в упор спросил Понятовского:

— Как вы могли, граф, не то что высказать мне оскорбительное предложение визиря, но даже согласиться передать его?! Как вы могли промолчать, не отвергнуть, не возмутиться?!

— Я всего лишь слуга вашего величества, — голосом, дрожащим и от возмущения и от гнева, вымолвил Понятовский. — В турецком стане, представляя вашу особу, я тоже своего рода невольник. Я пробовал сказать садразаму, что такое предложение не для вашего королевского величества. Но он сослался на то, что оно исходит от самого султана. Таким образом, и я был поставлен в унижительное положение, в котором, увы, нахожусь и поныне.

— Ну ладно, оставим это, я приношу вам свои извинения, — устало произнес Карл. — Разумеется, вы тут ни при чем. Я напишу султану. Но, к сожалению, будет уже слишком поздно.

Он замолчал, сгорбившись в своем кресле. В эту минуту он был похож на старца. Графу стало его жаль:

высокий дух претерпел унижение тем более тяжкое, что положение короля оставалось зависимым. И Понятовский решился высказать наконец то, что давно хотел, но не решался:

— Государь, вам надо вернуться в Швецию. Любым способом, любой ценой. Там ваш трон, там ваше место. Шведы ждут своего короля.

— А риксдаг, а мои министры? — желчно отозвался Карл. — Они не хотят моего возвращения — я причиняю им слишком много беспокойства. И потом: как я могу возвратиться? Как беглец? Как преследуемая дичь? Нет, я не дичь, дорогой граф, — я, как вы знаете, всегда был охотником, притом удачливым. Но вы правы: я должен возвратиться в Швецию. Но это возвращение должно быть гласным. Я и рассчитывал на то, что султан даст мне войско и я смогу возвратиться не как беглец, а как триумфатор. Теперь я понял: турки будут держать меня в унижении и на привязи...

В самом деле, положение представлялось безвыходным, ломал голову Понятовский, возвращаясь от короля. Карл, несомненно, оказался в западне. Король не может быть прислужником — ему должны прислуживать. И он не может пробраться в Стокгольм как вор.

«Но я-то, я-то! — с горечью думал он. — Оказался меж молота и наковальни, меж турок и короля. И я тоже унижен. И я — невольник чести. А выхода нет. Я привезу визирю решительный отказ короля. Как он примет его? С пониманием? Нет, скорей с презрением. Неверный, каков бы он ни был, — слуга мусульманина. Таковы понятия в стане садразама. И сам визирь не поступится своей властью ни на пядь».

...Возвратившись, Понятовский застал армию визиря продвинувшейся едва на две мили против течения Прута. Визирь приказал найти удобные места для наведения переправ. О планах русских и предавшегося им Кантемира доподлинно не было ничего известно. Визирю представлялось, что следовало прежде всего разорить

изменническое гнездо — Яссы. В этой мысли его укрепляли Девлет-Гирей и Осман-кяхья.

Понятовского встретили радушно. Он был свой — паша. Полагали, что он ренегат — то бишь христианин, принявший ислам. Таких было много. К тому же всех подкупал его турецкий — он был почти безукоризнен. Ренегатов было не мало и среди высокопоставленных беев, и среди пашей, и среди бейлербеев — губернаторов провинций. На их происхождение не обращали внимания, главным почиталась верность исламу и султану.

— Когда нас посетит король шведов? — первым делом осведомился визирь. — Я прикажу устроить ему достойный прием, оказать королевские почести. Можешь мне поверить: ему у нас будет не хуже, чем под боком у сераскера Бендер.

— Ты забыл про крепостные стены, высокий садразам, — со смехом произнес Девлет-Гирей. — У тебя нет такой защиты, о любимец султана.

— Стены не нужны храброму, — визирь решил защитить короля. — Он сам стена и щит против врагов и меч, карающий их.

— Если он такой храбрец, как ты говоришь, то отчего так долго отсиживается в Бендерах? — занял сторону хана Осман-кяхья.

Понятовский понял, что ему пора вступить за короля. Тем более что представилась возможность избежать неприятных объяснений.

— Король не может поступиться своим королевским достоинством и бежать из убежища, великодушно предоставленного ему султаном, да продлятся его дни. Ему должны быть созданы достойные условия для возвращения в Швецию. Условия, приличествующие государю, повелителю славного и доблестного народа. Такие условия, я уверен, создаст ему султан.

— Да, я тоже так полагаю, — желчно заметил визирь. — Мы должны выпроводить короля шведов самым достойным образом. Вот закончится эта война, и мы

предоставим ему часть нашего войска для сопровождения. И пусть отправляется в свою Швецию и правит там сколько угодно. Мы даже готовы заключить с ним союз против наших общих врагов — но только тогда, когда он объявится в своей столице.

Все они уже забыли о главном — о прибытии короля в ставку. Они принялись язвить его: Полтава была сравнительно свежим и несмываемым клеймом. Кроме того, каждому из них пришлось столкнуться с надменностью шведского короля. Карл, оказавшись в чужом стане, вел себя так, словно и турки были в его подданстве. Он требовал почестей, подчинения, денег, охранения, войска. Он был лишен какой-либо гибкости — сын короля и сам король. Он был воин, только воин, король-воин и воин-король. Все остальное предоставлялось его приближенным, его генералитету, министрам его двора.

Лишенный многого из того, чем он владел и чем повелевал, Карл чувствовал себя как рыба, выловленная из воды. «Разве турки могли понять это, — с сожалением думал Понятовский. — Чтобы понять, каково королю в неволе, надо самому быть королем».

— Однако ты не сказал, почтеннейший Юсуф-паша, когда твой король прибудет к нам в армию, — спохватился визирь.

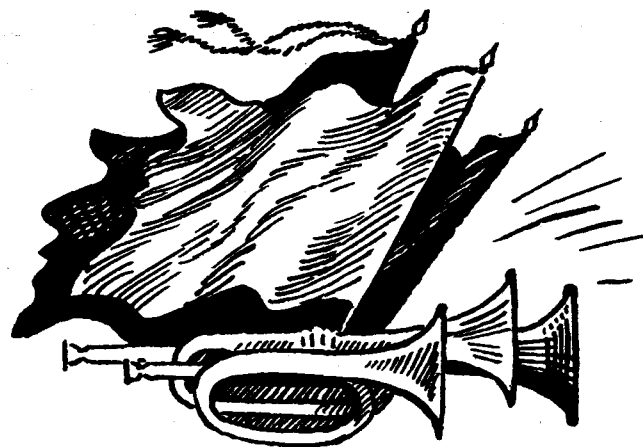
— Да-да, — подхватил Девлет-Гирей. — Когда же мы будем иметь счастье узреть его лик, подобный луне или самому солнцу?

— Король шведов, — как можно более строго и официально начал Понятовский, ибо следовало преподнести весть, которую он собирался сообщить, с подобающей серьезностью, исключаяющей какие-либо насмешки, — шлет лучшие пожелания любимцу султана Балтаджи Мехмед-паше, доблестному воину и победительному предводителю войска, равно всем его приближенным и сподвижникам. Он желает всем победы над русским царем и изменником Кантемиром, ибо войско султана, не-

сомненно, одержит столь важную победу. Его величество король уполномочил меня сообщить, что он не прибудет к войску, ибо ему, по его высокому званию, не подобает быть в подчиненной роли...

— Ха-ха-ха! — раскатился Девлет-Гирей. — Вы все слышали! Я это предвидел. Надменный король желает сам возглавить войско султана. Небывалое дело! Неслыханное дело! Гяур ведет в бой орду-и-хумаюн — султанскую армию, армию пророка. Готов ли ты уступить ему свое место, о превосходительный садразам? Ведь на меньшее он не согласен.

— Еще чего, — угрюмо произнес визирь. — Это невозможно. Еще чего!



Глава тринадцатая ТЕЗОИМЕНИТСТВО

И сделали их предводителями, которые ведут по Нашему повелению, и внушили им делать добрые дела, выполнять молитву и приносить очищение, и были они Нам поклоняющимися.

Коран, сура 21

Голоса: год 1711-й, июль

Петр — Сенату

...Паки напоминаем, дабы вы по данным вам пунктам, которые мы в бытность свою на Москве вам отдали, трудились о усмотрении такой же прибыли у товаров... и о исправлении векселей отчего будет намалая государству полза. Також на соляные заводы, где соль варят, надобно послать доброго и

верного человека, хотя бы и не одного... дабы он осмотрел, по чему там на заводах пуд соли станет, и потом с провозом по чему в Нижнем станет, и потому усматривая, по чему платить за соль Строганову и прочим. И чаю, что много лишнего платят.

Петр — Ромодановскому

Сир. На Семеновской полк мундир ежели-сделан, то изволте послать в Киев; буде же не сделан, то прикажите, как наискоря, сделать.

Б. И. Куракин из Лондона — Головкину

Государь мой Гаврила Иванович... его царское величество... требует, чтоб корпо войск к содержанию нейтралства с поспешением шло и... соединясь с войски его царского величества и короля польского, которые ныне обретаются при Померании, против шведских войск в Померании... действительно яко против неприятеля наступили и принудили оное дезормовать...

Капитан Иван Сумиля — русскому агенту Боцису

...Надобно нам иметь патенты и грамоты от его величества (Петра). И как получим указы, то есть при здешних рубежах два города — Превеза и Вонаца, тотчас их возьмем; к чему и прочие готовы суть, некоторые и турки, которые моей думы суть. И могу тое место в великий трепет привести, даже до Солуня. А как пойду выше, то побужду всю Румаль к востанию, только бы прислали нам указы царския и прочее, что потребно. А без того ничего не могу учинить, опасаясь от принципа разорения. Все греки здесь ожидают, як птичка матку, а турки от страху уже все свое продают...

А. И. Головкин из Гааги — Головкину (отцу)

На прошедшей почте доносил я вам, премилосердому государю моему... что прусской двор... не хочет трактату с нами заключить... пропорции нет между тем, что царское величество обещает дать и между тем, чего от королевского величества требует. Притом господин Ильген дал мне довольно знак, что они опасаются короля швецкого раздражить и что они хотят смотреть, как наша нынешняя кампания окончится...

Лука Барка — Головкину

...султан... ни в чем не доверяет шведам и кается, что поверил доношениям хана крымского, которого все нежелающие войны бранят, говоря, что он склонял на то султана не для интересу империи, но для одной приватной своей прибыли... Турки... zelo удивляются, что шведское войско уمدлило вступить в Польшу до сей поры, ибо обещано было, чтоб шведам вступить в Польшу к месяцу июню и видеть туркам такую мешкоту и трудность шведов вступления в Польшу гораздо нелюбо и за тем головы суть паки честной мир учинить...

Все праздновали и торжествовали. И это было похоже на движение.

Но движения не было. И не было в душе царя ни покоя, ни благодати. Душа металась. Все ей казалось не таким, каким должно быть, но и избыть это неудовольствие не удавалось. Его принимали, как должно принимать царя и повелителя великой державы, ему оказывали высокие почести. Но все это было не то, не то...

Слава Богу, было кому излиться. Его Катинька была для этого создана. И всегда — всегда! — находила нужные слова утешения.

Она прежде других напонила о преславной полтавской виктории, и 27 июня годовщина была торжественно отмечена, а он был чествуем яко главный победитель.

Проходя перед строем войска, Петр вдруг с отчетливостью вспомнил доношение посла Петра Андреевича Толстого. Он предупреждал, что турки размышляют-де, каким бы образом шведского короля отпустить, дабы он мог продолжить войну с его царским величеством.

Ах, как хотелось бы этого и султану и королю! Султану изрядно надоел высокий иждивенец, королю — бессильное заточение в турецком захолустье.

Стало известно: король велел украсить могилу гетмана Мазепы, отдавшего Богу душу в сельце Варнице после многих великих огорчений и разочарований. Сказывали еще, что король время от времени навещал могилу. Но посещения эти становились все более редкими по мере того, как таяло оставленное гетманом золото.

Мазепа покоился вдали от родных мест, Петр Андреевич Толстой томился в Еди-кале — Семибашенном замке Царьграда, откуда он все-таки ухитрился время от времени подавать знаки; Карл бесновался в Варнице, а он, царь Петр, пребывал в господарской столице со смятенным сердцем.

Верно ли он поступил, не ухватясь за нитку мирных переговоров? Вот и из Царьграда конфиденцы доносят, что благомысленные турецкие вельможи стоят за мир с Россией, что народ турецкий против войны. А единоверцы? Судя по письмам и прошениям, притекающим от сербов, греков, мунтян и других народов, они сами хотят помощи и заступления от православного царя.

Димитрий Кантемир уже слабеющими руками держал свое княжество. Порой Петр испытывал что-то вроде неловкости: господарь подвергался смертельной опасности, связавшись с ним. И не только он — все бо-

ярство, все привилегированные классы, духовенство: турки были мстительны и жестоки, рубили головы, не разбирая правых и виновных. Ведь это была их рая — их стадо. А со стадом не больно-то церемонятся.

Оказалось, турки отдали Кантемиру престол с условием, что он захватит и доставит им господаря Брынковяну, подозревавшегося, и не без оснований, в тайных сношениях с Москвой: на этом особенно настаивал крымский хан. Тогда-де ему будут отданы оба княжества — Молдова и Валахия.

Он поведал об этом Петру в доверительной беседе. Кантемир долго водил турок за нос. Он уверял великого визиря, что притворно предался русским, а на самом деле испытывает их намерения. Его кредит у турок был высок. Им он был обязан более всего крымскому хану, давно им плененному. Верили ему, верили и его драгоману в Константинополе Жано. Жано был вхож в диван, министры от него ничего не тайли. Все, что ему удавалось узнать, он переправлял в Яссы. Господарь уведомлял царя.

Теперь игра Кантемира открылась — царь вошел в Яссы. И визирь наверняка извещен.

Князь сожалел об этом. Он откровенно признался Петру.

— Вам не следовало входить в Яссы, ваше царское величество: мы оба допустили оплошность. Мне следовало продолжать игру и таким образом уберечь княжество от разорения. Пострадал и ваш интерес: я не могу сноситься с визирем и ведать его планы. Вашей армии следовало держаться левого берега Прута и скорым маршем выходить к Дунаю...

Петр начинал прозревать замысел князя: он полагал отсидеться в Яссах и ждать, чья возьмет. И потом примкнуть к победителю...

— Полно, княже: игра окончена, — добродушно высказался Петр. — Все едино: турку наши сношения открылись. И кто бы ни одолел — тебе не сносить голо-

вы. И семейству твоему тоже. Эвон княгинюшка твоя сколь дивно хороша.

Княгиня Руксанда и в самом деле была красавица. Красота ее была особой, царственной: тонкие точеные черты лица при слегка смуглой коже, большие выразительные глаза, как два агата, стройный стан. Екатерина рядом с нею выглядела простецкой, особенно ее манеры. Правда, она была способной ученицей и много преуспела. Но княгиня являла собой образец врожденной породы. Это уж потом Петр узнал, что была она и в самом деле греческого царского рода.

Все уплотнялось: время, напряжение, отношения. Все шло не так, как хотелось бы Петру. И ему, самодержцу, не удавалось повернуть течение событий в благоприятное русло. Он был недоволен всем: генералами, министрами, конфидентами. И собой. Да, прежде всего собой. Он то и дело допускал послабления себе. А коли себе, так и всему окружению.

Единственная его отрада и утешение — Катинька — его женщина, его жена, сударушка, царица. Она мягко ограждала его, и не ее вина, что не всегда удавалось. Сильные ее руки заключили царя в кольцо. Они были точно крепостные стены, о которые разбивались почти все ненастья: некие обстоятельства, недуги, люди. Тяжкий ратный труд становился все тяжче, сомнения подступали все чаще. Царица Екатерина Алексеевна умела облегчить ношу, все сильнее давившую на плечи царя, норовившую согнуть и сломить его.

Отслужили молебны о даровании виктории христолюбивому воинству над вековые супостаты, нечестивые агаряне. Враги Христова имени умножались на сей земле. Господь все милостивый, простри всемогущенную длань свою над нами, твоими покорными рабами...

Многажды повторялось имя Господне. Обращали к нему смиренные молитвы и в Трехсвятительской церкви, и в церкви Святого Николая Чудотворца, и в монастыре Голия, и в церкви Святого Саввы, и в монастыре

стапуя. Молились и просили заступления и одоления. Вера была та же и святые те же, лишь церкви обликом своим рознились от российских. Была тут своя лепота, свой манер, и они нравились царю.

Худо спалось Петру в господарских палатах. Просыпался ни свет ни заря. И ложе было покойно и мягко, и тишина благодатна, а все ж неотступные думы о близящемся поединке с визирем не давали покоя.

Утешение — Катеринушка. Мягкие ее губы, нежные руки просыпались вместе с ним и творили утреннюю молитву.

Истинно царица! Благословен день, когда пришла к нему покорной, кроткой, любящей. Он не умел склоняться пред богом Любви. Она его научила, растопила суровость сердца.

— Государь мой, господин великий, батюшка царь, — пришептывала она. И губы ее проделывали долгий путь от глаз и лба к шее, ушам, груди, соскам, животу... Все ниже и ниже — умиротворяя, утишая, нежа, убаюкивая. И он ненадолго задремывал.

А потом было второе пробуждение. Разговор о делах, напоминания, благословения. Она его крестила, уходя к себе, на свою, царицыну, половину в господарском дворце.

Давно им не было столь привольно: дворец, просторные покои, истинно царское ложе в алькове, ковры, ковры, ковры. Картины, французские гобелены. Резная дубовая мебель, еда на серебре и фарфоре...

Царя расслабляла дворцовая обстановка: уже приносился к походному быту, он был солдат, матрос и не-притязателен, как они. Однако царицыным негам дворец соответствовал как нельзя более. И в дворцовых стенах ее женское могущество осуществлялось во всем его великолепии.

Короткие слова, слова-вздохи, вскрики, стоны... Слова были в промежутках, потом наступало изнеможение,

когда не было ни слов, ни междометий, одна только наполненная их дыханием тишина.

Торжественные смотры, обеды, молебны оковали царя по рукам и по ногам. А между тем приходили неутешительные вести как бы в наказание за расслабленность, медлительность, за то, что нежился с Катеринушкой в пышном алькове и забывал про войну. Все в этом мире отмицается, за все приходится платить.

Так и на этот раз. Кантемир, оковавший царя гостеприимством, а сам ушедший вперед с двумя своими полками, прислал штаб-офицера с доношением: визирь со своей огромной армией перешел Дунай и теперь движется по левому берегу Прута. Его понтонеры нашли место для переправы и начали наводить мост. А татары уже успели побывать на правом берегу, налетели было на драгун Ренне, но были разбиты и бежали за Прут.

Началось! Пора!

Гвардейские полки были подняты по тревоге. К ним присоединилась дивизия инфантерии Адама Вейде, переправившаяся с левого берега. Петр сел в седло, вытащил шпагу и взмахнул ею. Поход начался.

Царица в мужском платье скакала за своим господином. Она была готова постоять за себя: шпага и два седельных пистолета составляли ее вооружение. Скакала, не отставая, сидела в седле как влитая. Петр не оглядывался, знал — поспеет. Его царица была приспособлена и к тяжким перипетиям. Она была походная царица. Еще более, чем дворцовая.

Дорога вилась по берегу, стиснутая лиственным лесом. Река была путеводительницей. Дыхание ее было слабым, оно едва чувствовалось — жара его сушила. Запаленные кони перешли на шаг. Там, где берег полого спускался к реке, вставали на водопой.

Армии сближались, сторожко пробуя путь, как пробует его путник в незнакомой местности. Ощущение близящейся развязки переполняло Петра. Ему хотелось

выйти наконец из неопределенности, такой долгой и так томившей. Пусть бы сражение, пусть!

Остановились на растах — недолгую передышку. Вейде с инфантерией ушел вперед. Вперед ускакала конница под командою генерала Януса фон Эберштедта. Петр его напутствовал: разведать, сколь много турок им противостоит, верно ли, что вся визирская армия, наладили ль переправу.

Волонтеры Кантемира донесли, что визирь уже начал строить мост. Верно ли это. Ежели, однако, Господь попустил и неприятель переправился, атаковать его и сбросить в реку.

Жара не спадала. Полки шли тяжело. Леса и травы были оголены саранчой. Петр с любопытством ее разглядывал, доселе не виданную осьмую казнь египетскую...

— У саранчи нету царя, говорит Премудрый, но выступает она стройными рядами, — изрек всезнающий Феофан. — В Священном Писании саранча — прощу заметить — поминается, яко особое орудие Божественного гнева. Однако же отцы пустынноики именовали ее акридою и употребляли в пищу. На Востоке сушеная и жареная саранча почитается лакомством, вот что. Ибо не бывает худа без добра. Сколь много ее погибшей и высохшей. Попытаем — станут ли подбирать ее кони.

— Станут, станут, — подтвердил Макаров, дотоле молча следовавший за ними. — Добра ручеек, а худа море. Сожрала все посевы в княжестве, оставила крестьян без хлеба, нас без провианту, скот без подножного корму. Одно слово — казнь египетская, а ныне казнь валахская.

Прошли еще три мили, разбили лагерь. Стреножили коней, пустили пастись. Глядели: подбирают саранчу охотно. Хрустит она, ровно пересушенное сено.

— Не отведасть ли нам сих акрид, — невесело произнес Петр. — Коли будет столь жарко и столь скудно — не побрезгую.

— Государь даст пример, подданные последуют, — подзадорил Феофан.

Ближе к ночи прискакал адъютант от Вейде. Макаров принял пакет.

— Чти-ка, Алексей. Тут нечто важное.

Слог был деловой. Вейде сообщал: «Понеже мы сей ночи ночевали против татарского лагеря, а визирь уж недалеко от нас; и чаем завтра видеть их, толко оныя по той стороне реки, того для мы ныне другую ночь ночуем, дабы вас дожидаться и всем вкупе завтра маршировать рано... На что скорой отповеди ожидаю, дабы мы по тому могли свой марш управлять».

— Близится дело, — озабоченно произнес Петр. — Либо мы спешно идем вперед и, коли турок навел переправу, отбросим и переправу ту нарушим...

— Либо?

— Ежели визирь успел переправиться, откроем генеральную баталию. Нам ее не избегнуть, и визирь к ней стремится. Вейде отпиши: мы к нему скорым маршем идем, пущай нас дождется.

Приблизился тот решительный день, когда армии станут меряться силою. Петр чувствовал нечто вроде удовлетворения. Наконец-то! Ибо все движение солдатской массы и вместе с нею его движение, весь его смысл, все утраты и потери были, по существу, издержаны ради этого дня, ради генеральной баталии, неотвратимо приближавшейся.

Он чувствовал и вполне понятное волнение, и его холодок. Вот уж скоро решится судьба армии и его судьба — судьба царя. Но войско — от генералов до солдат — так истомилось, издержалось, изголодалось, даже износилось, от сапог и камзолов до естества, ибо в столь тяжком и долгом походе снашивается и живое существо, что волей-неволей сомнение вошло и угнездилося в его душе.

Нет, он не даст ему разрастись, он станет давить и давить его всяко — и заботами и раздумьями. Заботы

твлекали, их было сверх всякой меры перед решающими днями. И все-таки сомнение найдет уголок и станет там жить-поживать до конечного часу — при всей его сильной и закаленной воле, при всех его движениях, казавшихся всем не ведавшими сомнений.

Петр не раз шел в сражения — и сухопутные, и морские. Всякий раз в такие минуты он чувствовал прилив сил, необычайный духовный подъем, испытывал собранность и решимость. Да, но тогда не было столь изматывающего его предварения, столь долгого и утомительного похода.

Лагерь был разбит недалеко от реки. Она успела отдать дневное тепло, его унесли быстробегущие струи, и теперь дышала прохладой. Вечер сгущался и вот уже пал ночью. Южное небо бархатной черноты было все в звездах, их были мириады, и глаз не мог задержаться. Беззвучно носились взад и вперед летучие мыши, будто охраняя спящих. Таинственные звуки роились в ночи, заворачивая и пугая. Вот вскрикнула какая-то птица, а может, зверь, вот какой-то странный стон, рожденный то ли на берегу, то ли в воде, заставил насторожиться...

Петр молча стоял возле своего шатра, вслушиваясь, и так же молча стояли приближенные. Обычно его рано клонило в сон: слишком деятельна и напряженна его жизнь, начинавшаяся с первыми петухами. Но сейчас сна не было. Весть о близости визиря взбудоражила, мысли наплывали, роились...

Понятное возбуждение. Он знал доподлинно, что турки почти втрое многочисленней его армии, что у них вчетверо больше пушек. Были еще татары Девлет-Гирея, несчитанные и немеренные, которые ощутительно кусались, вися над войском как осы.

Надежды на единоверцев окончательно развеялись. Полки Кантемира не представляли сколько-нибудь основательной воинской помощи.

Он стоял перед великим риском и понимал это.

— Отчего не вняли мы визирскому призыву к мирным переговорами? — спрашивал ли царь себя либо обращался к свите.

— Не было соизволения вашего царского величества, — ответил за всех Головкин, невидимый в темноте.

— Не восхотели турку дать сердца, — вступил Феофан.

— Почел бы нас бессильными, — добавил Макаров.

Темнота скрывала лица, но Петр догадывался: в нынешних обстоятельствах все жалели, что не отозвались на грамоту визиря.

— Пошто не настояли, — сказал он. — Тогда уж было ясно, что помощи от единоверцев не будет, во всем убыток, болезных да скончавших дни в войске много. Пошто не настояли?! Нешто я осердился бы? Ум хорошо, а семь лучше. Сообща бы рассудили, каков убыток, а каков убыток. Ноне видим — убытку да риску — куда более. И по здравом размышлении должно было нам с турком пойти на замирение.

Все ждали: не скажет ли еще чего царь. Но Петр замолчал. Ночь всех укрывала и поощряла к молчанию. Ибо молчание — душа ночи, ее призыв.

— Все гордыня, — наконец вымолвил царь. — Гордыня! Опасались, что турок согласие выманит да за слабость почтет. А нам должно было о выгоде своей заботиться. Во всякой гордости черту много радости. Гордый покичился, да во прах свалился. Теперь локти кусать будем, да поздно, поздно. Я не вас — себя укоряю, — поспешно прибавил он. — Соизволения моего не на важное ожидайте, ибо важное есть наш общий государственный интерес. О важном совместно трактовать надобно. Я себе все более в укоризну говорю.

Теперь, накануне решительного дня, Петр ощутил, сколь велика его, царя, ответственность за все то, что может случиться: за тысячи и тысячи смертей, за возможную гибель войска, за плен и неволю. Да, он был самодержец, единовластный повелитель миллионов. Но

мог ли он почитать себя безрассудным? Был ли он безрассуден в годы своего царствования?

Нет, превыше всего почитал он здравый смысл и благоразумие. Никто не мог упрекнуть его в бессмысленном, злонамеренном либо вредном действии. Он повсечасно, повседневно заботился о благе государства, интересе отечества.

Ныне Петр испытывал нечто вроде смущения оттого, что упустил, недосмотрел и поставил на опасную грань — грань риска и себя, и свое войско, и своих гриближенных. Теперь ничего иного не оставалось, как лабраться мужества и воодушевить всех, кому предстоит победить или умереть.

В нем всегда доставало здравого смысла и трезвого расчета. Он говорил себе: шесть тысяч гвардии стоят шестидесяти тысяч турок. Ну пусть тридцати тысяч! А ведь есть еще более тридцати тысяч остального войска. Каждый стоит трех турок и татар. Стало быть, выходит, сто двадцать тысяч российского войска против двухсот тысяч турок и татар. Ежели еще учесть, что мы столь далеки от своих пределов, а турок, можно сказать, у себя дома, то поневоле усумнишься.

Надежна гвардия, надежны дивизии Вейде, Репнина, Аллартовы драгуны, полки Чирикова... Однако же мало их, мало. Пятеро турков и татар на одного российского солдата. Полуголодного, истощенного, обросшего грязью. Кабы поближе к дому, управился бы, может, и с пятью. А в эдакой-то дали, где все чужое, где трава вся посохла, хлеба да и деревья обглоданы саранчой.

Отвергли мировую, а теперь уж не воротить. Задним умом-то крепки, а передний отказал. А он-то, царь-государь, тоже хорош. Это ему быть прозорливцем должно!

«Кампания сия может быть проиграна, — размышлял он уныло, — ибо все к тому идет». Негоже наперед духом пасть, николи прежде у него такого не бывало,

чтобы он помышлял не о виктории, а о сколь-нибудь достойной ретиреде.

Но как можно о ретиреде, коли весь крещеный мир на тебя с надеждою и верою взирает?! Коли ты столь тяжкий путь проделал с упованием на Господний промысел да на славу российского воинства, столь много побед одержавшего...

Петр выругался — громко и смачно. За себя и за всех. Все кругом виноваты. Да теперь поздно локти кусать. Надобно воодушевиться да и идти напролом.

Он зевнул — протяжно и с подвыванием. Устал за день от всякого многого, прежде всего от беспокойных дум. Погрузиться с головою в сон, может, он все скроет.

— Вы свободны, господа, — сказал в темноту, ибо господ кругом, казавшихся тенью, было немало. — Ступайте спать. Утро вечера мудренее.

Уснул тотчас же — стоило положить голову на подушку. Но среди ночи вдруг пробудился, словно кто-то растолкал либо труба внутри протрубила. Час был неурочный — близ двух.

Петр долго лежал, дожидаясь сна. Но сна не было — отлетел напроочь. Надоело ворочаться. Он поднялся и, перешагнув через храпевших у порога денщиков, отправился в свой «гарем» — на половину царицы.

— Катинька, — вполголоса позвал он, не очень-то надеясь, что с первого раза пробудит Екатерину. Но сон ее был по-женски чуток, как бывает он чуток у матери либо у любящего существа.

— Ай, — откликнулась она еще сонно. Но тут же встрепенулась. — Вы, государь-батюшка? Ступайте ко мне.

Она была вся теплая, мягкая, вся какая-то успокоительная и уютная — и Петр на мгновение забыл, зачем он здесь. Руки ее тотчас обвили вокруг его шеи.

— Государь мой, батюшка, господин великий, иди ко мне, иди, — приговаривала она жарким шепотом. — По-

забудешь заботы — сниму их, сниму, как не снять, бесценный мой, царь вечный, повелитель, — частила она, уже вся готовая к ласкам, уже как бы и не спавшая. — Знаю, томит тебя, многие доуки томят. Иди же ко мне, иди, — она обвилась вокруг него, словно вдруг стала с ним вровень, в целую сажень, тело ее обжигало, оно было гибкое и какое-то бесконечное, и не две руки, а по крайности четыре, казалось, обнимали и смело захватывали себе все с любовной бесцеремонностью, все сильнее и сильнее возбуждая его.

— Войди в меня, войди, Богом создана для тебя, для твоего удовольствия, владыка мой, все во мне для тебя...

Она ластилась и стонала, дыша все учащенной. Наконец их дыхания слились в одном долгом и немисливо сладостном выдохе, и тела сотряслись в конвульсии.

— Ну! Ты! — выдавил Петр и отвалился. Он долго не мог отдышаться. Женщина терпеливо ждала, покамест ее повелитель не обретет ровное дыхание. Ждать пришлось долго.

Екатерина догадывалась: не для любовной утехи пришел к ней царь среди ночи. Искал утешения от тяжких дум и забот.

— Томило меня, — наконец выговорил он. — Сна не стало. Боюсь, матушка, сбудутся мои худые предвестья.

— Те предвестья нечистый наслал, — торопливо заговорила она. — Он, окаянный. Не пускайте его к себе, государь мой. Гоните и забудьте!

Она уговаривала его, как мать уговаривает дитя — не бояться страхов, темноты, быть разумником, давать отпор забиякам.

Петр невольно улыбнулся — столько горячности и истовости было в ее уговорах.

— Отводишь от меня доуку. И впрямь полегчало. Искушает меня нечистый. Верно говорят: пусть черта в дом, не вышибешь и лбом. Он это, он напустил на

меня гордыню: пошто не согласился на замирение с турком.

— Батюшка царь, господин мой, — со страстью проговорила Екатерина. — Мнится мне, то искушение миром нечистый наслал. И не собирался на самом-то деле турок мириться, иначе не единожды гонцов своих бы заслал. От нечистого то искушение было, от него, окаянного! Осените себя крестом, повелитель мой.

И, подавая ему пример, она трижды осенила себя крестным знамением. Петр покорно последовал ей. Эта литвинка приняла православие с той же истовостью, с какой отдавалась ему. В ней словно бы ничего не осталось от лютерки, словно бы все научение пастора Глюка стерлось как след на воде.

— Точно знаю: одолеем мы нечестивца, с мыслию о Полтаве добудем викторию.

— Что толку поминать то, что давно ушло и в реке забвения сплыло, — отозвался он. — Далече мы от наших пределов, и нету нам должной помощи.

— И Полтава была далече от пределов, — резонно возразила Екатерина, в который раз удивив его своей находчивостью.

Да, он сделал единственно верный выбор! Его царица была под стать ему. Она была разумна, утешлива, скромна, легконога, храбра, вынослива, быстра и находчива.

Петр отправился к себе совершенно успокоенный. Меж тем денщики и гвардейцы подняли переполох: государь исчез!

— Вот-вот, проспите вы меня, дурни, — добродушно пробурчал он. — В другое-то время устроил бы вам нагоняй. Молитесь за здравие государыни царицы — она вас спасла.

И, оставив их в недоумении, отправился досыпать.

Заря была еще где-то далече, когда вдруг невдалеке от лагеря затрещали выстрелы и послышались невнятные крики.

Лагерь всполошился. Гвардия выступила вперед, драбанты взяли в кольцо палатки царя, царицы и министров.

— Экая незадача: только лег — поспать не дали. — Петр выглянул из палатки и приказал дежурному сержанту: — Скачи туда, где палили, да выясни причину переполоха. Возвернись не мешкая, доложишь.

Ждать долго не пришлось. Сержант возвратился и доложил, что ретируется кавалерия генерала Януса, у коей завязалась стычка с преследовавшими ее конными турками. Генерал скоро явится пред очи его царского величества и обо всем доложит самолично.

Януса пришлось ждать долго. Перестрелка и крики продолжались, то приближаясь, то удаляясь. Лагерь пребывал в напряжении, все изготовилось к отражению возможной атаки.

Тьма постепенно редела, утро наступало со своей обычной неумолимостью. И шум стычки затих. Деревья стали обретать привычный вид, утратив ночную таинственность. Вот уже первые птицы стали пробовать голос, пока еще робко перекликаясь.

Наконец из-за дальней кромки леса выглянул багровый край солнца, и мир вокруг тотчас стал привычен. Ждали вестей от генерала Януса фон Эберштедта. Волнение мало-помалу улеглось, уступив место чуткой настороженности.

Янус — один из иноземных наемников. Среди них — разный народ: занятые лишь выгодой и искатели приключений, храбрецы и полоненные личностью царя. Из каких был Янус? Петр особо к нему не присматривался, как не мог присматриваться ко всем тем, кто вступил в русскую службу. Янус был родовит, выслужил генеральский чин — чего ж еще?

Армия вставала на ноги. Своих природных офицеров не доставало. Боярские да дворянские недоросли бежали службы: им сладко елось да сладко спалось в родовых

вотчинах. Никакая наука к ним не приставала: ни лаской, ни таской.

Янус же был истинный Янус — двулик. На военных советах говорил дельно. Однако в Лифляндии себя не показал и военачальнического пылу не обнаружил. С кем, однако, не бывало: вон и Шереметев не раз давал маху.

И все-таки царь был уверен в Янусе. Дана ему в команду дивизия — восемь тысяч драгун. Это ли не сила! С нею, полагал Петр, можно было сбросить переправившихся турок в реку и разорить самое переправу.

Но, похоже, неприятель снова начал теснить драгун. Шум боя то затихал, то снова возобновлялся. Наконец наступила передышка. Показались одиночные всадники. Их становилось все больше. У отступавших был потрепанный вид.

Где-то в отдалении бой все еще шел. Исход его был неясен. Янус прислал адъютанта с докладом: в двух милях от лагеря — главные силы турок, успевшие переправиться на правый берег.

— Генерал барон Денсберг, — Петр нетерпеливо перерыв плечами, что означало и неудовольствие и раздражение. — Поднимайте дивизию и отправляйтесь с нею подкрепить Януса.

Поздно! Явился сам Янус в сопровождении своих генералов: Волконского, Видмана, Вейсбаха, Ченцова и де Бразе. Они спешили, Янус подошел к Петру. Он был ненатурально бледен — то ли от пережитого, то ли от ожидания царской выволочки.

— Позвольте доложить, ваше царское величество...

— И без доклада видно: просрали! — рявкнул Петр. — Проспали да просрали! Турок на пятки наступает. Впрочем, докладывай.

— Мы вышли на главную переправу турок. Нам противостояло не менее пятидесяти тысяч. Видя столь великое превосходство неприятеля и будучи обнаружены, я отдал команду отступать в порядке...

— Вижу, каков порядок, вижу, — перебил его царь. — Ну и каково прикажешь далее быть?

— Ваше царское величество, нам пришлось тяжело: там гористая местность, пришлось спешиться и отбиваться в пешем строю.

— По сей причине и вышли из боя?

— Велики потери, ваше величество...

— Потери неизбежны: не гулянье — война.

— Долгом своим поставлю предостеречь ваше царское величество, — нервно проговорил Янус. — Местоположение лагеря уязвимо. Едва ли не сотысячное войско турок движется сюда и может взять нас в окружение.

— Прежде о том известен — от людей князя Кантемира, — желчно произнес царь. — Надежды на вас оставил. Приказ даден сниматься.

От гвардии майор Захаров с командой послан был для рекогносцировки. Явился, доложил: в трех милях есть подходящее место — урочище, называемое молдаванами Станилешты.

Петр помнил: кабы не торопились вперед, упредить переправу турок, стали бы там лагерем. Придется возвратиться. Экая незадача! Ясное дело: близится генеральная баталия, ее не избежать. И лагерь тот придется сильно укрепить.

Быть может, правы были немцы на воинском совете под Сорокою, когда предлагали свой план кампании. Крепость Сорокская была уже в руках, крепость Бендерскую надлежало осадить и взять. Посадить-де армию на суда и захватить третью крепость — Аккерманскую. Провиант, амуницию, рекрутов — все сплавляли бы по Днестру. В оных крепостях можно было бы и презимовать. А весною, подкрепивши силы, нанести турку решительный удар...

Многие стали против: Шереметев, Алларт, Ренне, министры. Долог-де путь по реке, сильно петляет она, да и где взять столь много судов. Для одного обозу их сотни три потребно...

Отвергли план — негоже затягивать кампанию, стоившую непомерных сил и жертв. И поступили разумно? Разумно? Кто знал, что все таково обернется, что его генералы медлительны и нерасторопны, союзники отпадут, саранча все съест, визирь возьмет в жесткие тиски.

С раздражением подумал об обозе. Зачем допустил! Великая обуза: жены, дети, орущее, ревущее племя; кареты, тарантасы; берлины, возки, телеги — тысячи их. Сколь много бесполезных ртов, кои еще надобно оберегать.

Выходит, не сумел предвидеть последствия, как должно государю. Выходит, так. Ищи теперь выход, царь Петр. На тебе гнет, ты войско возглавил.

Тяжко.

Кликнул Макарова. Попросил позвать Феофана. За шаховой игрой можно будет порассуждать, Феофан умом пространен и находчив.

— Худо дело, Феофане, — сказал Петр, двинув пешку. Противно дергалась левая щека. Прижал ее рукою — весь заgrimасничал. — Мнится: проигрываю игру. Да не шахову — воинскую. Был зевок за зевком.

— Господь всеблагий выручит. Не может он оставить чад своих без зашщипения.

— И ты туда же, — усмехнулся Петр. — На Бога-то надейся, а сам не плошай. Ведомо тебе?

— Твердости, государь, недостало. Не заслать ли визирю переговорщиков?

— Переговорщиков, говоришь? Поздно. Почтет, что слабы мы, пардону просим. Нет, один остался ход: генеральная баталия. Шах либо мат.

Щека снова задергалась, выпуклины глаз налились кровью. Казалось, вот-вот выскочат из орбит. Царь обхватил лицо ладонями и замер.

За парусиною палатки шло непрерывное движение, слышались невнятные разговоры, скрип телег, конское ржание. Лагерь снимался с места.

Наконец Петр распрямился, лицо его стало постепенно разглаживаться, короткие усики, ставшие дыбом, улеглись.

— Сколь было много советов разных, помнишь? Генеральные, долгие, короткие. Много-гла-голанье, — по слогам отчеканил он. — Ныне вижу: в ловушку мы угодили. И надобно из оной выбираться без урону.

— Выберемся, — бодро провозгласил Феофан. — Государь наш силен и мудр. — Бодрость была напускная, и Феофан понимал, что она может раздражить царя, видящего дальше.

— Шведов урок не пошел впрок. Внять бы предостереженью: война в дальней дали зело опасна без крепких союзников; ан нет, не внял...

— Эх, царь-государь, такова природа человеков — падать, ушибаться, бока потирать да вновь падать.

— Предвижу: тяжело будет ныне паденье наше, — вздохнул Петр. — Слава Богу, дело к ночи, а турок ночью не воюет, а спит. Стало быть, даст нам уйти без помехи. Все, Феофана, кончена игра, — царь смешал на доске все фигуры. — Нам теперь более не до игр.

Петр вышел из палатки. Генералы окружили его. То и дело на запаленных конях доспевали адъютанты с донесениями. Спешенные драгуны и гренадеры барона Денсберга медленно отступали, пока еще сохраняя боевые порядки, а кое-где остановив продвижение янычар. Петр прочитывал донесенья, и лицо его мрачнело все более. Визирь продолжал переправлять войско уже по четырем понтонным мостам. Выше по течению Прута татары напали на батальон, стерегший переправочные лодки, и перебили всех до одного...

Вести были одна другой безрадостней. Стало понятно: надо собирать силы в кулак, ибо со дня на день быть генеральной баталии. И для сего время было упущено. Дивизию Ренне не вернуть, она далече. В разные места были отправлены полки по всяким надобностям — они тоже не успеют. Фельдмаршал Борис Петрович

распорядился поздно и, теперь прозревая свои оплошности, был не в себе.

Люди Кантемира имели глаза и уши в турецком стане. Но и в русском лагере были соглядатаи визиря, притом из тех же молдаван, что почиталось как бы естественным. Валашские бояре прежде верно служили Порте, и обычай их, вплоть до одежды, был тоже турецкий. Они готовились передаться победителю, ибо были уверены, что победа пребудет на стороне визиря, и слали тайных гонцов в турецкий лагерь. Так что Балтаджи Мехмед-паша знал, каково нынче неприятелю.

Но и Петр был осведомлен, причем от тех же гонцов. Всего войска у визиря было сочтено 189 665, в том числе татар Девлет-Гирея 70 тысяч. Да пушек больших и полевых 444.

Под началом у Петра было 38246 конных да пеших, пушек 122.

Несо-раз-мерно!

С провиантом швах, совсем швах. Принялись помаленьку за лошадей. А что делать: им же все равно конец приходил от бескормицы. Как ни опасно было оказаться без тягла, а голод-то не тетка.

Главное было теперь не потерять сердца. Петр стал каменно спокоен. В очередной раз созвал генеральный совет. Выскажутся ли дельно?

Янус горячился: кто ответит теперь за безвыходное положение, в котором оказалась армия? Вины своей не чувствовал. А может, ее и не было вовсе. Камешек был брошен им в огород царя, хотя обращался он к Шереметеву, титулуя его по всем правилам: господин граф и кавалер генерал-фельдмаршал.

Петр намек понял.

— Генеральной баталии не избежать. Стало быть, надобно устроить лагерь как должно, окопаться да рогатками обнести. Все мы несем груз вины, вот что. И обязаны ежели не победить, то отбиться.

— А потом что? — наступал Янус, настроившийся воинственно, как видно, потому, что чувствовал и свою вину.

— Пробьемся. Непременно пробьемся, иначе нельзя.

— А далее?

— Что далее? Выйдем на Днестр, соберемся с силою. Начальникам держать дух солдат, — Петр был спокоен и отвечал уверенно, как бывало всегда перед лицом опасности. — Солдаты — наша крепость.

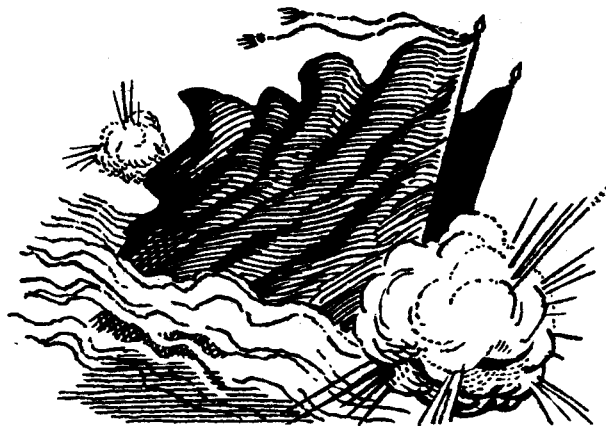
Господи, в лицах одна унылость и никакого одушевления. Бодрый тон царя отнюдь не нарочит. Он совершенно уверен!

Уверен? В чем? Ну хорошо, отбиться наверняка удастся. Янус прав: а далее-то что? Визирь возьмет в кольцо да голодом и жаждою заморит — вот что далее...

Обоз — обуза! Жечь, жечь без жалости. Все лишнее — побросать в реку, утопить! Облегчить войско...

— А далее, далее что?

Проклятый вопрос! И нет на него ответа.



Глава четырнадцатая ОБЛОЖЕНЫ! ОТБИТЬСЯ!

О вы, которые уверовали! Когда беседуете втайне, то не беседуйте о грехе, вражде и неповиновении посланнику, а беседуйте о добродетели, богобоязненности, и бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны.

Коран, сура 58

Голоса: год 1711-й, июль

Меншиков — Петру

Высокоблагородный господин контра-адмирал... Вашу милость всепокорно прошу, ежели сие письмо еще прежде того времени придет, дабы в пущие опасности вдавать себя не изволили. Также при сем случае нас, хотя вкратце, но почаще о своем здра-

вии уведомляли. Сами изволите рассудить, каково нам при нынешнем случае, слыша о вашем зближении с неприятелем и о приготовлении к баталии...

...Хотя ведаю, что ваша милость и без того в трудностях великих обретаетесь, и для того не хотел бы ни о каких противностях доносить, однако опасаясь, дабы инако вам не донеслось. Доношу вашей милости о моей болезни, которая на прошлой неделе мне случилась, а имянно такая ж, какая в прошлом годе была, но гораздо той не в пример, понеже в полторы сутки з десять фунтов крови ртом вышло. И шла та кровь все рвотою. И уж доктору весьма живот мой отчаяли и не знали, каким лекарством болши ползовать; но паче чаяния, всемогущий Бог вашими молитвами от ожидаемой кончины избавить мя изволил...

Сенат — Петру

О укрывающихся от службы в народное ведение указы по воротам объявлены и в губернии посланы в апреле месяце. А по третьему пункту дворянских детей, в службу годных, сыскивают и о сыску их в губернии указы давно посланы, также и на Москве по воротам прибity. И ис тех, которые по записке в Сенате явились и из губерний присланы, выбрано годных: царедворцов 20, городских 249, которые в салдаты годятся, итого 269 человек. А из людей боярских 1000 человек грамотных, которые годны были в офицеры, за нынешним здесь малолюдством набрать не возможно, потому что царедворцы на службе...

Петр — сыну Алексею

Я не научаю, чтоб охочь был воевать без законных причины, но любить сия дело и всею возможностью снабдевать и учить; ибо сия есть едина из

двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона... Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, которые помнят брата моего, который тебя несравненно болезненней был и не мог ездить на досужих лошадях; но имея великую в них охоту, непрестанно смотрел и пред очами имел... Видишь, не все трудами великими, но охотою. Думаешь ли, что многие не хотят сами на войну, а дела правятся! Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который не много на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в войне, что его войну театром и школою света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство прославил паче всех.

Петр (из приказа по армии)

Всякий начальный человек и солдат должен и обязан быть имеет товарища своего от неприятеля выручать, пушечный снаряд оборонять и прапорец и знамя свое, елико возможно, оборонить так, коль ему люб живот и честь его.

День перешел в сумерки. Они долго сопротивлялись наступлению тьмы. Но вот померк их последний проблеск, и ночь вступила в свои права.

Русский лагерь был празднично освещен. Со стороны казалось: армия справляет некое торжество. Языки пламени вставали со всех сторон, колебля тьму.

Жгли телеги, каруцы, повозки... Жгли все то, что брали в запас в предвидении надобности, что могло гореть.

Насупротив, в полумиле от лагеря, турок оседлал высоту. И, без сомнения, дивился, глядя на празднество в стане неприятеля. Дивился небось и недоумевал, гадал и гадел.

Высота была испятнана кострами: турок тоже бодрствовал, калил свои большие казаны, готовил свою турецкую еду.

Петр знал: скоро костры на высоте погаснут, останутся лишь дымящиеся головешки да уголья, похожие издали на светящиеся звериные глаза, а то и на красные звезды, низко повисшие над горизонтом. И турецкий лагерь погрузится в сон. Ночь заповедана Аллахом для сна правоверным, пророк Мухаммед повторил эту заповедь в Коране.

— Отдали проклятому турку гору, мать вашу так! — выругался царь, ни к кому, впрочем, не обращаясь. — Отдали, отступили, а теперь нехристь глядит оттуда на нас и все видит, что в лагере детсяя.

— Не военный я человек, ваше царское величество, а и то не отступил бы оттудова, — поддакнул Шафиров.

Петр махнул рукой. Поздно! Поздно сетовать и рассуждать, ровно сопли размазывать. Коли был бы он в авангарде Янусовой конницы, тогда и высота была бы удержана, и басурмане не подступили бы столь дерзко.

Пора было снимать рогатки, ограждавшие лагерь, и потаенно уходить с места, оставя горящие костры: пусть басурман думает, что русские все еще варят свои каши. Следовало быстрее достичь урочища, занять позицию, окопаться, оградиться. С рассветом турок кинется по пятам.

Ничего не поделаешь, удел, увы, только один — оборона. Пусть и активная, но оборона. При эдаком превосходстве неприятеля иного не оставалось.

Горько было на душе у Петра, смутно, тревожно. Эдакий афронт! Думал лишь о том, как спасти войско, как сохранить лицо. Корил себя — в который раз! — за то, что поддался порыву, рисовал победительные картины, зарвался, завел армию в эдакие палестины, не све-

давшись об обстоятельствах, хотя все обрисовывалось как в густом тумане...

Да, промедлили, не вышли наперед визиря на Дунай. А ежели бы и вышли, что тогда? Смогли бы столь малой силою воспрепятствовать ему переправиться на обширном театре?

Допустил непростительный просчет, не обмыслил как должно было план кампании, понадеялся на магию Полтавы, на союзников, будь они неладны. При тихли, попрятались в свои норы единовверцы, словно и не бывали... Август! Брат Август... Черт ему брат! Королевское слово — Слово. В момент растопилось, и нету его.

Один Кантемир остался верен. Верен, да слабосилен. Светлая голова, ничего не скажешь, да что толку. Эвон сколько у него под рукою светлых голов, а кто предостерег?

Более же всего виноват сам. Ибо знал: боялись ему перечить — был гневлив, дубинкой проучал. Вот и поддакивали.

Много поддакивателей было. Знал сему цену. Знал непостоянство фортуны. Увы, не добро голову чесать, коли зубья у гребня выломаны.

Корил себя, корил. Как бы отрезвел: пришло особое состояние ума, когда все видится в ясном свете. Ныне нельзя было допустить ни единой промашки, следовало выверить каждый шаг. И за генералами глаз надобен — явили себя не лучшим образом.

Петр обходил лагерь. Его сопровождали Шереметев, Репнин, Макаров, Алларт и Вейде. Поторапливали: грозный неприятель был близко, подмигивал им багровыми глазами головешек, незримо тайлся в темной оторочке кустов, пугал непонятными звуками.

Ревущие ребятенки, молча кланявшиеся ему женщины, — в который раз подивился, сколь их много, — раздражили царя.

— Бабы на ворота виснет, — буркнул он. — Кабы из-за них не засели.

Спутники его помалкивали. Не сам ли царь подал пример. Возит за собою царицу-лютерку, да еще со всем ее дамским штатом.

Петр на них покосился:

— Ведаю, что в мыслях держите: царь-де сам грешен. Дак ведь я все-таки царь ваш. Сказано древними: что положено Юпитеру, то не следует быку. Царица — лекарка моя, — прибавил он вполголоса, будто в оправдание.

Видели, ведали: помягчел царь под призором Екатерины. От прежней суровости, доходившей порою до свирепства, немного осталось. Все тут, как видно, сошло: теплые руки царицы да нынешние тяготы.

Звучали негромкие команды, солдаты смыкали ряды, ровняли шаг, слышался шорох сапог, мягкое шлепанье копыт. Бесконечные колонны проваливались во тьму. Шли ощупью, наталкиваясь друг на друга, наступая на ноги, чертыхаясь и снова наталкиваясь.

Скоро ли конец их пути? Кто про то ведал? Господь всемогущий, Царица ли Небесная, царь ли, генералы ли его? Изнемогло все естество, ожесточились души: сколько можно идти и идти, шагать да шагать, рысать да рысать! Силы уже на пределе, все ушли в движение, казавшееся бесцельным.

Все было напряжено у бредущих ночной неведомой дорогою: глаза, уши, нервы, ноги, все тело. Скорей бы рассвело, развиднелось. Кабы не короткая июльская ночь, совсем бы изнемогли в этом безвидном пространстве, полном неизвестных опасностей.

Всяк ощущал свою малость перед этой звездной бескрайностью, свою ничтожность пред очами Всевышнего, сурово, осудительно глядящего на чад своих, занесенных жестокой волей земных владык на край света.

И сам царь почувствовал такое умаление и старался развеять его в беседе. Собеседник его был занимателен — господарь Димитрий Кантемир, а в толмачах — Феофан Прокопович, ибо не было у них общего языка.

— Языки отпирают мир, — вздыхал Петр. — Я же самоуком похватал немецкий да голландский, однако не шибко преуспел.

Везла их царская карета, покачивая как в люльке. В крошечной тьме виден был лишь тлеющий глазок царской трубки. Казалось, все было устроено ежели не для сна, то для дремы. Но сна не было ни в одном глазу: чересчур тревожна была ночь.

— Повелел Аллах: предстаньте предо мною со своими намерениями, а не со своими делами, — просвещал Кантемир царя с его неумным любопытством. — А потому мусульманин боится и в мыслях прогневать свое божество. Пять молитв обращает он ему ежедневно: первую из них на заре, а последнюю в начале ночи. Пред каждою молитвой правоверный должен очиститься, совершить омовение, ибо заповедал пророк Мухаммед: «Чистота есть половина веры». Пост, паломничество в священный город Мекку, множество других строгих предписаний сопровождает мусульманина на протяжении всей жизни. Коран разрешает иметь четырех законных жен и столько наложниц, сколько правоверный в состоянии прокормить...

— Чудно, но отнюдь не худо, — хмыкнул Петр. — А развод?

— Развод прост — муж говорит жене трижды: «Я тебя отвергаю!»

— Тоже не худо, — одобрил простоту обряда царь.

— «Мы отправили каждому народу посланника», — изрек Мухаммед, окрещенный «печатью пророков». Вместе с ним главных пророков шесть — Адам, Ной — по-турецки Нух, Авраам — Ибрахим, Моисей — Муса, Иисус — Иса.

— Стало быть, почитают Священное Писание?

— Весьма почитают. Мухаммед положил его в основание Корана. Это и понятно: Коран создавался тогда, когда Ветхий и Новый Заветы насчитывали много столетий и уже почитались священными...

Рассказ Кантемира был долог и занимателен. За ним незаметно подступил белесый рассвет. То, что казалось таинственным, тревожило и пугало, обрело свои обычные очертания. Одна за другой потухали звезды. Последней растворилась в небесном млеке Венера — звезда пастухов и странников.

Воинское устройство турок, его подробности — вот что, естественно, интересовало царя более всего. И в этом Кантемир был весьма сведом, будучи, так сказать, у самого основания и источника.

Петр был удовлетворен, узнав, что нет у турок регулярного строя, равно и никаких правил: каждый воюет как умеет. По-прежнему в ходу лук и стрелы, и не только у татар. Берут победу только числом, а отнюдь не умелостью либо доблестью. Команды воинской чураются, а высшим отличием почитается смерть за веру. Погибшему в бою прямая дорога в мусульманский рай, где его станут ублажать десять тысяч гурий...

— Нешто можно выдержать, — снова усмехнулся Петр. — Разорвут на мелкие клочки!

Тем временем гигантская человеческая змея продолжала неуклонно ползти к своему новому пристанищу. Движение ее было молчаливо и неумолимо. Люди шли, торопясь, а молчание красноречивей всяких слов говорило о том, каково вымотала их тревожная бессонная ночь. Они двигались как бы по инерции: завод еще не кончился, он продолжал действовать уже на изнеможенных, слабеющих оборотах. С трудом влекли свою ношу и лошади.

Неверный молочный свет постепенно усиливался, ясел, разливаясь все шире, солнце еще было не близко, но оно уже касалось горизонта, готовясь к своему торжественному восхождению.

Неожиданно где-то позади затрещали выстрелы, слышались крики, поднялся переполох. Вся человеческая змея встрепенулась. Переполох нарастал, тревога мало-помалу стала общей, захватив всех. Казалось, арьергард объединился от общего строя и потерялся за холмами.

Перестрелка нарастала.

— Скачи к князю Репнину, — приказал Петр дежурному денщику. — Пусть тотчас доложит, что стряслось. А ты, граф, — обратился он к Шереметеву, — распорядись, чтобы авангард не двигался столь торопко, а то и вовсе стал.

— Турецкий час наступил, — сказал Кантемир, — теперь уж они не отстанут. Полагаю, то татары кусают хвост арьергарда. Прикажите, государь, усилить фланги испытанными отрядами.

Как ни берег для решительного часу Петр свою гвардию — полки оставались при нем во все время похода, — пришлось отрядить семеновцев в конном строю поспешить в подкрепление Репнину.

Там, позади, бой все разгорался. Вот уже заговорили пушки, затявкала малофунтовая полковая артиллерия. Ей басовито ответили гаубицы.

— Пошел турок, пошел, — загалдели солдаты и повернулись к той стороне, где шел бой. Все силились понять, что же происходит там, в версте от них.

Петр был в центре людского возбуждения, нараставшего волнами. Он все еще доподлинно не знал, что происходило там, за краем холмистой гряды.

Но вот прискакали люди Репнина. Глаза были вытаращены; то ли от пережитого, то ли от трепета перед лицом царя.

— Ваше царское величество, — вытянулся перед Петром адъютант князя. — Его сиятельство генерал-лейтенант и кавалер...

— Не тяни! — гаркнул Петр. — Что там у вас? Ну?

— Турок обоз отбил...

— Просрали! — заорал Петр, побагровев, щека тотчас задергалась, он стал унимать ее рукой. — Кто попустил?!

Адъютант обомлел. Страх сковал его. Он силился что-то сказать, открывал и закрывал рот, но язык точно прилип к гортани. Макаров, стоявший рядом с царем, видя, что на его повелителя вот-вот накатит приступ бешеного гнева, шагнул к адъютанту и потряс его

за плечо. Подействовало. Офицер, бледный от страха, наконец заговорил:

— Осмелюсь доложить, ваше царское величество. Аникита Иванович князь Репнин за ночью темью недоглядел — торопко вперед ушел с первыми-то полками. А обоз возьми и оторвись — не поспел, стало быть, за полками. Только развиднелось, турок и наскочил. Смял охрану и пошел косить...

— Отбили обоз! — хрипло выдавил Петр. Он все еще не мог сладить со щекою, а глаза налились кровью. — Сколь повозок там было?

— Близ шести сот. Кои с женами и детьми генеральскими да штаб-офицерскими, кои со служителями ихними, с добром. Его сиятельство подробно донести изволит...

Репнин опасался показаться на глаза царю. Его посланец доложил, что князь-де находится в гуще боя, что турок продолжает теснить арьергард.

Вскоре перед царем поставили уцелевших служителей, бывших при том обозе. Они пали на колени.

— Вашей вины нет, — Петр впери в них выпуклины глаз. — Сказывайте!

— Великая была страсть, — заикаясь от страха, бормотали служители, — чудом уцелели — милостив Господь, да не для всех.

— Никого не щадили басурманы — ни жен, ни детей. Всех порубили, кто им попался, сколь много невинных душ погибло...

— Довольно, — устало молвил Петр. — Сие нам наука: ничем не обременять воинский строй. — Он трижды перекрестился. — Отслужим молебен за упокой погубленных, принявших мученическую смерть. Теперь всем в строй! Баталия, видно, густеет.

В самом деле: звуки боя становились все громче, охватывая колонны с флангов, как и предсказывал Кантемир.

Близость опасности производила на Петра странное действие: в нем всходила и подымалась все выше вол-

на яростного азарта, ожесточения, мужественной решимости. Ни робости, ни опасения не было и в помине, как у истинного полководца, желающего во что бы то ни стало победить.

Турок наваливался все отчаянней. Петр отправился к царице, дабы успокоить ее и заодно проверить, каково оберегают ее женский взвод.

— Как ты, Катеринушка? — спросил он, входя. — Не дрожишь? — Вокруг царицы сбились ее девицы, как цыплята вокруг наседки в минуту опасности.

— Вот уговариваю дурочек моих, чтоб ничего не боялись, — отвечала Екатерина со смешком. — Коли с нами наш царь-государь, басурману ни за что не подступиться.

— И верно, матушка, — отобьем турка. Он воевать по правилу не способен, а без правил — какая война. Не пугайтесь: с нами Бог и крестная сила, — повторил он привычно. — О вас особое попечение: вокруг стеной стали преображенцы. Стена та несокрушима, никто ее не пробьет.

Он поцеловал и перекрестил царицу, осенил крестным знаменем всех ее фрейлин разом и вышел.

Центром, куда стекались донесения, стала палатка Шереметева. Петр направился туда. Старый фельдмаршал чувствовал себя уверенно.

— Вот, господин контра-адмирал, — обратился он к царю, — доносят, что турок остервенился, лезет всею своею ратью: янычары да спахи. Но огня нашего не выдерживают: как наскочат, так и отскочат. Строя не держат, нету у них строя...

— Про обоз слышал? — перебил его Петр.

— Как не слышать. Токмо у страха глаза велики: по началу мне докладено было, что две с половиною тыщи воез отбили. Оказалось, вчетверо менее.

— Мне уж было доложено про шестьсот. Все едино: осрамился князь со своею дивизией. Сколь невинных душ погублено.

Движение колонн и вовсе замедлилось. Шереметев приказал обнести рогатками со всех сторон. Солдаты изготовились к отражению атаки. По начищенным багнетам стекали лучи восходящего солнца как предвестье стекающей крови.

И вот — началось.

Турецкая конница вырвалась вперед и, нахлестывая лошадей, понеслась на русское каре в надежде ошеломить, найти слабое место. Рты были ощерены в безумном крике: «Л-ла, ла-а!»

Гренадеры дали залп с колена. За ними изготовились позади стоящие, успевшие зарядить ружья.

— Пали!

Залп, как и первый, был нестроен, но сокрушителен. Вал из бьющихся конских тел вырос перед рогатками. Спахи корчились на земле. Их уцелевшие товарищи с ходу завернули коней и молча понеслись назад.

Атака захлебнулась. В русских рядах не произошло замешательства. Оттого ли, что наступила разрядка боем после одуряющего ожидания, после бездельного движения, или потому, что царь был с солдатами и его фигура, возвышавшаяся над всеми, излучала уверенность.

— Прав был князь Кантемир: турок наскоком воюет, — оживленно воскликнул Петр. Похоже, его воодушевила картина мимолетного боя. Но следовало ждать продолжения, притом скорого.

— Граф Борис Петрович, — обратился Петр к Шереметеву. — Прикажи полковой артиллерии зарядить пушки картечью. Против спахив картель премного чувствительней. А гренадеры встретят янычаров залпами, коли они надвинутся.

Очередная волна спахив накатилась с тем же безумным ревом. Летели, размахивая ятаганами, держа наперевес пики и копья. Да, были среди них и копьеметатели...

— Пальники готовы! — выкрикнул генерал-фельдцеймейстер Брюс. Команда понеслась от расчета к расчету.

— Пали, ребята!

Медные тела пушек изрыгнули огонь, и очередной вал из конских и человеческих тел вырос перед рогатками.

— Простая вещь рогатка, а сколь сильно держит, — глубокомысленно изрек Шереметев.

— Пушка того проще, а держит не в пример сильней, — заметил Петр. Он улыбался. — Глуп турок, людей не жалеет, прет на рожон. Пугает? Как думаешь, Борис Петрович?

— Должно, пугает, — отозвался Шереметев.

Он оставался невозмутим во все время боя. И со столь же невозмутимым видом выслушивал донесения, притекавшие с разных сторон.

Да, великий визирь, он же садразам, не жалел людей: чего-чего, а людей у него хватало, и он мог заткнуть любую брешь человеческими и конскими телами.

Теперь турки принялись обтекать русские каре, стремясь отыскать в их протяженном корпусе слабое место, чтобы ворваться внутрь, произвести опустошение и панику и заставить спастись бегством...

Садразам и его штаб руководили издали и все ждали победных вестей, в уверенности, что русские не устоят. Что раз они отступают — а они, несомненно, отступали — под натиском его армии, то в конце концов отступление должно превратиться в бегство.

Но русский клин был сжат тесно, в кулак. Кулак этот не удавалось разжать никакими силами. Более того — он наносил удар за ударом. И удары эти становились раз от разу сокружительней.

Визирь ждал перелома. Он пребывал в уверенности, что перелом должен наступить: его силы многожды превосходили русские. Однако турки терпели урон. Их атаки были слепы. Они не достигали цели.

Петр был спокоен: русский строй показал свою несокрушимость. Он не мешался в команды Шереметева. Волей-неволей турки должны были утомиться.

Солнце, закончив свое восхождение, начало плавно спускаться с небесной тверди. Оно навело обычную жару. Но странное дело: жара боя пересилила — за тревогой смертного боя обе стороны, казалось, забыли о солнце и его немилосердных лучах.

Турки мало-помалу остывали, видя тщету своих усилий и возроставшие потери. Но они все еще насканивали, злобно, но бессильно, все слабей и слабей.

— Скоро они уймутся, — предупредил князь Кантемир. — Наступает время молитвы. Молитвой нельзя пренебречь даже в пылу битвы под страхом наказания Аллаха.

Аллах не награждал, но и не наказал: войско визиря прервалось на молитву. Кантемир знал, что говорил. Большинство его предсказаний сбывалось, и благоволение Петра росло. Только вот малое его войско заребело перед своими вековыми владыками. Пришлось отвести его подале от передовой.

— Служиторы мои не из лучших, — со вздохом признал Кантемир. Он мыслил трезво и столь же трезво оценивал и свое господство, и своих людей. — Военское ремесло не их участь. Они все крестьянской породы, более всего к земле приучены и с нею сроднились. Так повелось от века.

— Слышал я, что турок запрещал им братья за оружие, — сказал Петр.

Кантемир подтвердил:

— Земля наша считалась прикрытой щитом султана — ее призвано было оборонять войско султана. А нашему народу надлежало то войско кормить, поить и всячески удовлетворять. Мы ведь райя, то бишь стадо. А стадо, известное дело, надо стричь.

— Да и время от времени резать, — вступил в разговор Савва Рагузинский, исполнявший в этот раз обязанность толмача, или, как принято было здесь говорить, драгомана.

Савва был человек весьма пронырливый, сведущий, многоязычный, а потому и бесценный. Благодаря свое-

му великому пронырству он ухитрился проникать даже сквозь тюремные затворы — в Семибашенный замок — Еди-кале, где был заточен посол Толстой. Петр его заметил, приблизил и отличил: у царя был острый глаз на людей полезных.

И теперь, слушая Кантемира, переводя взгляд с него на Савву, он думал о том, сколь еще много нужно полезных отечеству людей. Он уже не сомневался, что в лице Кантемира приобрел России человека многополезного, незаурядного. А еще он думал — не мог не думать — о том, каково придется дальше. Они отбились и еще раз отобьются. И еще много раз. Было уже очевидно, что визирь уготовил русскому войску западню: путь вперед закрыт, путь назад если еще не отрезан, так непременно будет отрезан: татары переправились и нету пока довольной силы, чтобы выбросить их на левый берег...

Войско-то отобьется. Да вот пробьются ли к нему обозы с провиантом, фуражом, с воинским припасом. Кони падают уж от бескормицы, все, что можно, съедено, обглодано, смолото. Люди терпеливей любой скотины, да только и человеческому терпению конец приходит. Пока едят конину, но можно ли остаться без коней?! В конце концов, кавалерия и спешенная воевать может. Телеги можно сжечь либо порубить, но не все же, не все... Эвон сколько раненых, а станет много больше. Их не бросишь, не закопаешь в землю, как убитых. А кто станет везти пушки и иной самонужный снаряд?

Сколь же много придется рыть могил на сем тяжком пути! Одному Господу то ведомо. Генерал-майор Волконский смертельно ранен, часы его сочтены; кончался зять генерала Алларта подполковник Ленрот. Уже приняли смерть на поле боя полковник, подполковник, два капитана, три поручика и близ двухсот солдат. А более того впереди. Опять же раненые. Доктора и их добровольные помощники из генеральских и офицерских жен да служанок сбились с ног, оперируя, перевязывая...

Тяжко! Не послать ли Савву либо Шафирова к визирю с письмом о замирении?

Эк спятил! Савву-то нельзя. Он, по турецкому разумению, изменник, ему надо голову срубить. Жаль. Савва небось визиря бы на мир согласил.

Петр Павлович, подканцлер — вот отличнейший переговорщик! Языки знает, хитрован прензряднейший, выскользнет там, где иные увязнут. Его надобно послать главным, а с ним слугителей из Посольской канцелярии, да непременно Остермана Андрей Иваныча, искusstника по части дипломатии.

Визирь, говорят, несговорчив, однако ему деваться тож некуда: голыми руками не возьмет, да и в рукавицах не ухватишь. Сколь мы за краткое-то время турок помолоть успели. Понял небось.

Царь приказал елико возможно ускорить движение, дабы, пользуясь всякой минутой передышки, уйти как можно дальше, к месту постоянного бивака, где можно будет прочно стать для обороны. Ибо все ясней и ясней рисовалась ему тягостность положения войска.

Надежда все еще теплилась. Но по мере того как день угасал, как росли потери, угасала и она, надежда. Надежда на замирение... Надежда на заступление Господне... Надежда на...

Нет, чуда не будет. Не возьмет турок в честном бою, станет брать на измор, осадит и уморит. А сего допустить нельзя. Стало быть, придется пробиваться. Бог весть, что из этого выйдет...

Помолившись, турок навалился с новой силой. Лез, не жалеючи жизни, под пули и картечь. Грохот стоял несусветный, крик и стон, предсмертное ржанье лошадей, тоже похожее на стон...

Клубы черного дыма там и сям подымались к небу. Оно было безмятежно и не омрачено ни единым облачком. Горели кустарники, иссохшие до пороховой кондиции, одиночные деревья, потерявшие листву и, казалось, уже умершие.

Царь по-прежнему шагал среди своих приближенных, возвышаясь над ними головой. Фельдмаршал Шереметев впал в изнеможение: сказалась бессонная ночь, а был он в преклонных летах. Петр, глядя на его неверные движения, слыша заплетающуюся речь, повелел ему передохнуть в карете. Сам он держался бодро, и генералы его, глядя на царя, бодрились. Ждали распоряжения.

— Ступайте к своим дивизиям, токмо на рожон не лезьте, — распорядился Петр. — Не то останусь без генералитету, не приведи Господь. — Слабая усмешка мимолетно осветила лицо. Петр пожалел, что нет с ними Ренне и Чирикова. Вот ежели бы нагрянули они да ударили турка с тылу — было бы знатно. И исход баталии мог стать иным.

«Боже всемогущий, неужто не вызволишь ты христолюбивое воинство!» — взмолился Петр, шагая среди грома и стопа земного в плотно сжатой колонне гвардии, прикрывавшей его и сподвижников. Другой гвардейский полк и бомбардирская рота находились в самом пекле. И бились доблестно, учиня широкие прокосы в рядах наседавших янычар. Визирь сего не видел: был далеке от этой мясорубки, а коли бы увидел, то, ежели не глуп и не безжалостен, приказал бы бить отбой.

Но он не видел. Янычары терпели страшный урон. Но, как видно, янычарский ага — главный начальник — известил его о том, что среди них поднялся ропот. И тогда визирь приказал прекратить атаки.

Побойще медленно утихало, оставляя после себя груды тел и ручьи крови. Обе стороны принялись подбирать убитых и раненых, не препятствуя в том друг другу.

Священный обряд, благословленный и Христом и Аллахом: предание павших земле, а потому огня никто не открывал. Его опасно было отлагать: тлен в жару мгновенно поражал тела, и уж тяжкий его запах растекался по долине, преследуя живых.

Служил Феофан Прокопович, служили полковые священники — за упокой душ сраженных, кадили и кропили, но ладанный дух не мог перебить удушливого запаха разлагавшихся тел.

— Упокой, Боже, рабов твоих, павших за имя Христово, и учини их в рай, идеже лица святых и праведников Господних сияют яко светила, — неслоь над иссохшей землей, с трудом поддававшейся заступам. — Упокой, Господи, в месте светле, в месте злачне, в месте покойне и прими нашу печаль и воздыхание...

Печаль и воздыхание... Быть великой печали и великому воздыханию. И позади, а еще более впереди. Скольких не оплачут матери и жены, дети и внуки... Сколько горя витает над этой иссохшей землей, не достигая родных пределов. И что далее-то будет, каково еще придется им пострадать! Не видно облегчения участи, неверен завтрашний день...

Солнце, изнемогшее от созерцания кровавого побоища, наконец скрылось за холмами, нехристи творили вечернюю молитву, и движение русских колонн ускорилося.

Шли по Ясской дороге. Она проходила через урочище Станилешты, где уже окопались полки пехоты, успевшие прийти раньше. Порешили идти всю ночь, дабы соединиться с ними и стать там лагерем.

Ночью шаг замедлен: дороги не видать. Опустилася вечерняя прохлада — стало легче дышать. Усталость валяла с ног: солдаты ухитрились спать на ходу, задние натыкались на передних, просыпались и снова засыпали: ноги во сне мерно шагали как бы сами собою. Скорей бы, скорей привал, передохнуть бы хоть самую малость. Изнемогли все, на ногах держало напряжение души. Оно не давало остановиться; оно, это напряжение, было эхом дневного боя и ожиданием нового боя. Все в этом ночном марше были равны: солдат равен генералу и самому царю, потому что все одинаково претерпели и всех уравнила ночь.

Ночь была царицей-покровительницей. Но царствование ее было, увы, кратковременным: то была июльская ночь — короче воробьиного носа.

Но вот тьма стала выплывать. Открылись предметы знакомые: развесистый старый орех, сходявший ночью за дракона, обломок скалы — окаменевший богатырь, низкорослые кустарники — затаившаяся татарская рать...

Авангард завидел русский лагерь! Там приманчиво горели костры, суля кашу ли, вареное ли мясо — все едино горячее, коего не едали уже Бог знает сколько времени. Наконец-то передышка! Пусть краткая — поест бы, вздремнуть, набраться силы для неотвратимого сражения. И ничто не затронуло чувств: ни свежесть пробуждающегося утра, ни славивший его птичий хор, ни близость Прута с его быстрыми струями... Хотелось лишь одного: рухнуть ничком на землю, еще теплую, еще не успевшую остыть за ночь, забыться коротким сном. А потом — будь что будет!

Царь бодрствовал. Усталость и бессонные ночи отложили свою печать: лицо осунулось, щеки впали, глаза покраснели, движения были скованы. И щека... Проклятая щека — ее то и дело приходилось унимать рукою: она дергалась сильнее и дольше обычного. Казалось, царь гримасничает.

Петр обходил позиции. Превозмогая себя, люди лихорадочно трудились. Ретраншемент был открыт, рогатки присыпаны землей, крайние фланги лагеря, выстроенного как бы треугольником, упирались в реку. Астраханский, Ингерманландский, Преображенский и Семеновский полки стали на левом фланге, где приступ полагали самым ожесточенным. Гренадерские полки заняли вершину треугольника. В центре расположился вагенбург — прямоугольник из повозок, своего рода крепость, в которой укрывались в основном женщины, а рядом — царская ставка.

Петр казался довольным взятыми предосторожностями и всей диспозицией. Он заговаривал с начальниками, со старослужащими-гвардейцами, многих из них он

знал по именам. Видел: несмотря на изнурительный марш, на изнеможение, дух был высок.

Царь был прост и доброжелателен, и люди тянулись к нему.

— Будет пекло, ребятушки. Кабы не изжарились.

— Никак нет, ваше царское величество, мы сами турка подпалим.

— Дали жару да еще дадим!

— Знаю, не будет потачки басурману, я на вас надеюсь. Христос с нами.

— И наш царь-государь!

Меж тем турки накапливались и накапливались на окружающих холмах, обтекая русский лагерь со всех сторон. Их полчища уже были различимы простым глазом. Похоже, визирь торопился замкнуть кольцо и вопреки обыкновению следовал за неприятелем по пятам ночь-полночь. На противоположном берегу Прута заняли холмы татары. Меж них вкрапились поляки и шведы.

Тишина казалась зловещей. Она вот-вот должна была разрушиться.

Русский лагерь напряженно слушал эту тишину: самый малый звук становился значимым и разрастался, усиленный напряженным ожиданием. Вот прозвучала беспечная переключка полевых жаворонков, тонко-тонко засвистали суслики — земля, как и воздух, пела свои песни. Над головами, свистя крылами, пронеслась стайка уток и плюхнулась в прибрежных камышах...

И вот — началось. Послышались нарастающие крики «Ал-ла, ил-ля!» — и из-за холмистой гряды вынырнула лава спахиев, размахивающих ятаганами. Знакомое начало! Коня летели во весь опор. Но расстояние ослабило запал, глотки стали хрипеть, кони спотыкаться. «Ал-а-а-а...»

В грохоте залпа заглох последний возглас. Гренадеры не впервой сбивали спахиев и действовали расчетливо — они уже знали дело.

Жаль было коней — добрые были кони. Смертельно раненные, они с жалобным ржаньем, похожим на чело-

веческий стон, силились привстать на передние ноги, бились в последних конвульсиях, хрипели и умирали. Раненые всадники ползли к своим, оставляя кровавые дорожки.

Безумие, чистое безумие! Гибельные атаки шли одна за другой. Но турецкие начальники, все эти аги, белюк-баши, хумбараджи-баши, чорбаджи, юзбаши и другие, бестрепетно посылали своих солдат на верную смерть. Смерть во славу Аллаха, ведущую прямоком в мусульманский рай с десятью тысячами гурий.

Пространство перед ретраншементом было усеяно трупами людей и лошадей. Все это были воины Аллаха — русские не покидали своих позиций, надежно укрывшись за земляным валом, который продолжали методично насыпать. Вылазки были преждевременны, и Петр приказал не гоношиться.

У турок продолжалось движение. К атаке готовился гигантский клин янычар. В подзорные трубы начальников было видно, как примыкает шеренга к шеренге, как разбухает основание клина, как суетятся белюк-баши, перебегая от строя к строю. По-видимому, клин был задуман как таранная сила, способная пробить южный фланг, который казался туркам слабейшим.

— Ишь, сколь много собирается, — озабоченно проговорил Шереметев. — Как поползут, станет ясно, куда целят.

Главный артиллерист Яков Вилимович Брюс со своей педантичной любовью к точности не отрывал глаза от окуляра. Он считал число шеренг, шевеля губами.

— Четыре сотни шеренг, — наконец объявил он. — Выходит, близ осьми тыщ. И пушки по краям...

— Бегом на фланги, — оборотился Шереметев к ординарцам. — Пушай готовят встречу.

По всей длине ретраншемента солдаты лихорадочно отрывали окоп в глубину, и высота бруствера поминутно росла. Пушки и фузен были заряжены, фитили и пальники медленно тлели, и тонкие струйки дыма вились над окопами.

Наконец янычарский клин медленно двинулся и пополз к русским позициям. Тысячи ног вздымали клубы пыли. Впереди шагали три турецких богатыря саженого роста. Замыкала клин широкая полоса конницы.

Петр усмехнулся нервной усмешкой:

— С меня вымахали. Таких бы в гвардию. Полагают пробить широкую дырищу в нашей позиции да запустить в нее спahiев. Мыслят просто, да ведь мы не просты. Зри, Борис Петрович, куды целят, тот фланг и подкрепи. Да выждать надобно, подпустить поближе.

— Экая цель расстрельная! — хладнокровие покинуло Шереметева, да и все — Брюс, Алларт, Вейде, Макаров, их адъютанты, стоявшие близ царя, — были возбуждены. — Дураки турки, ей-ей дураки! Экую дуру-фигуру удумали.

Он еще поглядел в свою зрительную трубу и, выждав некоторое время, сказал Алларту:

— Ступай к дивизии. Теперича ясно: тебе сей клин своим клином вышибать. Туда ингерманландцев пошло в усиление.

Янычарский клин продолжал все так же медленно ползти вперед. Сажень за двадцать они завопили неизменное: «Алла, алла!» То был не крик, а устрашающий рев тысяч голов. Он сопровождался беспорядочной стрельбой.

И тут разом заговорили пушки и фузеи русских. Грохот оглушал. Клубы дыма заволокли долину. По земле побежали языки огня — горела пересохшая трава.

Дым наконец развеялся. Взорам открылась картина свирепого побоища. Поле было усеяно телами. Янычарский клин был разбит и в панике поворотил назад. Немудрено: цель была истинно расстрельная, били в упор, огонь был плотным: ингерманландцы поспели и подбавили.

— Крепко стоим, — резюмировал Шереметев.

— Однако ж обложены кругом, — покачал головой Петр. — Нету нам ходу, Борис Петрович, ни взад, ни вперед — никуды.

Шереметев и Брюс не отрывали глаз от окуляров.

— Снова зашевелились, — заметил Брюс. — Начальники их бодрят... На гибель посылают...

— Припасу огневого у нас хватит и на этих, — сказал Шереметев. Впрочем, тон у него был озабоченный. — Однако прикажи лишнего не палить, токмо с осмотрительностью.

Время ускорило бег. Турецкие атаки накатывали волна за волной. Все они были отбиты с малым уроном для обороны.

— Сколь у них убитых, счесть не можно, — прокомментировал фельдмаршал. — Я так считаю: не менее осьми тыщ.

— Урок преподали им знатный, — заключил Петр. — Однако и нам торжествовать не след: на той стороне татары да шведы пушки установили, дабы нас к воде не подпускать. Ихние ядра достанут, достанут ли наши, не ведаю.

— Достанут, государь, — уверенно заявил Брюс. — Осьмифунтовые достанут.

У турок наступил час молитвы, они готовились к вечернему намазу. Русские тоже молились, осеняя себя крестным знамением. Самую короткую молитву возносили они к небесам:

— Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя...

И еще:

— Спаси, Господи, и помилуй раб твоих: отца моего духовного, родителей моих, сродников, начальников, ставников, благодетелей, любящих и ненавидящих мя... Упокой, Господи, души усопших раб Твоих...

И еще:

— Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние Твое, победы благоверному царю нашему Петру Алексеевичу на супротивных нехристи даруя...

Передышка наконец наступила. Желанная передышка. Час обращения не только ко Всевышнему, но и к разуму.

— Господа начальствующие, извольте ко мне на совет, — Петр сделал приглашающий жест.

Перед этим боярин Ион Некулче допросил пленных. Они показали: янычары взбунтовались и пригрозили визирю перевернуть котлы вверх дном, что означало непокорство и отказ идти в бой.

— Вы слышали, господа? Видать, мы славно потрудились. Но что далее? — спросил Петр. — Глад и гибель? Коней, почитай, скоро доедим. А как без оных будем? Турки да татары нас кругом обложили, ровно охотники медведя в берлоге. Вижу один выход — заморенье. Янычарский бунт нам весьма на руку.

— Лучше погибнуть, нежели положить оружие! — воскликнул горячий Михайла Голицын.

— Погибнуть проще простого, — усмехнулся Головкин. — Государь дело говорит: надобно писать визирю, на каких кондициях согласен на мир.

— Мы можем пробиться, господа, — высказался обычно молчавший Адам Вейде.

— Пробиться-то мы пробьемся, а какой ценой, сколь людей положим, — возразил Петр. — Гаврила Иваныч резонно молвил: писать надо визирю от твоего имени, Борис Петрович, как ты есть начальствующий над войском. Турок сколь народу положил, пришел в изнеможенье. Может, и сговоримся.

Сочиняли письмо визирю Головкин с Шафировым. Шереметев подписывал, а Петр утвердил. Вот как оно выглядело:

«Сиятельный крайней везир его салтанова величества. Вашему сиятельству известно, что сия война не по желанию царского величества, как, чаем, и не по склонности салтанова величества, но по посторонним ссорам. (Намек на Карла.) И понеже то уже дошло до крайнего кровопролития, того ради я за благо рассудил вашему сиятельству предложить, имеете ль склонность, как мы о том имели известие, не допуская до такой крайности, сию войну прекратить возобновлением прежнего покоя, которой может быть к

обоих сторон ползе и на добрых кондициях. Буде же к тому склонность не учините, то мы готовы и к другому, и Бог взыщет то кровопролитие на том, кто тому причина. И надеемся, что Бог поможет в том нежелающему. На сие ожидать будем ответу и посланного сего скорого возвращения. Из обозу, июля в 10 день 1711-го».

Началось тягостное ожидание. Но виду велено было не показывать. Петр приказал играть полковой музыке: у нас-де дух не упал. В самом деле, все — от нижних чинов до самых верхних — приободрились. Музыке аккомпанировали турецкие пушки: топчу-артиллеристы подтянули все свои четыреста орудий и палили, не жалея ни ядер, ни картечи. Палили в белый свет, дабы учинить побольше шума. Шум был большой, урон малый.

Генерал Видман предложил устроить вылазку: есть, мол, охотники, и он ручается за успех. Царь согласился: пусть визирь знает, что русские не только обороняться горазды, но и наступать. И ихнее окружение неспособно сломить боевой дух.

Генерал быстро построил ударный кулак: впереди гренадеры, за ними казаки и молдаване. Он произнес горячую, но краткую речь, которую никто не понял: генерал был из австрийков, служил в цесарских войсках и воевал с турком.

Кое-как поняли задачу: сшибить турецкие батареи. Все едино: ответа на письмо Шереметева все не было, не возвратился и парламентер.

— Марш-марш за мной! — кажется, это были те немногие русские слова, которые храбрый генерал успел освоить. Он вытащил шпагу из ножен и скорым шагом вышел из-за бруствера. Гренадеры почти бегом бросились за ним. Фитили уже дымились. Прогредел первый залп — передние поразили прислугу ближней батареи. Через головы своих товарищей палил следующий ряд. Но топчу успели опередить, и генерал Видман был сражен ядром.

Петр следил за вылазкой со своего наблюдательного пункта. Он видел, как погиб генерал Видман.

— Царствие ему небесное: экий был храбрец. Чаю, однако, принял смерть не занапрасно, — и царь перекрестился. Оборотившись к стоявшему рядом Шереметеву, сказал: — Семейство его должно обеспечить.

Над лагерем нависли не шибко плотные тучи, и стал накрапывать дождь. И славно и худо. Славно — освежил, ловили, как могли, дождевые капли. Худо — фитили да пальники могли подмокнуть. А как тогда воевать?!

— Что станем делать, господин фельдмаршал? — озабоченно спросил Петр. — Ответа от визиря нету, обложены мы до самой крайности; сей предводитель то знает. И хоть, конечно, ему нас не взять, но испробуем еще раз донять его письмом.

Шереметев вздохнул. Второе письмо сочинялось под несмолкаемый грохот возобновившейся перестрелки. Отряд Видмана, команду над которым после его гибели принял капитан Беляховский, успел-таки обезвредить три батареи. Но остальные палили остервенело.

«Послали мы сегодня к вашему сиятельству офицера с предложением мирным, но еще респонсу никакого по се время на то не восприяли. Того ради желаем от вас как наискорейше резолюции, желаете ли оно с нами возобновления мирного, которое мы с вами можем без дальнего пролития человеческая крови на полезнейших кондициях учинить. Но буде не желаете, то требуем скорой резолюции, ибо мы со стороны нашей к обоим готовы и принуждены воспримать крайнюю. Однако сие предлагаем, щадя человеческого кровопролития. И будем на сие ожидать несколько часов ответу. Из обо-зую июля в 10 день...»

— Ежели и на это респонсу не будет, станем пробиваться, — заключил Петр. — Как, господа?

Выхода не было. И все согласно закивали головами. В самом деле: был ли у них иной выход? Не было! Не

сдаваться же на капитуляцию: такого еще не бывало. Отчаянный прорыв — и будь что будет!

Приказано было жечь все лишнее, обузное. А что не можно сжечь — потопить в Пруте. Шла подготовка к решительному сражению. Отдавались последние распоряжения, в том числе и завещательные: мало ли что.

Царь уединился в своей палатке. Приказал денщикам — никого к нему не допускать. Даже царицу.

Он, казалось, сделал все, дабы вселить боевой дух и бодрость в своих соратников. Но самому было невыразимо тяжело. Все, что он строил для сей кампании, на что рассчитывал, — рухнуло. Десяносто тысяч единоверных — сербы, валахи, черногорцы и прочие — обманули, не выступили. Кантемирово войско слабосильно; тридцать тысяч поляков, обещанных Августом, не присовокупились...

«Надо быть ко всему готову, — решил он. — И к самой крайности, отчего и Господь не спасет».

И, взяв очиненное перо, он крупно вывел:

«Господа Сенат! Извещаю вам, что я со всем своим войском без вины или погрешности нашей, но единственно токмо по ложным известиям, в семь крат сильнейшею турецкою силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что без особливый Божии помощи, ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен. Ежели случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то по собственному повелению от нас, было требуемо, покамест я сам не явлюсь между вами в лице моем; но ежели я погибну и вы верныя известия получите о моей смерти, то выберите между собою мне в наследники...»

Он перечел написанное, пригорюнился, затем свернул бумагу, запечатал ее своею красной печатью на шнурке и некоторое время размышлял, кого обременить столь важным и вместе с тем деликатным, а более всего конфиденциальным поручением.

Выбор пал на капитан-поручика Преображенского полка Семена Пискорского. Ему прежде доверялись особо важные и секретные поручения, и он отличался надежностью в сочетании с выносливостью, ловкостью и сообразительностью. Кого-то придется дать ему в спутники, да не одного, дабы подстраховаться.

Все вычислив, Петр вызвал его.

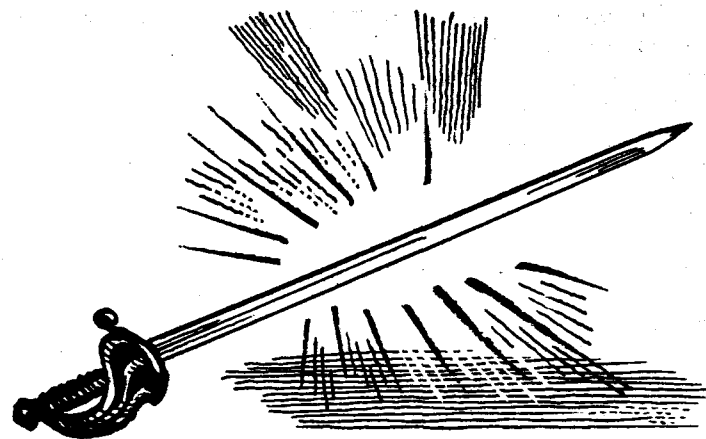
— Доверяю тебе, Семен, дело важнейшее. Бумага сия есть мое завещание Сенату. Ежели турок, от чего Боже избави, возьмет нас в полон, ты с верными гвардейцами должен от них ускользнуть и доставить ее к Москве. Но ежели будет иной исход и мы выйдем отсюда в целости, то приказываю тебе ее сжечь безо всякого замедления. Понял?

— Как не понять, ваше царское величество. Исполню в точности, не сумлевайтесь.

— Знаю: надежен, испытан. А теперь ступай и схрони бумагу до времени.

Перестрелка стала утихать. Ответа от визира по-прежнему не было.

— Что ж, господа соратники, видно, турок не идет на замирение, — невесело констатировал Петр. — Оповестить всех: идем на прорыв!



Глава пятнадцатая

ЗНАМЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРОРОКА

И сказал он: «Вы взяли себе помимо Аллаха идолов из любви между собой в здешней жизни; потом в день воскресения одни из вас будут отрекаться от других, и одни из вас проклянут других. И убежище ваше — огонь, и нет у вас помощников!»

Коран, сура 29

Голоса: год 1711-й, июль

...Первый совет, что положили по последней мере:

Ежели неприятель не пожалеет на тех кондициях, о чем послано к везиру, довольным быть, а будет желать, чтоб мы отдались на их discreцию и ружье положили, то все согласно присоветовали: итти в отводе подле реку Пруту.

Подписались руками: генералы Адам Вейде, князь Репнин, Энсберх, Брюс, князь Голицын, Остен, князь Василий Долгоруков, граф Головкин, фельд-маршал Шереметев.

Из походного журнала.
Первый Военный совет у Шереметева

Второй совет. За краткостью время простран-ных речей не объявлено; ниженаписанные пункты поставлены:

1. Итти в верх по р. Пруту; того ради немедленно приуготовляться к маршу и патронов и картеч было б довольно число, и сколько в которой дивизии будет, о том подать рапорты, а за скудостью пулек сечь железо на дробь...

4. Генералам иметь по одной коляске, а прочим никому не иметь; а у кого есть жены, верхами б ехали, а лишнее все оставить; а лошадей употребить с собою для солдат и бедных офицеров.

5. Лошадей артиллерских добрых взять с собою, а худых, не токмо артиллерских, но и всех, побить и мясо наварить или напечь; и сие, как возможно, наискорее учинить.

6. Артиллерию тягостную, також которая не надежна, разорвав, бросить в воду.

7. Бомбы и тайные вещи тем же образом упр-авить.

8. Провиант поделить поровну по полкам и, как провиант, так и мясо, нести на себе; и конечно, за скудостью скотины, не жалея лошадей и не гнушався худыми...

9. Камисарам: Бестужеву, Новосильцову, Масальскому, с деньгами следовать при артиллерии, для лучшего охранения, и присматривать обще с камисары подполковнику Зыбину. А те деньги устроить в малыя тележки, которые ныне есть в артиллерии; а буде тележек столько не будет, то разложить по

лошадям в сумках и в мешках и иметь в запас при двух третью лошадь.

У брегадиров, у полковников у всех взять сказки за их руками, что они указ слышали, к указному часу все управят.

Таковы розданы генералам: Вейду, Янушу, князю Репнину, Аларту, Энсберху, Брюсу, князю Голицыну...

Из походного журнала.
Второй Военный совет у Шереметева

...2. Телег взять указное число, а имянно: генералу полному — 6, генерал-лейтенанту — 5, генерал-порутчику — 4, генерал-майору — 2, брегадиру — 2, полковнику — 1. Протчим вьюки. Лошадей в тех во-зах иметь лутчих.

3. Фельтмаршалу и министрам воез и лошадей иметь, как добрым людям надлежит.

Из походного журнала.
Третий Военный совет

— О высочайший среди высоких, любимец султана и его око!

Истошный крик у визирского шатра нарушил благо-лепное сидение вельмож. Неторопливо прихлебывая ко-фе, они совещались, как быть дальше: русские бились отчаянно, отражая все атаки. Потери были велики, не-померно велики. Само по себе это бы ничего: гибель за правую веру почетна и почтенна. Плохо было то, что жертвы не достигали цели...

— Кто смеет нарушить покой высокого дивана, — поморщился визирь. — Куда смотрит стража! Осман-кяхья, прошу тебя: выйди, и пусть будет порядок.

Осман-кяхья, правая рука визиря, поднялся с поду-шек и вышел.

Бостанжи увещевали рослого янычара, несомненно бывалого воина: багровый рубец, вечный след чьей-то

сабли либо ятагана, перерезал лицо. Он рвался из рук державших его стражей и вопил:

— О любимец султана, до каких пор мы будем гнить в этих болотах! Или мы не воины пророка?! Или пророк не заповедал нам священную войну с неверными — джихад?!

«Фанатик, — подумал Осман-кяхья. — Но такому надо дать волю. Он способен вдохнуть мужество в наше побитое войско. Он станет вопить про джихад и возбудит людей. Вопли кликуши действуют заразительней, чем призывы мудреца».

Он подошел к янычару и тронул его за плечо. Стражи отступили.

— Чего ты хочешь, храбрец?

Янычар оборотил к нему искаженное криком лицо. На губах проступила пена.

«Кажется, он припадочный, — с опаской подумал Осман-кяхья. — Впрочем, это и лучше: на нем почиет печать пророка и за таким пойдут в самое пекло».

— Пусть любимец султана прикажет нам сокрушить неверных, и я подыму всех истинных воинов пророка.

— Я правая рука садразама. Своею властью вручаю тебе зеленый санджак, — сказал кяхья и протянул ему одно из стоявших у визирского шатра знамен.

— За мной, воины ислама! — взревел янычар, размахивая санджаком. — И да поможет нам Аллах!

Как и предвидел Осман-кяхья, крик фанатика возбудил лагерь. Вскоре янычар оказался в центре бесновавшейся толпы. Над ее головами засверкали клинки. Орущая масса, обрастая людьми, двинулась к передовой. Впереди шагал янычар, размахивая санджаком и непрерывно что-то крича.

Осман-кяхья поспешно возвратился в шатер.

— Что там? — поинтересовался визирь. — Что они кричат?

— Джихад, — односложно ответил Осман-кяхья. — Один бешеный взбесил множество других.

— Это хорошо, — одобрил визирь. — Но их нельзя оставлять без присмотра, этих детей пророка. Ступай, Юсуф-паша, и ты, Осман. Возьмите Шахин-агу и Сарбан Али-пашу. Пусть священный гнев истинных мусульман обрушится на неверных. — Балтаджи Мехмед-паша любил цветисто выражаться.

Юсуф-паша, главный янычарский начальник, велел подать ему и остальным коней и в сопровождении свиты поскакал за оравой, устремившейся за янычаром. Почти все янычарские орты, как он успел заметить, примкнули к ней: лагерь опустел, котлы были перевернуты — то ли в знак недовольства визирским управлением, то ли в наступательном порыве.

Рядом с главным Юсуф-пашой скакал ряженный Юсуф — граф Иосиф Понятовский, советник и доверенное лицо визиря, глаза и уши шведского короля.

Вскоре они догнали наступавших. Это было уже на расстоянии ружейного выстрела от лагеря русских.

Русские почему-то молчали. Юсуф-паша спешился и велел орта-баши навести хоть какой-нибудь порядок. Тем временем крики истощились и умолкли, да и сколько можно кричать без толку. Надо поберечь глотку до той минуты, когда придется схлестнуться с неверными.

Орава, выросшая до многотысячного корпуса, была остановлена перед решительным броском. Юсуф-паша и Осман-кяхья поучали начальников — бин-баши, белюк-баши, баш-чаушей — и ставили перед ними задачу: ворваться за русские рогатки, расширить сколько возможно место прорыва и пропустить вперед конницу.

Порыв утас. Орты построились. Осман-кяхья искал глазами воинственного янычара, зачинщика, но его нигде не было видно. Русские по-прежнему загадочно молчали: во время всей этой катавасии с их стороны не раздалось ни единого выстрела. Любопытство их разбирало, что ли?

Русских было мало, это все знали. Они были окружены, им не было ходу — это тоже все знали. Русские

угодили в клетку — так это называлось, и теперь их надлежало истребить, прикончить, как зверя в загоне.

Это придавало решимости войнам пророка. Они, правда, уже успели заплатить за нее изрядную цену. Но это была чистая случайность.

Осман-кяхья, Юсуф-паша и второй Юсуф-паша еще раз обошли свое войско. Его воодушевляли имамы гортанными выкриками: «Аллах велик, воинство его велико и неодолимо! Правoverные, вас ждет славная победа!»

Обе стороны ждали в напряженном безмолвии. Ждали команды, ждали первых выстрелов. Еще раз испытать друг друга. Еще раз померяться силою, победить или умереть.

Наконец Осман-кяхья сказал янычарскому аге:

— Пора. Делайте свое дело, как мы велели, и пусть Аллах прострет над вами свою благословляющую руку.

Враз ударили пушки топчу, и ядра, шипя, полетели в расположение русских.

— Велик Аллах! Аллах акбар! ...А-а-а!

Из тысяч плоток исторгся спасительный и ободряющий крик. Тысячи ринулись вперед с именем бога, своего грозного и великодушного бога.

Русские все еще молчали. Чего они ждали? Может, берегли припас? У них, должно быть, во всем была нестача...

Осман-кяхья и оба Юсуфа расположились на высоте позади наступавших. Они видели прокосы, сделанные турецкими ядрами в русских рядах.

— Хорошее начало, — пробормотал Юсуф-паша.

— Поглядим, каков будет конец, — философски отозвался другой Юсуф — Понятовский.

Вот-вот наступавшие обрушатся на русские окопы, сметут рогатки... Но в этот момент оттуда грохнули залпы, залпы, залпы. Они были плотными. Они скашивали ряд за рядом, как взмахи косы укладывают полосы травы.

Пространство перед русским ретраншементом было усеяно телами — еще живыми и уже мертвыми. Но на-

ступление не захлебнулось. Еще велика была его инерция, еще янычары бежали вперед с неослабленным криком.

Но грянули еще залпы — один, другой, третий. И бег наступающих был остановлен. Их остановила баррикада из поверженных тел...

Топчу старались воевать. Их пушки раскалились от стрельбы. Их ядра производили опустошения. Но наступление захлебнулось. Разлетевшиеся на полном скаку спahiи тоже были принесены в жертву русскому огню.

Янычары обратились вспять. Они бежали с поля боя.

— Юсуф, прикажи остановить их!

Юсуф-паша бросился наперерез бегущим, вслед за ним кинулись Шахин-ага и другие начальники поменьше. Они пытались остановить беспорядочно отступавшую толпу.

Тщетно!

— Руби их! — крикнул Осман-кяхья. — Трусам нет пощады!

Он обнажил ятаган и стал наносить удары направо и налево. Янычарские начальники надсаживались до хрипа, понуждая людей остановиться и построиться.

В конце концов это им удалось. Пример пушкарей, удерживавших свои позиции, воодушевлял. Их меткий огонь производил опустошение в русском лагере. Эскадрону спahiев удалось перемахнуть через рогатки. Они храбро рубились, но, никем не поддержанные, легли, переколотые багинетами гренaдер.

Янычары возобновили атаку. На этот раз вперед выдвинулись стрелки. Им удалось продвинуться почти вплотную к русским окопам. Казалось, они вот-вот преодолеют бруствер, ворвутся в них и завяжется рукопашная схватка.

Но и тут залпы гренaдер сняли смертную жатву. Новый вал мертвецов вырос там, где все еще лежали сраженные янычары.

Тысячную толпу бегущих уже не удалось остановить. Напрасно надрывались янычарские начальники, грозя всеми карами — небесными и земными.

— Мы не хотим погибать!

— Пусть наступает визирь!

— Хватит с нас!

— Довольно крови правоверных!

Осман-кяхья схватился за голову: позор, позор! И это лучшие из воинов! Бегут как зайцы, хотя никто их не преследует.

— Мы потеряли едва ли не половину войска, — восклицал он. — У нас нет ни стратегии, ни тактики. Это не армия, а толпа трусливых собак! Что из того, что нас много больше русских. Нет дисциплины, нет строя — и нет войска...

— Я предлагал визирю и тебе, почтеннейший, построить армию на европейский манер, — осторожно заметил Понятовский. — Но вы оба нашли это неприемлемым.

— Если мы будем разбиты, нам отрубят головы за то, что воевали по-новому. Если же мы победим, то нам все равно отрубят головы за то, что нарушили древний обычай и взяли пример с неверных, — уже успокоившись, отвечал Осман. — Эти ваши европейские порядки не для нас. Ни султан их не одобрит, ни шейх-уль-ислам не благословит.

Они вернулись в шатер садразама. Он уже знал о поражении и был удручен.

— Плохие вести. Я велел подсчитать наши потери, — сообщил секретарь садразама Омер-эфенди. — К вечеру мы получим печальный итог.

— Я и так могу сказать, — хмуро заметил Осман-кяхья. — Мы потеряли только убитыми не менее восьми тысяч человек.

— Доверенные от янычарского корпуса объявили, что отказываются воевать, — сказал дотоле молчавший секретарь Юсуфа-паши Хасан Кюрдю. — Они переверну-

ли котлы. Они непримиримы: либо мир с русскими, либо они уходят, и будь что будет.

— Позор, позор! — завопил Юсуф-паша. — Мне пошлют шнурок. И тебе, почтеннейший садразам. Мы оба обречены...

— Успокойся, — прервал его визирь. — Я склонен к миру. Его величество султан, да продлит Аллах его дни, был не против замирения — вам всем это известно. Должен откровенно сказать, что я не вижу победы, несмотря на наше превосходство и на то, что русские окружены. Они отчаянно сопротивляются и вполне могут разорвать наше кольцо.

Понятовский с трудом подавлял возмущение. Как — русские в мешке, остается только надежно завязать его, и дело сделано! При таком положении неприятеля проявить постыдное малодушие.

— Высокочтимый садразам, почтеннейшие паши и беи, — начал он. — Русские окружены, их положение безнадежно. Как можно при этих обстоятельствах говорить о мире?! — Голос его крепнул, и все с удивлением воззрились на новоявленного пашу. Визирь говорил о мире, а этот гяур настаивает на войне.

— Выслушайте меня, о любимцы султана. Положение русских отчаянное. Они отрезаны от всех путей снабжения, они едят своих лошадей — это ли не свидетельство крайности. Пусть себе сидят в своем логове, пока не запросят пощады. Не нужно тратить силы на наступление — потери слишком велики. Давайте запасемся терпением. И мы возьмем их голыми руками.

— Ты хорошо говоришь, Юсуф-паша, наш верный друг и соратник, — откликнулся визирь. — Ты убедительно говоришь, да. Но что ты знаешь о намерениях русских? Ты видел: они умеют воевать и способны нанести нам такой удар, от которого мы долго не сможем оправиться. А они тем временем уйдут.

Юсуф-паша, начальник янычарского корпуса, одобрительно кивал при каждом слове визиря. Он чувствовал удавку на шее. Его подначальные подняли бунт.

Они опрокинули котлы, а это знак непокорства. Ответ же держать ему.

— Может быть, наш верный друг и соратник прав, описывая положение русских, — вступил он, поглаживая свою клиновидную бородку. — Но более чем прав высокий садразам, любимец султана и выразитель его священной воли, когда говорит о том, что мы ничего не знаем о намерениях русских. Между тем мы должны признать, что наше войско расстроено и можно ожидать самовольных действий и даже его распада...

— Нам надо предлагать мирные переговоры, — как о решенном объявил садразам. — Именно сейчас, когда мы можем диктовать свои условия, а неприятель вынужден будет принять их. Мы получим выгодный мир, и наш высокий повелитель одобрит его. Вспомните: мы склонны были повести мирные переговоры в самом начале кампании, когда не находились в таком выгодном положении. Сейчас сам пророк повелел бы нам заговорить о мире, ибо он не приемлет напрасных жертв.

— Наш предводитель совершенно прав, — высказался Осман-кяхья. — Мы не знаем, что нас ждет. Откроем глаза и уши для выгодного мира.

— Я согласен, — пробурчал хан Девлет-Гирей, отвергавший прежде всякую мысль о мирных переговорах. — Но условия... Условия должны быть жесткими. Мы должны получить как можно больше.

— Потребовать с русских выкуп! Большой выкуп! — подхватил казначей Ахмед бин-Махмуд. — Пусть заплатят золотом за наши траты. — Все невольно улыбнулись: кто о чем, а казначей о казне.

Понятовский внутренне негодовал, хотя и не показывал вида. Как, неужто эти упрямые турки упустят несомненную победу, которая сама шла к ним в руки. Русские угодили в ловушку! Они окружены со всех сторон, и даже ценой отчаянного прорыва им не спастись от поражения и плена. Знатная будет добыча! По многим донесениям агентов, с войском — сам царь Петр, новая царица, весь цвет его генералитета, глав-

ные министры. Русские стараются скрыть присутствие царя, но, как они любят говорить, шила в мешке не утаишь. Он слишком велик, слишком открыт, он всегда на виду. Нелепый секрет, как, впрочем, многое у них.

Он, Понятовский, выступил, он сказал свое слово, он привел более чем веские доводы. Но эти упрямые азиаты слышат только себя. Он обязан немедленно известить короля Карла о позорном решении визиря и его присных.

— Позволь мне, прославленный садразам, еще раз высказать свое мнение, к которому присоединился бы, притом решительно, знаменитый полководец король шведов, — произнес он в надежде убедить визирский диван в своей правоте.

— Ты уже сказал свое слово, — перебил его визирь, — и мы благосклонно выслушали его. Но твое слово — слово одного. Ты слышал: никто тебя не поддержал. Нас же здесь, высказавшихся за мирные переговоры, — и он плавным жестом повел вокруг себя, — много, много больше. Здесь, как ты знаешь, цвет моего войска...

В эту минуту ковер, закрывавший вход в шатер, отодвинулся, и на пороге возник глава визирских телохранителей Сейид.

— Позволь прервать тебя, мой повелитель, — возгласил он. — Важная весть: русские прислали переговорщика с письмом.

— Вот видишь: Аллах посылает его к нам, чтобы мы исполнили его волю. Введи его, Сейид, он явился вовремя, — визирь был чрезвычайно доволен.

Стража ввела русского парламентаря. Он чувствовал себя свободно и с любопытством осматривался вокруг.

— Кто ты и с чем пришел к нам?

— Унтер-офицер Шепелев, ваше салтаново сиятельство. А прислан я от его сиятельства графа и генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, начальствующего над российской армией, с важным письмом.

С этими словами он достал из-за пазухи свиток за красной печатью и подал его садразаму.

— Хорошо, мы изучим письмо и, если сочтем нужным, дадим ответ. А теперь уведите его, — приказал он страже. И недоумевающего посланника довольно бесцеремонно вытолкали из шатра.

— Переведи нам, что пишет нам русский граф, — обратился визирь к секретарю Омеру-эфенди, многозначительно взглянув на Понятовского, — и тогда мы сможем сравнить его доводы с доводами нашего графа.

По мере того как Омер-эфенди переводил, лицо визиря расплывалось в улыбке. Оживились и все присутствующие.

— Ты слышал, доблестный граф? — обратился визирь к Понятовскому, когда секретарь кончил пересказывать содержание письма. — Не мы просим о мире, а русские просят нас. О мире как о милости. И мы окажем им эту милость, да. Потому что она совпадает с нашими намерениями. И, как сказал почтеннейший Девлет-Гирей, исключительно — я подчеркиваю это, — исключительно на наших условиях. Но нужно ли давать немедленный ответ? Что скажут участники дивана?

— Ни в коем случае! — отрезал Девлет-Гирей. — Надо дать им побольше времени подумать над своим положением. Чтобы впредь они стали сговорчивей. О нем очень хорошо говорил здесь наш рассудительный советник и новоявленный паша, — язвительно закончил он, кивнув в сторону Понятовского.

— Что ты думаешь об этом? — спросил визирь Осман-кяхью, ибо совет его был всегда советом мудреца.

— Девлет-Гирей выразил точь-в-точь то, что сказал бы я: нам некуда торопиться. Торопятся же, как мы все понимаем, русские, и у них для этого есть все основания: похоже, их Бог отвернулся от них...

Все с ним согласилось. И тогда визирь обратился к Понятовскому:

— Я хочу услышать твое слово. Полагаю, теперь ты думаешь по-другому?

— Нет, о любимец султана, — с горечью отвечал Понятовский. — Нет, я не изменил своего мнения. Мы упускаем большую победу, важнейшую победу, которая — настаиваю на этом — могла бы изменить ход истории.

— Упрямец! — махнул рукой визирь. — Жизнь и благополучие правоверных стоят много больше, чем твой ход истории. Я сказал!

И, довольный своей отповедью, он обвел глазами почтенный диван. Да, никто из них не хотел более войны: слишком велики были жертвы и слишком мало надежд на благополучный исход. Никто из них не хотел рисковать.

Два дня ушло на то, чтобы предать земле мертвых. Их было более десяти тысяч. И это только за три дня боевых действий. А если продолжать эту безумную бойню? Самые воинственные из них — Девлет-Гирей, Юсуф-паша — уже укоротились, они желали одного: поскорей вернуться домой, к своим женам и наложницам. И их вовсе не прельщал загробный мусульманский рай с его десятью тысячами гурий и садами, благоухающими розами и миррой.

— Что делать с этим русским парламентаром, повелитель?

— Пусть посидит у нас некоторое время, — улыбнулся визирь. — Кормите его как можно лучше — пусть потом вспоминает наше гостеприимство. Да станем ждать новых посланных от главного русского начальника.

Наступила передышка. Время от времени обе стороны лениво постреливали друг в друга. Скорей всего, чтобы напомнить о себе, о войне, о том, что она еще не кончилась и может в любой момент снова взорвать тишину.

Обе стороны выжидали. Русские ждали ответа визиря, ждали с вполне понятным нетерпением и деятельно готовились идти на прорыв. Ели лошадей — и палых и немощных. А что? Лошадь столь же чистое животное, сколь и корова. Турки и татары иного мяса не призна-

ют, а у них поболее запретов от их закона. За водой спускались к Пруту, и тогда с другого берега гремели выстрелы и летели татарские стрелы, не причинявшие, впрочем, вреда.

Турки томили русских. Для того чтобы, как сказал визирь, желанные уступки свалились им в руки как перезревший плод.

Понятовский продолжал точить визиря. Он говорил ему, что если султан узнает, какая решительная победа была упущена, то непременно отрешит его от должности или, того более, прикажет послать ему шнурок. Визирь добродушно отшучивался. Но потом стал отвечать с плохо скрываемой злостью. И тогда Понятовский понял, что перешел границу допустимого и что более нельзя испытывать терпение визиря. Тем более что он формально находится у него в подчинении, несмотря на ферман султана, дававший ему известную независимость, как представителю короля Карла.

Миновал день, полный томительного ожидания, прошла и столь же томительная ночь. Завтра явился новый посланец русских с вторым письмом Шереметева. Тон его был скорей решительным, чем просительным.

Визирь срочно собрал свой диван. Следовало безотлагательно решить, как поступить на этот раз.

Секретарь Омер-эфенди пересказал содержание письма, стараясь держаться как можно ближе к тексту.

— Высказывайтесь, собратья, — предложил визирь, когда секретарь закончил.

— Пусть ждут. Они у нас в руках! — тотчас подал голос самый горячий и нетерпимый из всех Девлет-Гирей.

— Я согласен с его сиятельством ханом, — поддержал Понятовский.

Мнение хана разделяли все. И только осторожный Осман-кяхья обратил внимание уважаемого дивана на тон письма.

— Они требуют решительного ответа и готовы прибегнуть к крайним мерам — заметил ли это кто-ни-

будь? Думаю, надо ответить им согласием — дольше испытывать их терпение нет смысла. Что мы выиграем, затянув с ответом? Решительно ничего. Двух писем вполне достаточно, чтобы убедиться в неуверенности русских и их желании поскорей закончить войну. Разве мы первые обнаружили слабость и предложили переговоры?

Это была разумная речь, и визирь внутренне согласился с Османом. Но вслух все-таки произнес:

— Давайте подождем еще день.

Стали ждать. Но вот в русском лагере затрещали барабаны, заиграла полковая музыка.

— Праздник у них, какой-то русский праздник с музыкой и барабанным боем, — заметил Юсуф-паша. — У русских много праздников. Эти неверные — странные люди. Они празднуют, когда нужно предаваться скорби.

— Я полагаю, они готовятся к походу, — саркастически сказал Осман-кяхья. — И поход этот, а лучше сказать прорыв, грозит нам новой, еще более ожесточенной битвой.

И в самом деле: из-за брустверов выступили с примкнутыми багинетами полки инфантерии. Они шагали в полных боевых порядках, изготовившиеся ко всему: к победе, к смерти. Они шли на прорыв!

Надрывно били барабаны, пронзительно свистели флейты, перебивали друг друга резкие песни рожков. Прогремели первые залпы...

— Срочно пошлите кого-нибудь с белым флагом. Не медлите! — Садразам нервно обтирал платком внезапно взмокнувшее лицо. Их надо остановить во что бы то ни стало.

— Куда хуже будет, если им удастся прорваться, — произнес Осман тоном оракула. — Мы потеряем все: и мир, и плату за него.

— Да, ты был прав, Осман, — торопливо сказал визирь. — Садись и пиши: мы согласны на переговоры, пусть присылают чиновников.

Все новые и новые колонны выходили из-за русских укреплений. Гренадеры осыпали выстрелами турецкие позиции. Оттуда отвечали пока еще нерешительно...

— Они продолжают движение! — визирь был вне себя. — Отчего мы медлим? Кто послан с флагом?

— Янычарский ага, — отвечал Осман. — По-моему, они никак не могут отыскать белую материю.

— Позор! Пусть немедленно возьмут у меня белое покрывало!

— Я написал. Надо кого-то послать...

— Пусть пошлют русского унтер-офицера!

— Кажется, Шахин-ага нашел белый флаг, — заметил Осман. У него было острое зрение. — Вот он размахивает им... Русские остановились... Перестали стрелять... К аге вышли их офицеры. Боюсь, наши станут стрелять...

Но турки благоразумно молчали. Желание кончить смертоубийство было сильнее всех других желаний.

— Русский, которого мы отпустили, бежит к ним, размахивая моим письмом, — продолжал комментировать Осман: визирь был почтенного возраста и страдал слабым зрением. — Похоже, дело сделано, — заключил он. — Но, любимец султана, оно могло принять другой оборот.

— Я всегда доверял твоему благоразумию, Осман, — запоздало признался визирь.

— С важным решением никогда не следует медлить. Н и к о г д а! — раздельно произнес Осман. Ему не хотелось унижать визиря: хоть он невысоко его ставил, но был с ним в добрых отношениях.

Оставалось ждать посольства. Русские не помедлили. Вскоре посольство явилось с надлежащими церемониями и свитой.

Его возглавлял вице-канцлер барон Петр Павлович Шафиров, хитроглазый, велеречивый и весьма-весьма обходительный. При нем были переводчики-толмачи-драгоманы Андрей Остерман, Иван Зуда и Лука Барка, перекрещенный ради осторожности в Чернышева — его

многочисленные родственники жили в Царьграде, замыкал подъячий Иван Юрьев. Для пересылок же были назначены ротмистр Артемий Вольтинский и волонтер Михайла Бестужев, сын обер-комиссара Петра Бестужева, состоявшего при герцогине курляндской Анне Ивановне, племяннице царя, и бывшего ее любовником.

Петр знал, кого назначить в главные переговорщики. Шафиров был великий хитрован, умел торговаться (еще с тех времен, когда был сидельцем в лавке) и обвести вокруг пальца, да еще при языках. Большие надежды подавал и Андрей Иванович Остерман, пронырливый немчин, прирожденный дипломат: сын лютеранского пастора именем Генрих Иоганн Фридрих, он, вступивши в русскую службу восемь лет назад, уже свободно объяснялся по-русски, правда, с некоторыми погрешностями в произношении.

Петр Павлович сдержанно поклонился визирю и покивал присутствующим, как подобало послу великого государя, ибо достоинство его почитал паче всего. Всем своим видом он давал понять, что вовсе не просителем явился, но равною стороною и не намерен ни отступать, ни уступать.

— Кто тебя послал и с чем ты пришел? — задал традиционный вопрос визирь.

— Послан я от главнокомандующего российским войском графа и кавалера генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, по воле государя нашего, царя и великого князя и многая прочая Петра Алексеевича... — Шафиров произнес все это на одном дыхании и как-то особенно певуче, так что переводчик едва поспевал за ним. — Желаем мы замирения, как о том получили еще в месяцу мае известие от вашего сиятельства, дабы воцарился вечный мир между нашими великими государями.

— Что же ваш царь может предложить нам в обмен на мир? — с нарочитой небрежностью спросил визирь. Он полагал, что имеет дело с просительной стороною, и ждал покорности и великих уступок.

Но Петр Павлович был себе на уме и, нарочито помедлив, сказал так:

— Мы ведь не просить пришли, ваше визирское сиятельство, а предлагать...

Ответ был, несомненно, вызывающий. И тогда слово взял Осман-яхья — противник, достойный Шафирова. Он сразу же обрушился на него:

— Предлагать? Что вы в состоянии нам предложить? Ваша армия окружена, пути снабжения отрезаны, вас ждет голод. Аллах наплет на вас болезни, ибо он милостив к правоверным. Так что мы предъявим вам наши условия. И если царь или ваш главный генерал их не примут, война возобновится. — Он говорил нарочито жестко, тоном, который исключал какие-либо сомнения в решимости турок не уступать ни в чем.

Но Петр Павлович Шафиров оставался невозмутим:

— Мы сильны и богаты. Ежели его царское величество соблаговолит рассмотреть требования ваши и некие пункты их принять, то на то будет его высокая воля.

Петр Павлович едва ли не наизусть заучил письменный наказ царя, покоившийся у него на груди. Понимая безвыходность положения и желая сохранить остаток армии, царь повелевал уступить во всем, что потребуют, кроме выдачи Кантемира и Саввы Рагузинского. Вот что было писано в том наказе:

«1. Туркам все города завоеванные отдать, а построенные на их землях разорить, а буде заупрямятся позволить отдать.

2. Буде же о шведах станет говорить, чтоб отдать все завоеванное, и в том говорить отданием Лифляндов, а буде на одном на том не может довольствоваться, то и прочие по малу уступать, кроме Ингрии, за которую, буде так не захочет уступить, то отдать Псков, буде же того мало, то отдать и иные провинции, а буде возможно, то лучше б не именовать, но на волю султанскую положить.

3. О Лещинском, буде станет говорить, позволить на то.

4. В прочем, что возможно, султана всячески удовлетворять, чтоб для того за шведа не зело старался».

Царь сочинял сей наказ единолично, и Петр Павлович, прочитав его, восстал. Восстал против своего господина и благодетеля! Как?! Отдать все, что было завоевано в тяжелейших войнах со столь многими жертвами?! Согласиться уступить земли исконно русские?!

«Нет, ваше царское величество, негоже казать слабость и уступать все подряд, что только требовать станут. Им, окаянным, едва намекни, что готовы во всем удовольствоваться, так и полцарства потребуют. Нет, нет и нет! Сказано было: мы сила и богатство. Стало быть, на том обязан и буду стоять!»

Что же водило рукою царя, когда он писал сей наказ? — размышлял Петр Павлович. Не болен ли он был? Великое опасение, даже страх чудились ему в этих строчках. Страх у царя? Всегда решительного и бесстрашного? Боятся быть плененну? Вместе с царицею, с министрами, с генералитетом? Боятся великого позору, а то и поношения от турка? Быть может, оно и так. Но Господь милостив и сего не попустит. И он, подканцлер Шафиров, из выкрестов, приложит к сему старание.

И Петр Павлович перешел в решительное наступление, справедливо полагая, что наступление есть лучший вид обороны.

— Подначальные ваши татары опустошили и продолжают опустошать российские провинции, а посему должно удовольствовать его царское величество и государство Россию уступкою всего пространства, даже до Дуная. От сего, как ведомо великому государю, не отрекся бы и его салтаново величество.

Визирь и его вельможи были озадачены: дойти до такой наглости и требовать уступки земель! Неслыхан-

но, невиданно, невероятно! И сослаться при этом на будто бы высказанное согласие султана!

— Мне ничего не известно об этом, — сухо ответил визирь. — И такого не может быть, чтоб мы отдали наши земли в обмен на мир. Вы и так захватили у нас многое. И теперь мы будем требовать возвращения наших коренных земель.

— Требовать вы можете, — дерзко отвечал Шафиров, — но не уповаю, согласится ли его царское величество на ваши требования. Конечно, — прибавил он примирительно, чтобы не раздражить Балтаджи Мехмед-пашу, — мы рассмотрим ваши требования, а лучше сказать ваши условия, и можем пойти на уступки, коли найдем их справедливыми.

Визирь распорядился, и Шафирову вручили заранее подготовленные требования. Они простирались весьма широко. Надлежало возвратить шведскому королю все земли, отвоеванные Россией и принадлежавшие его короне. Самого Карла следовало пропустить в его владения в сопровождении тридцатитысячной турецкой армии. Возвратить Азов с прилегающими землями, срыть Троицкую крепость и уничтожить крепости вдоль Днепра, возвратить Польше Украину, очистить Браилов, выдать изменников Кантемира и Рагузинского, наконец, выплатить контрибуцию, размер которой предстоит согласовать с министрами Порты.

«Э, да это не столь страшно, — возразился Шафиров. — Гораздо менее того, на что готов был пойти государь. Я многое отвергну своею волею, особенно в части бывших шведских владений. Есть и иные чрезмерности: возврат Украины, к примеру. Визиря и его вельмож должно купить щедрыми подношениями — они станут уступчивей. Тогда и о контрибуции речи не станут».

— Мы вам, конечно, можем и Азов отдать, и крепости иные срыть, да только и вы уступите земли до Дуная, — продолжал настаивать на своем Шафиров. Андрей Иванович Остерман одобрительно кивал, слыша

таковые речи своего патрона. — Что же касается господаря Кантемира да Саввы, о которых вы просите, то ведомо нам стало, что с началом военных действий они скрылись в сопредельных странах, опасаясь вашей мести.

Визирь махнул рукой:

— Из-за двух гяуров две великие империи не станут торговаться. Рано или поздно, но они не избегнут возмездия Аллаха и карающей руки моего повелителя. Остальные же пункты останутся неизменны.

Но Петр Павлович продолжал теснить визиря. Да, только наступать, и тогда турок мало-помалу станет уступать и уступать. Кровь его деда, мелкого еврейского купчишки, взговорила: уменье выгодно назначить цену и столь же выгодно отступить-уступить, важное в торговле, было не менее важно и в дипломатии. Посему все Шафиры отличались красноречием, способностью убеждать и, схватывая все на лету, тотчас переменять позиции в интересах дела. Знание же нескольких языков тоже было потомственным: купец должен быть многоязычен. В странствии молодого царя, поименованном Великим посольством, Петр Павлович оказал ему важные услуги. И с той поры почти не расставался со своим великим тезкою.

— Осмелюсь напомнить вашему визирскому сиятельству, — продолжал наступать Петр Павлович, — что его салтаново величество прежде нас возговорил о мире чрез патриарха Константинопольского и господаря Брынковяну и посланника его Кастриота. И ваше сиятельство по наущению государя своего мира искать изволили, однако ж без должной настойчивости. Стало быть, мы с вами должны быть взаимно уступчивы.

— А что, правду ли говорят, будто царь ваш находится при армии? — неожиданно спросил визирь, уходя от неприятной ему темы о взаимной уступчивости.

Шафиров знал, что местопребывание царя туркам давно известно, но знал и другое — что его надобно скрывать. А потому он отвечал уклончиво:

— Его царское величество за войском в некотором расстоянии следует и нужные распоряжения чрез своих слуг начальствующему над ним фельдмаршалу Шереметеву пересылает.

— Ну, если следует, тогда мы рано или поздно сможем договориться, — с иронической усмешкой произнес визирь.

— Я ваши кондиции на усмотрение его царского величества перешлю, — торопливо сказал Шафиров, внутренне морщась от необходимости отрицать совершенную очевидность, — и какова будет его высокая воля и суждение министров наших вкупе с главноначальствующим, вашему сиятельству доложу. Но могу сразу сказать: пункты о возвращении шведу отвоеванных в великих борениях славянских земель, равно и об отдании Польше славянской Украйны, его царское величество отвергнет. А посему следует вам от них загодя отказаться. Контрибуция и нам положена: зачинал войну его салтаново величество, и мы понесли великие издержки. В случае же уступчивости вашего визирского сиятельства смело могу посулить щедрое вознаграждение соболями да кунными мехами, драгоценными камнями и золотом вам и ближним вашим.

И Петр Павлович плавным жестом приложил руки к сердцу и ко лбу в знак того, что обещание его свято.

— Да и к чему, скажите на милость, вам шведа довольствовать, коли от него никакой корысти империи вашей нет и не предвидится? Один расход и одни неприятности...

По лицу визиря Петр Павлович тотчас догадался, что попал в точку: как видно, Карл с его непомерными претензиями изрядно поднадоел туркам. Вдобавок ни одно из его обещаний не было выполнено. Из Померании шведское войско так и не выступило против русских.

— Да, это так, — живо согласился визирь. И неожиданно признался: — Этот король мне в великую обузу,

от него терплю одни неприятности и грубости. И светоч правоверных его величество султан, да продлит Аллаха его дни, склонен поскорей от него избавиться... Я обещаю тебе снять те требования, которые твой царь отвергнет. Ибо к чему требовать то, на что заведомо не будет согласия.

— Мудрые слова, великие слова, — подхватил Шафиров. — Слова истинно государственного мужа. Я передам их его царскому величеству, дабы он смог сполна оценить ум и прозорливость вашего сиятельства. И умножил награждение, и без того щедрое, вашему сиятельству, ибо мой государь щедр к мудрым даже на приятельской стороне.

Они расстались, полные благожелательства друг к другу. Петр Павлович был окрылен. Тех, страшных, уступок турку, на которые вознамерился было пойти царь, не будет. Похоже, ему удастся выторговать милостивый мир. Кондиции еще не подписаны, турок неверен и ненадежен, в последний момент он может неожиданно заупрямиться. И все же Шафиров был отчего-то уверен, что ему удастся переговорить визиря и задарить его присных.

Визирь предложил Шафирову гостевой шатер: за долгими разговорами и спорами июльский вечер стыл и уже высветлились на небосклоне первые вестницы ночи — самые яркие звезды.

— Заночуем у визиря под боком, все равно что под Богом, токмо мусульманским, — обратился он к своему штату. — Авось здешний сон на что-нибудь и надоумит.

В чужом стане — не в своем: не по себе. Но ничего не поделаешь. Участь переговорщиков в турках — темная участь. Вон посла Толстого уж скоро год в заточении держат в Семибашенном замке. И неведомо, что может прийти в голову фанатичному басурманину с его странной верой.

Только расположились, в шатер ввели Павла Ягужинского, бывшего царя денщика, произведенного в генерал-лейтенанты безо всяких военных заслуг. К туркам он явился под образом офицера, присланного фельд-маршалом с поручением к посольству.

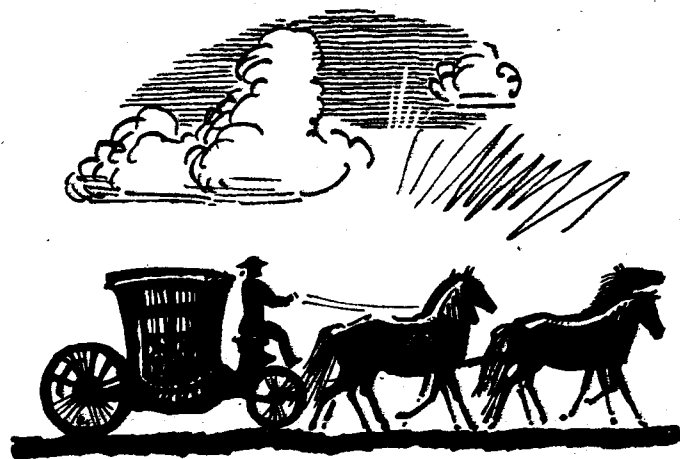
Запахнулись в шатре, Ягужинский открылся:

— Государю не терпится узнать визирские кондиции, и просил он со мною немедля отписать либо на словах сказать.

— Скажу на словах: пушай его царское величество не переживает: мир будет составлен без нестерпимого убытку, в сколь можно лучшем виде. Так и доложи. Сколь времени уйдет на трактование, заведомо сказать не могу, но как только закончим, немедля прибуду с докладом.

— Так и доложу, — Ягужинский весь засветился, кликнул стражу, и его проводили за позиции.

— Спать, господа, спать, — сказал Шафиров и широко, с отяжкой зевнул. — Голь мудра, берет с утра. Утром нехристь долго спать не даст.



Глава шестнадцатая

ИСХОД

Благословен тот, который, если пожелает, устроит вам лучшее, чем это, — сады, где внизу текут реки, и устроит тебе замки.

Коран, сура 25

Голоса: год 1711-й, июль

Головкин — Шафирову

Мой государь, Петр Павлович... о волном проезде короля швецкого чрез его царского величества земли его величество соизволяет против того, как вы о том везиру объявили и сверх того изволяет для проезде его персоне и сущим при нем шведам по желанию везирскому дать по 500 подвод...

А ежели он, король швецкой, совершенно с их царским и королевскими величествами миру жела-

е 1, то б назначил место и выслал своего полномочного министра для трактования того миру, куды его царское величество и его союзники своих вышлют, в чем его царское величество всякое удовольствие показывать обещает. Что же принадлежит о походе его царского величества с войски и ваша милость изволите объявить, что его величество высокою особою своею только с полками гвардии своей изволит итти прямо в Ригу, не мешкая нигде...

Шафиров—Головкину

Извольте, ваше высокографское превосходительство, для Бога, отпустить тех денег, первое везирю 150 тысяч рублей... Сего числа наскоро мне велели послать человека своего с ведомостию к вам, что посланы от них два везиря, Али-паша да Магамет-паша, и для того им перепуск посылаю...

Петр—Шафирову

Мой господин. Я из присланного... выразумел, что турки, хотя и склонны, но медляны являються к миру. Того ради все чини по своему разсуждению, как тебя Бог наставит, и ежели подлинно будут говорить о миру, то стафь с ними на фсе, чего похотят, кроме шклафства. И дай нам знать конечно сего дни, дабы свой дисператной путь могли, с помощью Божию, начать. Буде же подлинно наклонность явитца к миру, а сего дни не могут скончать договора, то б хотя то сего дня зделать, чтоб косить за их транжаментом (ретраншементом).

В протчем словесно приказано.

Шафиров—Петру

Всемилоостивейший государь... По цедуле прошу немедленного указу... Довожу, что сулено: везирю число подлинно и не смели назначить; кегаю (кяхье) 50000 левков; чауш-паше 5000 червонных; кегаину

брату 1000 червонных и 3 меха соболевых; конюшему 1000 червонных; переводчику 5000 червонных; секретарю, которой трактат писал, 1000 червонных; на прочих канцелярии 1000. Сие число ваше величество извольте приказать послать немедленно...

Шафиров—Петру

Всемилоостивейший государь... И я посылаю о том говорить чрез кегаю везирю, чтоб татар унять. Сказали мне, что уже послали двух везирей с некоторыми войски и от хана послан человек, чтобы самовольных унимать и казнить смертию... При сем доношу, что турки зело с нами ласково обходяцца и, знатно, сей мир им угоден...

Шафиров—Петру

...как может Остерман свидетельствовать, дерзновенно везирю говорил, что ваше величество не будет интересоватца, ежели и швед того по-прежнему чинить не будет, представляя при том ему, что ежели в том дать шведам волю, чтоб под образом Лещинского владел Полшею, то какая ис того будет полза, но наипаче опасность как их, так и нашему государству...

Странной казалась эта тишина после остервенелой пальбы. После воплей, криков и стонов, неубранных человеческих и лошадиных тел... Странной и неправдоподобной. Она и радовала и изматывала: что далее-то будет, что? Неужто опять страшное смертоубийство?

Изредка с левого берега долетали с птичьим посвистом татарские стрелы, ослабшие в полете, не более как символ войны. Да подчас круглые шведские пули, столь же беспомощные: там, видно, еще не знали о переговорах, о замирении либо — что скорей всего — не желали знать.

И всего-то полтора дня тишины, а какая благодать! Вернулись и птицы — мелкие певчие птицы и вороны, почуявшие поживу. Притомившиеся нервные кони помаленьку отходили и щипали кое-где уцелевшую траву. Фурьеры принялись косить траву за ретраншементом, на ничьей полосе.

Люди занялись кто чем: кто сапог чинил, кто мундир латал, кто брился, кто, укрывшись в камышах, стирал в речной струе задубевшую от пота и грязи рубаху...

Петр с министрами и генералами напутствовал переговорную делегацию. Давно не видывали его столь светящимся. Петр Павлович Шафиров был в героях. Он утопал в ласкательствах и комплиментах. На прощание царь обнял и поцеловал его — великая милость и великое доверие.

— Все делай по-своему, как совесть и разум тебе подскажут, как Господь наставит, — снова и снова повторял царь. — Знаю: худа не сотворишь, промашки не дашь, все оставляю на твое благорассуждение.

Проводы за укрепления были торжественными и радостными: все верили, что Шафиров выговорит мир. Ибо такой он лстивый да ловкий, такой речистый да хитрый.

Вместе с переговорщиками отправлялся сын фельд-маршала Михаила Борисович Шереметев — на этом стоял визирь. Турки содержали в заложниках детей славных христиан. Ежели отец покусится на измену, детям отрубят голову...

Михайла Шереметев состоял в чине подполковника. Но царь повелел отныне чествовать его как генерал-майора.

На турецкой стороне делегацию принял почетный эскорт — и это тоже был добрый знак. Процессию возглавляли янычарский ага, чорбаджи и другие начальники чином поменьше. Конные спахи и чауши образовали коридор, по которому делегация двигалась к визирскому шатру. Они были при пиках, на концах которых трепетали зеленые и красные прапоры.

Да, к визиту Шафирова готовились — его наметливый глаз тотчас отметил это, — и готовились основательно. И это тоже был добрый знак.

— Подпишут, отбою бить не станут, — шепнул Андрей Иванович Остерман, тоже человек востроглазый. — По всему видно: встречают как дорогих гостей.

— Чаю, мир ноне подпишем, — отозвался Петр Павлович. — Много добра да денег дадено.

Перед визирским шатром их уже ждали Осман-кяхья и начальник янычар Юсуф-паша. Они проводили Шафирова в шатер вместе с Михайлой Шереметевым. Остальным велено было дожидаться зова.

Невиданное дело: для Шафирова и Шереметева были невесты откуда добыты два кресла. Визирь, по обыкновению, возлежал на ковре.

— Мы оказали вам церемониальную встречу будучи в уверенности, что ваш главный генерал согласился на наши условия, — начал Балтаджи Мехмед-паша с легкой, словно бы одобрительной улыбкой, давая понять, что меж ним и Шафировым уже установилось единомыслие.

Петр Павлович тотчас же уловил нужный тон и отвечал визирю в том же духе:

— В главном мы сошлись: мир должен быть и будет заключен. Вот и подтвердитель сего — генерал Михайла Шереметев, сын главноначальствующего над армией. Меж нас нет сколь-нибудь важных разногласиев.

— Вот и хорошо. Вижу, вы не отступаете от своих обязательств. Мы же постараемся скрасить ваше пребывание.

— Хотя некоторые пункты, названные вашим сиятельством, и предосудительны для интересов его царского величества, но наш главнокомандующий все же решил подписать мирный трактат, — сообщил Шафиров. — Ибо доброе согласие между нашими великими империями главней всего остального. Так что прошу приказать перебелить трактат. Так и мы поступим, дабы

потом разменяться и войскам нашим сообщить о многожеланном мире.

Визирь отвечал, что все будет сделано тотчас же, и, вызвав секретаря янычарского корпуса Хасана Кюрдю, поручил ему срочно перебить трактат, внося туда все согласованные исправления.

Довольный, что дело движется к концу, Балтаджи Мехмед-паша хлопнул в ладоши. В шатер бесшумно скользнули слуги, зажгли курильницу с благовониями, другие внесли на подносах шербет, розовую воду, неизменный кофе и другие яства. Гости не отказывались: в русском лагере во всем терпели нужду и ничего подобного не видели даже за царской трапезой.

Начало обещало несомненную доброжелательность и сулило конечный успех. Он, Шафиров, не подведет своего государя, и клетка, в которую он почитал себя уже заключенным, распадется, и царь с войском выйдет на свободу. Зато он, Шафиров, и молодой Шереметев угодят в клетку — в заложники — и будут увезены в Царьград.

Шел неторопливый разговор, который можно было бы назвать светским. Визирь с лукавством осведомился о здоровье царя: ему-де доводилось слышать от сведущих людей, что русский царь страдает падучей («Чертовы нехристи и об этом сведились!» — огорчился Шафиров).

— Наш государь подковы гнет и пятаки пальцами сгибает, — без промедления отвечал он, ибо это было чистой правдой. — И здоровье у него богатырское. Сии якобы сведущие люди плетут небылицы, и вашему визирскому сиятельству негоже их слушать.

Так они некоторое время переговаривались, а потом Шафиров попросил разрешения откланяться, дабы не отягощать драгоценного внимания благородного хозяина и к тому же поскорей приступить к перебиванию трактата.

Шатер русской делегации стоял рядом с визирским, Петр Павлович, не мешкая, вызвал ротмистра Артемия

Волынского, дабы тот немедленно отправлялся в русский лагерь с доброй вестью для его царского величества.

Торопились обе стороны, желая поскорей развязать, а лучше сказать, разрубить туго затянутый военный узел. Торопились еще и потому, что предвидели интриги противников мира, прежде всего короля Карла, поспешно уведомленного графом Понятовским.

Понятовский был вне себя, глядя на те ласкательства, которые визирь и его окружение расточали Шафирову с его помощниками. Противодействовать он не смел, да у него и не было сторонников. С удивлением, смешанным с негодованием, наблюдал он за скоропешностью переговоров. Конечно, подумал он, визирь и его соратники подкуплены русскими, иначе зачем им так торопиться. Он опасался, что король, извещенный им, не поспеет в турецкий лагерь, не успеет вмешаться, отвратить подписание трактата, учинить разнос визирю и его команде за малодушие и трусость. Еще бы: русские были в мешке, оставалось только потуже затянуть его, и можно было не торопить события.

Чем больше он размышлял над этим, тем более ярился. Это было черт знает что такое, прямое предательство! Если бы султан был извещен о подлинной ситуации, о нерасторопности и малодушии визиря, он немедля бы отстранил его от дел, а может, обошелся с ним куда более сурово.

Понятовский был в ажитации. Он отправился на позиции янычар. Знакомый белюк-баши с удивлением глянул на встрепанного эфенди, обычно такого выдержанного, теперь же отчего-то возбужденного до крайности.

— Куда ты так спешишь, любимец садразама? Война ведь кончилась.

— Пойдем со мной. Ты поведешь меня к своим людям. Я больше не любимец садразама — он предал не только меня, он предал нас всех!

— Ты, видно, потерял голову, эфенди, — белюк-баши с подозрением глянул на Понятовского. — Твоя речь — речь безумного.

— Пойдем, пойдем, — граф почти силой тащил его за собой. Изумленный белюк-баши машинально последовал за ним.

Турецкий ретраншемент, неряшливо отрытый, больше напоминал волчье логово огромных размеров. Янычары, сбившись в кучки, сидели на корточках возле своих котлов, в которых булькало какое-то варево. Судя по останкам лошади, варили конину. Другие лежали на земле, вперив глаза в небо, третьи чинили одежду.

— Вставайте, воины. К вам пришел эфенди. Он хочет держать речь, — воззвал белюк-баши.

Любопытство двигает людьми. Даже в передрягах. Янычары столпились возле Понятовского, оставив свои занятия. Может, эфенди скажет им нечто важное про войну и про русских. Может, он объявит им великую милость султана — возвратит их домой.

— Храбрые воины! — возгласил Понятовский осиплым от волнения голосом. — Вас предали. Вы были на шаг от победы. Вам достались бы несметные богатства. Слава о вашем подвиге разнеслась бы по всему мусульманскому миру, и во всей подлунной возносили бы вам хвалы...

Он перевел дыхание и обвел глазами внимавших ему янычар. Осунувшиеся, обросшие лица, прокопченные дымом костров, обожженные немилосердным солнцем, тупой, равнодушный взгляд... Он ждал возгласов одобрения, но они были немые.

— Еще не поздно добыть победу, а вместе с ней — славу и богатство. Война не кончена. Шведский король и король Польши Станислав Лещинский готовы вознаградить вас, если вы выступите против русских и разобьете их. А пока оба короля поручили мне раздать вам деньги...

С этими словами Понятовский запустил руку в объемистый кошель и стал швырять в толпу серебряные куруши. Поднялась давка, кое-где завязались схватки. Свалка стала всеобщей. А он все швырял и швырял

серебряные монетки, посверкивавшие словно жучки, пока не опустошил весь кошель.

— Вперед на русских, доблестные воины! И да пребудет на вас милость и благословение Аллаха!

Янычары подобрали все монеты, возбуждение улеглось. И теперь они выжидательно смотрели на него мгновенно потускневшими глазами. В них было ожидание: не будет ли еще курушей. Только ожидание. И никакого воодушевления.

Белюк-баши дернул его за рукав. Он был озадачен и, похоже, слегка напуган.

— Деньги — это хорошо, мои люди заслужили награду. Но ты говорил не те слова, которых они ждали. Люди хотят домой.

— Мы хотим домой! — подхватили сразу несколько голосов. — Гляди, эфенди, на эти могилы: земля еще не осела. Тысячи наших братьев лежат тут, на чужбине, их не оплакали отцы и братья, жены и дети. Ступай себе, эфенди, к своим королям, их куруши — малая плата за наши жертвы, за наши страдания. Мы взяли эти деньги из сострадания к тебе...

Понятовский был взбешен. Ему мгновенно представилась смехотворность его порыва, его никчемность и тщета. Что знают эти темные люди о короле Карле или другом — Станиславе Лещинском? Какое им дело до них и до их желаний и притязаний?! Зачем он разбрасывал деньги, в которых нуждался сам? Экое ребячество! Какой он, оказывается, глупец!

Хватит! Трезвость, трезвость и еще раз трезвость. Он теперь и сам дивился своему поступку. Что это такое с ним было? Наваждение? Потерял голову? Напекло?

Вконец расстроенный Понятовский побрел к себе: он испытывал теперь жгучий стыд. Не дай Бог, кто-нибудь узнает о его поступке. Непременно подымут на смех. Он решил никуда не показываться до приезда короля. Отчего-то он был уверен, что король, получив его сообщение, непременно прискачет. Что тогда будет! Экспансивный Карл набросится на визиря, обвиняя его

в измене... Король может пустить в ход кулаки... Но ведь это ничего не изменит: мирный трактат будет уже подписан...

«Кажется, я сделал глупость, вызвав короля,— подумал Понятовский.— Глупость за глупостью, цепь глупостей...» Он сжал голову руками и замер.

Тем временем в шатре русской делегации кипела работа.

— Пospешайте, поспешайте! — покрикивал Шафиров на секретаря и дьяка.— Один их Аллах ведает, каково настроится визирь к завтраму. Не получают ли нового султанского повеления. Промедление опасно: куй железо, пока горячо!

Трактат был переписан. И перечитывая его в окончательной редакции, Петр Павлович испытывал удовлетворение.

«Божией милостию, пресветлейшего и державнейшего великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всероссийского самодержца и прочая, и прочая, и прочая.

Мы, нижепоименование полномочные, объявляем чрез сие, что мы по указу нашего всемилостивейшего царя и государя и по данной полной мочи постановили пресветлейшего и державнейшего великого государя салтана Ахметя-хана с сиятельнейшим великим визирем Мегметь-пашею по учинившейся между обоими государствы ссоре, последующей договор о вечном мире:

1. Понеже первой мир у его царского величества с его салтановым величеством порвался, и оба войска между собою для бою сошлись, и потом его царское величество ради некоторых причин не хотя допустить до кровопролития, требовал паки с его салтановым величеством сочинить вечной мир, на которой его сиятельство крайней визирь соизволил. И тако обещает его царское величество по силе трактату сего Азов с принадлежащими ко оному крепостми отдать паки во владение салтанову величеству в таком состоянии, в каком

оной из его салтанова величества взят. Новопостроенные же города Таганрог, Каменной Затон и на устье Самары новой город паки разорены и впредь с обеих стран пусты и без поселения оставлены быть имеют...

2. В польские дела его царское величество мешаться, також и их казаков и запорожцев, под их область принадлежащих и у хана крымского сущих, беспокоивать и в них вступать не изволит и от стороны их руки отымает...

4. Понеже король свейской под зашщитение его салтанова величества пришел, того ради его царское величество для любви его салтанова величества оного свободно и безопасно до его земель пропустить соизволяет...

6. По сим пунктам все прежние неприятельские поступки забвению да предадутся. И по разменении сих пактов... войско его царского величества безо всякого помешательства свободно прямо в свое государство итить имеет...

...Вот утверждение мы сей трактат собственными руками подписали и печатъми припечатали и с его сиятельством великим визирем разменялись.

Еже учинено в обозе турском
июля 12 дня 1711 году».

Петр Павлович старательно и с чувством выводил свою подпись: весьма важен был документ, ему суждено войти в историю. За ним со всяким тщанием подписались остальные.

— Баста! Надобно нести визирю и требовать от него ихнего трактату,— облегченно вздохнув, вымолвил Шафиров.— Чаю, и у них готов. Дабы поскорей размен учинить и с обеих сторон ратифицировать.

Он полюбовался списком, аккуратными красными печатями, как две золотые монеты свисавшими на шнурках. Дело было сделано быстро и в соответствии с желанием государя. То-то будет ему радости: гораздо меньшими проторями обошелся столь желанный мир.

Петр Павлович припомнил доверительно сказанные ему покаянные слова царя:

— Мое счастье в том, что я должен был получить сто палочных ударов, а получил токмо полста. Тем па-че старайся, дабы боль мою поуменьшить. Хотя след от сей экзекуции не скоро зарастет.

Да, это так, след останется и, быть может, навечно. И у него, у Шафирова, до скончания жизни, поскольку он оказывался во власти турок. А это власть неверная, коварная, и Бог весть каков будет его конец.

При этой мысли Петр Павлович испустил тяжкий вздох. Оставил он детей малых, оставил супругу почти-таемую да матушку заботливую. Верил, что, коли слу-чится с ним что-нибудь на чужбине в аманатах, царь их не оставит. Но при случае следовало бы напомнить.

Одно, а быть может, и два свидания с государем ему еще предстоят, а дальше ему и Михайле Шереме-теву предстоит стать пленниками визиря, а лучше ска-зать — аманатами, то бишь заложниками.

Еще раз вздохнув, Петр Павлович направил стопы свои к визирю. Надлежало узнать, сочинен ли трактат с турецкой стороны, да тотчас известить об этом госу-даря. Шафиров знал, с каким жадным нетерпением ждал Петр этой вести.

Менее версты разделяло обе ставки. Но преодолеть это малое пространство было не просто: всюду бди-тельно несли караул русские и турецкие посты. С вели-кими предосторожностями пропускали конного либо пе-шего, учиняли допросы: кто таков, зачем и к кому. До-прашивали все, кому не лень: караульные начальники, солдаты, офицеры. Подозрительность покамест господ-ствовала в обоих лагерях.

Снова явился царский фаворит Павел Ягужинский. На этот раз он сопровождал несколько тщательно ук-рытых повозок. Их хотели было осмотреть еще на рус-ской стороне, но он не дал, а послал унтер-офицера к генерал-фельдмаршалу за пропуском. Но караульные на передовой были неграмотны и прочесть пропуск не смогли. Пришлось рывкнуть самому Шереметеву, лишь после этого караван был пропущен.

На турецкой стороне — та же история. Норовят во что бы то ни стало заглянуть под брезент. Шафиров — к визирю: так и так, ваше мусульманское сиятельство, ослобоните от досмотра, ибо то, что на телеги накла-дено, — секрет, сугубая конфиденция.

Под брезентом был драгоценный груз: презент ту-рецким вельможам. Мягкая рухлядь, золотые дукаты, драгоценные камни и поделки ювелиров.

Павел Ягужинский рассказал: кликнула клич царица Екатерина Алексеевна между министров, генералов и штаб-офицеров, духовных — словом, меж тех, кто побо-гаче, жертвовать кто что может для убоготворения ви-зиря и его присных. Первая сняла с себя все украше-ния заветные, все свои кошель и шкатулки опустошила. Пример был дан. И телеги постепенно наполнились. По-сле тех тяжких испытаний, кои пришлось претерпеть в этом злосчастном походе, можно ли было что-нибудь жалеть?!

Ягужинский рассказал о почине царицы, и Петр Пав-лович порадовался: теперь визирь бесспорно станет сговорчивей — богатые были дары, кого хочешь раздобыть.

Сундуки и ящики с дарами внесли покамест в шатер Шафирова. Петр Павлович из интереса открыл один из них. Оттуда полыхнуло ровно бы волей света. Золотая и серебряная посуда, ожерелья, броши, осыпанные ка-меньями миниатюры — чего только не было. Как заво-роженный перебирал он эти сокровища, хранившие, ка-залось, тепло хозяйских рук.

— Господь всемогущий, — сокрушенно пробормотал Шафиров. — Ведь не в ассамблею, не в машкерад, не во дворец ехали — на войну жестокую! К чему было та-щить с собою все эти никчемные вещи? Не оберек же они от пули или ядра. Еще никого ни злато, ни бриль-янты не уберегли от гибели на поле брани.

Он продолжал разглядывать содержимое сундука и дивиться людскому тщеславию. А может, жадности? Скупости? Ему и в голову не пришло брать с собою какие-либо драгоценные вещи. Дома ведь остались

близкие люди, им и владеть тем, чем вознаградил его Господь и государь.

Впредь царю должно запретить таковыми ненужными вещьми отягощать воинские предприятия! Да и жен со множеством услужников тащить с собою в поход тоже негоже. Эвон какой протяженный обоз влечется за войском. Многие сотни, а пожалуй, даже тысячи гражданских людей ровно мухи облепили армию, они едят и пьют за ее счет, отягощают ее движение... Экий срам, прости Господи!

Такие вот мысли, прежде не обременявшие его, явились сейчас при созерцании сокровищ. «Коли государь попустил,— думал Петр Павлович, глядя на это непотребное торжище,— стало быть, так и надо. Ан нет, не надо»,— понимание пришло теперь, в турецком стане, где поневоле приходилось подводить некий баланс походу. Баланс этот был куда как неутешителен, от горьких размышлений раскалывалась голова. Счет потерям еще не был закрыт, он обещал быть великим и удручающим, он все еще длился, хотя обе армии стояли друг против друга в выжидательном молчании.

Сколь много вздыханий от таковых тягостных раздумий. Петр Павлович поднялся и отправился к визирю: ему нельзя было попускать, коли они уже сладили с трактатом.

Балтаджи Мехмед-паша вовсе не медлил — ему хотелось поскорей покончить с войной. Русские нагнали таки страху на турок своей непробиваемой стойкостью. Он понял, что не сладит с ними, да и непокорство в янычарском корпусе грозило непредсказуемыми осложнениями. Он, визирь, и не надеялся, что русские запросят мира, и робел в ожидании катастрофы. Мало того, что его войско было деморализовано, что Кантемир предался царю, его примеру могла последовать вся рая, наконец, господарь Брынковяну, о прорусских настроениях которого было давно известно. Он знал то, о чем еще не ведал царь: генерал Ренне захватил Браилов и теперь мог обрушиться на турок с тыла.

Визирь послал гонцов к султану: как быть, русские запросили мира, они согласны вернуть все захваченное и не мешаться в польские дела — этого, на его взгляд, было вполне достаточно и кампанию можно было считать успешной. Он не утаил и свои опасения, обрисовав состояние в армии и брожение среди янычар.

Его гонцы возвратились быстро: султан, да продлит Аллах его дни, дал дозволение на мир с русскими без оглядки на короля шведов.

Естественно, ничто теперь не мешало быстро составить трактат, и визирь обрадовался приходу Шафирова. Узнав, что приготовлен роскошный презент и, кроме того, бочонки с денежной дачей всем сколько-нибудь высоким турецким начальникам в визирском окружении, он и вовсе воодушевился и не знал, как ублагодарить российского посла.

Трактаты были сверены, противностей не найдено. И как записал в журнале бывший при Шафирове приказный: «...по некоторых любительных от визира разговорах теми трактатами розменялись, которые писаны со стороны его царского величества на русском языке с приложенною копиею итальянской, а с турецкой — на турецком языке. Приложены печати на красном сургуче, припечатаны концы шнурка. А потом от его царского величества присланы адъютанты Павел Ягужинский да Антон Девьер словесным приказом ускорить розмен. Шафиров послал с ними и Волянского и с оными отпустил переводчика Остермана, чтобы его царское величество отозвал Ренне».

Любительные разговоры длились долго, и Петр Павлович стал от них уставать. И шербет этот турецкий и все их яства были ему не по нраву. Он худо спал ночь. От непрестанных тревожных дум голова гудом гудела, нервное напряжение было чрезмерно, груз ответственности отягощал — как тут уснешь. Ворочался, ворочался, на чужом турецком ложе, и хоть было оно вовсе не жестко, а напротив, но что чуждо — то чуждо.

Петр Павлович не чаял, как поскорей откланяться. Но тут визирь, услав всех, обратился к нему с конфиденциальным разговором. Советник-де от шведов Понятовский послал королю гонца с уведомлением о мире, который противен шведским интересам.

— Этот сумасбродный король непременно прискачет сюда. И придется мне ругаться с ним, — с огорчением сказал он. — Но как бы он ни старался нас теперь поспорить, ничего не выйдет, — устало добавил визирь.

И тут Петр Павлович вдруг заметил, что напротив него сидит старый, даже очень старый изнеможенный человек с мешками под глазами, свидетельствовавшими о том, что он тоже страдает бессонницей, что здоровье его неважно, что груз забот, давящий на его плечи, ему уж не по силам, что он с великим трудом тянет свою лямку и, похоже, был бы рад ее сбросить. Она была хороша там, в Константинополе — Царьграде — Стамбуле, в стенах Блистательной Порты, среди сонма подобострастных чиновников, где все размеренно, покойно и бестревожно, где всякую тяжесть можно переложить на каймакама либо кяхью — кетхуду — кегаю...

Война с ее тревогами и кровью, тяготами и западнями, со множеством неожиданностей до отказа натягивает все жилы и нервы. И они рвутся, рвутся, рвутся...

А если к тому же Аллах не дал тебе военного таланта и прозорливости, если он лишил тебя должной храбрости и дара предводителя войска, оставив только одну добродетель — осторожность?..

Великий визирь более всего полагался на свою осторожность. При сложившихся обстоятельствах, при обнаружившейся доблести русских и их воинском искусстве самым благоразумным с его стороны было заключение мира. Его никто не обвинит в том, что он первый протянул руку русским. Нет, Аллах свидетель, русские первыми запросили мира, признав таким образом свое поражение. А разве не он, садразам, верный слуга могущественного султана, да продлится его слава в веках, да пребудет над ним благословение Всевышнего, про-

диктовал русским условия мира и они приняли их? Разве не он добился возвращения земель и крепостей, некогда завоеванных русскими? Они скрепили мирный трактат подписями, его торопится ратификовать царь Петр.

Если кто и остался неудовлетворен, так это король шведов и его советник Понятовский. Они хотели бы загребать жар чужими, турецкими, руками. Визирю донесли, что этот Понятовский пытался взбунтовать янычар и разбрасывал деньги. Ему почему-то благоволил каймакам, он пожаловал ему бунчук паши. А между тем от него исходит дух противоборства. Теперь вот призвал короля. Этот сумасброд, этот спесивец, этот безумец непременно прискачет и станет угрожать ему...

Пусть бесится. Султан одобрил его, визиря, действия. Теперь дружелюбные отношения связывают его с послом русского царя Шафировым. Вот приятный человек! С ним так легко иметь дело. Он услужлив и вежлив, они быстро договорились и сладились.

А шведы?! Мало того что они нашли убежище и, можно сказать, спасение в турецких владениях, мало того что великий султан оказал им свое благоволение и покровительство, что он с немислимой щедростью снабжал их деньгами и всем необходимым, эти побитые гяурские собаки, эти неверные лают на правых, беззастенчиво лают! Их требования непомерны. Они мыши, поедающие чужой, турецкий, хлеб.

Так размышляя, Балтаджи Мехмед-паша ожесточился. Пусть только явится король Карл! Он выскажет ему все!

Его размышления прервал приход Шафирова, обставленный соответствующими церемониями. Визирь ему обрадовался, как радуются хорошему человеку, только что расставшись с недругом. Прощаясь вчера вечером, они договорились о беспрепятственном пропуске курьеров с обеих сторон.

На этот раз Шафиров сообщил, что его сиятельство граф и кавалер фельдмаршал Шереметев в знак особого дружества к особе его визирского сиятельства прислал ему в дар сорок соболей, пицаль драгоценной ра-

боты с золотой насечкой и еще много чего. И покорно просит принять эти знаки расположения с наилучшими пожеланиями здоровья и благополучия.

Благодетелем явился Петр Павлович Шафиров в турецкий стан. С его появлением на визиря и присных стал изливаться золотой поток как из рога изобилия.

Визирь было застеснялся, боясь завистников в своем же стане, коим не перепало. Донесут султану, обвинят в том, что был задарен русскими, а потому сполна не соблюл его интерес. Немилость повелителя правоверных страшна...

— Прошу высокого посла повременить с подарками, — и визирь, понизив голос, объяснил причину.

— Сохраню до времени, — понимающе кивнул головой Петр Павлович. — А потом потаенно от недружеских глаз переправлю вашему сиятельству.

Петру Павловичу сообщали: его царское величество весьма доволен, изволил пошутить: Шафиров-де мне щит и оборона. И собственноручно написал ему:

«Пожалуй не подивуй, что я вчера в сию всю неделю еще первую нынешнюю ночь свободную получил сном; и что вам чинить надлежит сим объявляю. Понеже во втором пункте написано, что нам не интересоватца до Польши, а с стороны турецкой ничего не написано, того ради, когда выдут наши войска отселя, то надо б вам конечно по времени домогатца, чтоб и от них такое же обнадеживанье получить, дабы и оне не интересовались, но оставить оное свободно с обеих сторон, яко вольное государство. Казаков, которых у них, чтоб нам ничем до оных не претендовать, того ради надлежит и о том говорить, чтоб оныя близ наших казаков не жили, а именно на Днепре и около оного, чтоб, приходя, свою братью не мугили...»

Учел царское пожелание, учел. Визирь поначалу не склонялся, но Петр Павлович понимал, что так сразу и не выйдет. Надобно помаленьку гнуть и гнуть свое, напоминать о дарах, кои загромоздили посольские шатры. Тем паче что «вольное государство Польша» могло

устроить и турок. Им, разумеется, хотелось посадить на его трон Станислава Лещинского, ставленника короля Карла, но то было шведское настояние, а турку лишь бы «вольное», хотя б под скипетром Августа.

Эти все дела, полагал Петр Павлович, сладятся постепенно, время еще есть, и он будет мало-помалу улаживать и улестит визиря. Конечно, по разъединению войск турок не то что пойдет, а бегом побежит домой. И повлечет за собой их, аманатов. Чем далее от российских пределов, тем будет трудней их дипломатическая миссия. И одному турецкому Аллаху ведомо, удастся ли тогда соблюсти во всей полноте наказ государя.

Пока же следовало озаботиться неотложными делами. И Петр Павлович принялся за сочинение писем.

Напомнил генералу Бутурлину и гетману Скоропадскому:

«В Каменном Затоне провианту есть многое число, и чаю я, что оной кратким временем вывезть из оного вон или инако убрать будет невозможно. Того ради изволите... оной провиант весь, сколько его ни есть, приказать роздать нашим великороссийским и малороссийским полкам, при вас обретающимся, чтоб оною ничего не осталось...»

Напомнил и Головкину, ибо время уходило:

«...Також прошу прислать к нам священника с книгами и здороницею и лекаря с лекарствами, понеже в суетах о том просить забыл... Секретарю турецкому подарил 1000 золотых и еще обещал, которой видитца зело сильной, умной и ласковой человек...»

Доброжелательство даром не дается — за него надо платить, его надо покупать за дорогую цену и за нею не стоять. Таковой расход воздастся сторицей, многими важными уступками. Царь это понимает, а канцлер Головкин не очень. Все старается урезать, ровно казначей. Великий скупердяй в жизни, он с чрезмерной ретивостью оберегает и казну. А ведь доброжелателями надобно обзавестись в предвидении того неведомого пути, который предстоит ему с Михайлой Шереметевым.

Тяжко, ох как тяжело бывало временами на душе у Петра Павловича. Но мог ли он посетовать, мог ли кому-нибудь поплакаться? Мог ли явить слабость душевную пред лицом своих подначальных? Поэтому он всяко бодрился и дух показывал твердый и веселый.

Но мысли о близких, свидание с которыми отодвигалось, ясное дело, не на месяцы — на годы, не давали ему покоя. Как они там: матушка Марфа уже в преклонных летах, доживет ли до свидания с ним, отличенным сыном. Как любезная супруга Анна Самойловна из рода Копьевых, с коей прижил он двух сыновей и пять дочерей? «...Ежели придет до того, что постражду от них (турок), прошу милостиво призреть на бедных моих сырых оставшихся мать, жену и детей», — написал он государю. Не то в высоких своих заботах царь мог и запомнить о них.

Наступил, однако, момент, когда не грех было и напомнить его царскому величеству. Мирный трактат был подписан и ратификован с обеих сторон, и его твердость и прочность казались непоколебимы. В визирском шатре справлялось малое празднество: кушали шербет, пили розовую воду, потом подали жареного барашка и неперменный кофе — у турок было все наоборот. Однако поздравляли друг друга душевно: ведь пришел конец кровопролитной войне.

Петр Павлович как бы зримо видел, как покидает русская армия лагерь, превратившийся в узилище. До него доносился раскатистый бой барабанов и звуки полковой музыки. Голодное, истощенное войско уходило с распущенными знаменами, и им, аманатам, можно было торжествовать.

Шафиров написал царю:

«Всемиловнейший государь. Вашему величеству поздравляю совершением миру турецкого, и исполнением в походе ваших войск дай, Вышний, всеблагополучное слышать, себя же вручаю в милость и призрение вашего величества и убогую мою фамилию в привешание...»

Случилось, однако, событие ожидаемое, и Петр Павлович приписал: «...Сего часу король шведской и воевода киевской и хан у визиря на разговорах немалое время, только я мню, что ничего не зделают...»

Король Карл прискакал одвуконь с горсткой верных слуг и воеводой киевским Потоцким, лишенным воеводства: его место занял губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын по праву победителя — воеводато служил Лещинскому.

Король был взбешен. Воспалительная натура его была известна, но даже со времен Полтавы приближенные не видели его в такой ажитации.

— Я проткну как крысу этого подлого визиря! Этого трусливого старого мерзавца! — кричал он, получив известие Понятовского. Он метался по кабинету, делая выпадывады обнаженной шпагой и мысленно протыкая ненавистного визиря. — Я убью его не единожды, а тысячу раз!

— Успокойтесь, ваше величество, — мягко урезонивал его дворецкий. — Вам вредно волноваться, — повторял он фразу, некогда услышанную от придворного врача.

— Кругом недомыслие и измена! — восклицал Карл, мало-помалу остывая. — Я буду писать султану. Это неслыханно: старый говнюк упустил победу! Он мог взять в плен самого царя, царь был у него в руках!

— Полагаю, это было бы непростое, — вкрадчиво произнес воевода Потоцкий. — Вашему величеству известна гордость и непримиримость царя Петра...

— Едемте! — неожиданно прервал его король. — Немедленно приготовьте коней и охрану. Мы выезжаем немедленно!

Спустя полтора дня безумной скачки отряд короля достиг визирской ставки. Отыскивали Понятовского и его ординарцев — шведов и поляков. Скачка как бы накачала ярость короля, самый ее темп побуждал к стремительности, король уже не мог остановиться.

Он ворвался в шатер визиря и закричал с порога:

— Как можно было заключать этот предательский договор! Как можно было упускать победу, которая сама шла в руки!

Король обвинял. Он вопрошал визиря со столь явным и очевидным непочтением, словно тот был по меньшей мере его слугою.

— Я дал отчет своему повелителю, — спокойно отвечал Балтаджи Мехмед-паша. — Но должен ли я давать отчет нашему гостю?

Ответ охладил короля. Но он все еще продолжал пребывать в запале.

— Дайте мне тридцать тысяч войска, всего тридцать тысяч, и я еще успею догнать царя и привести его сюда как пленника визиря.

— Я присоединю своих тридцать тысяч, и мы разобьем русских! — неожиданно выкрикнул Девлет-Гирей.

— Мы подписали мирный трактат, — визирь говорил, не повышая голоса. — Он одобрен султаном, да пребудет над ним благословение Аллаха. Можем ли мы нарушить мир?

— Можем! — выпалил хан. Он так же легко переходил от неприязни к приязни, от ненависти к почтанию, как бывает переменчив степной крымский ветер. Еще недавно он поносил короля шведов за непомерные претензии, за высокомерие, но отважная предприимчивость Карла подкупила его.

— Некоторые люди в запальчивости берут на себя обязательства, не соразмерив свои силы и возможности, — с иронией заметил визирь. — Однако повелитель правоверных не жалуется на них. Он доверил свое войско мне, и я не вправе отдавать его кому бы то ни было. Если король шведов желает воевать с русским царем, то пусть соберет для этого свое шведское войско. Тем более что опыт он уже приобрел под Полтавой... А ты, храбрец, — обратился он к крымскому хану, — можешь присоединиться к королю.

Последняя реплика, как видно, остудила жар Карла. Он махнул рукой, повернулся и, ни слова не говоря, вышел. За ним безмолвно последовала его свита.

Понятовский замыкал шествие. Он был удручен более всех, быть может, более, чем сам король. Уже в

который раз терпели крах его усилия и надежды. В который раз настигала его мысль о тщетности и даже бессмысленности служения шведскому королю. Службы, у которой не было ничего впереди, службы, принесшей ему доселе одно бесславие, опасности и разорение.

— Пора браться за ум, — с горечью сказал он самому себе. И тут же вспомнил, что он уже не раз произносил эту фразу и не раз собирался скинуть с себя эти узы.

Вечером он — слуга двух господ — сел за письмо своему первому и истинному господину, низложенному королю Станиславу Лещинскому. Он писал ему:

«Для Порты — Азов, разрушение Таганрога, Самары и Каменска, тяжелая артиллерия из лагеря русских и восстановление запорожских казаков в их старинных привилегиях; для Польши — чтобы царь вывел свои войска и больше не вмешивался в ее дела; чтобы, кроме того, он выдал Порте мятежного Кантемира с неким Саввой родом из Рагузы, заплатив годовой доход от Молдавии за убытки, которые он там причинил...»

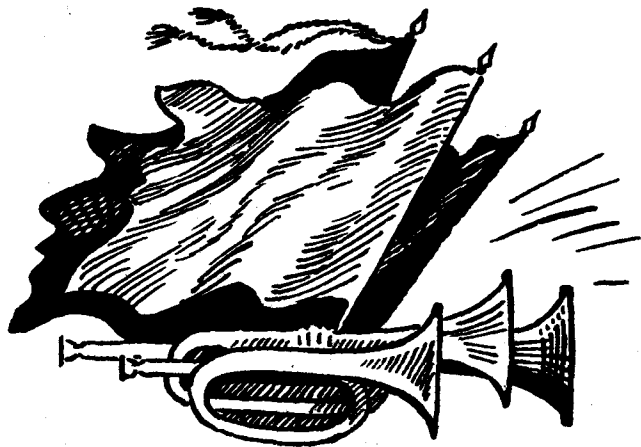
«Все-таки Польше кое-что перепало, — думал Понятовский. — А ведь, в сущности, я служу Польше». Эта последняя мысль несколько умерила горечь его размышлений...

В это время визирь за кофе с улыбкой рассказывал Шафирову о налете Карла. Оба были довольны. Визирь — тем, что Карл получил от ворот поворот, Шафиров — вдвойне: поражением шведа, которое он считал малой Полтавой, и многолюбезностью визиря.

Напоследок хозяин шатра сообщил ему:

— Я приказал отправить генералу Шереметеву тысячу двести возов сухарей и риса да вприбавку тысячу окк кофе. Генерал будет доволен. И твой царь. Это как бы в обмен на те бочонки серебра, которые он прислал.

— Стало быть, мы квиты, ваше визирское сиятельство!



Глава семнадцатая

В ОТВОД!

Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его.

Книга пророка Иеремии

Голоса: год 1711-й, июль

Петр — королю Августу

Вашему величеству и любви, дружески-любно-братски объявляем, что мы с войски нашими в Турецкую землю вошли и с турками встретились у реки Прута и имели жестокие бои. Но для некоторого неудобства, а наипаче для наших общих касающихся с вашим величества интересов, далее в той войне не поступили и учинили с турки вечной мир, о чем

обстоятельнее вашему величеству и любви донести указ наш дали...

Петр — Марфе и Анне Шафировым

Мои госпожи. Понеже господин подканцлер Шафироф ныне в учиненном миру был полномочным по учинении оного, турки просили, дабы ему и Господину Михайлу Шереметеву у них до исполнения остатца, что для необходимой нужды и учинено. Того ради не имейте в том печали, ибо, Богу извольшу, не замешкаетца там.

Головкин — Шафирову

...Пришла из Москвы почта и так случилось, что в намет государев сумы принесены, и государыня царица изволили приказать ваш пакет распечатать, чая в том письма себе от царевен, и не сыскали. И я того же часу запечатал их моею печатью. Не изволте, мой государь, сомневатца, чтоб кто те писма читал или видел...

...В обозе нашем токарный станок царского величества утрачен. Изволте приказать чрез кого наведатца, не возможно ль оного тамо у кого отыскать, и хотя б что за то денег дать. И буде сыщется, изволте его, выкупя, сюда прислать. Известно вам, како тот станок его царскому величеству потребен...

Шафиров — Головкину

...везирь допустил меня с собою на конференцию... А о короле швецком объявил я ему, что царское величество для любви салтанову величеству и для его, везиря, чрез свою землю его пропустит и с честью и на подводах укажет, о чем и к губернаторам указ свой дать повелел... И он, везирь, мне сказал, что он говорит со мною за секрет, что он

его, шведа, ставил напередь сего за умного человека, а как он его ныне видел, то признавает его за самого дурака и сумазбродного, яко скота...

Головкин — Долгорукову, послу в Копенгагене

Мой государь князь Василей Лукич. Объявляю ваше милости, что с великою ревностию шли мы к Дунаю, дабы турок предварить и получить довольство в провианте. Но турки нас упредили и встретились с нами у Прута, где престрашные бои были чрез три дни... И потом, видя что из сей войны жадного прибытку не будет, того ради поступили желанию турецкому и на вечной мир, уступя им все завоеванное, дабы с той стороны быть вечно беспечным, что турки с превеликими охотами, паче чаяния, учинили и от короля швецкого вовсе отступили. И тако может ваша милость его, короля датского, верно обнадежить, что сей мир к великой пользе нашим союзникам...

Петр — Шафирову

Господин подканслер. Письма ваши мы получили, на которые пространно отвечивал вам г-н канслер, а в самой материи есть сие: токмо паче всего вам надлежит трудитца, дабы получить ратификацию, а паче ее скорой отпуск короля швецкого, дабы замедлением своим тем еще чего не зажег, чего для и езду свою в Ригу отлагаю... По сем отдаю вас в сохранение Божие.

Барабаны, флейты, рога и рожки выпевали немудряще и нестройно. Полки шли с развернутыми знаменами и штандартами. Колыхались двуглавые орлы, Георгий Победоносец, Николай Угодник, осеняя и печалась...

Христолубивое воинство шло в отвод. Лица обгоревшие, черные, ровно турки, осунувшиеся, изможденные

ные, заросшие — пришлось претерпеть, да, много выпало лиха. И голодали, и холодали, и плавились от нестерпимого жару, и ходили на краю гибели...

Шли преображенцы, семеновцы, астраханцы, ингерманландцы, новгородцы и многие другие, шли гренадеры, фузилеры, драгуны, вели лошадей в поводу, жалючи скотину, — кожа да кости. Конь — не человек, столь долгой бескормицы не вынесет.

Лица же были просветлены — шли домой. Домой! Нашлась и сила, взялась и бодрость. И хотя путь лежал тысячеверстный, но Господь упас, а впереди не было крови, не было войны.

Царь Петр как бы опоминался. Напряженное ожидание, не отпускавшее его в те дни, когда Шафиров вел переговоры в турецком стане, ожидание самого худшего и даже внутренняя готовность к нему, — все это наконец кончилось.

За эти два дня царь спал с лица: округлое, оно как-то вытянулось, щеки втянулись, запали и глаза, казалось ставшие меньше, усы топорщились, словно худо приклеенные, и кое-где вылезли седые волоски.

Претерпели все, и наравне со всеми претерпел царь Петр. Наравне? Кто сказал? Он претерпел куда более всех. Потому что знал: ему держать ответ за все перед Господом и Россией. Он недоглядел, недодумал, не соизмерил.

Приходил в себя. И только теперь мог сполна оценить свою царицу. В тяжкие дни она вела себя как воин. Не пряталась при канонаде, не искала защиты у царя. А в минуту крайней опасности приказала подать заряженные пистолеты и носила их при себе. Можно ли забыть, как собирала она драгоценности для выкупа из плена.

— Знаешь, Катинька, что я решил?

— Что, мой господин и повелитель?

— Вот возвернемся мы, и по миновании сих горестей осную я орден Свобождения в честь покровительницы твоей святой великомученицы Екатерины. И в

твою честь, матушка. Как жертвовала драгоценности свои и других призвала для выкупа нашего из визирского пленения. И будет сим орденом награждаться дамская доблесть. Первые кавалерии тебе вручу. Заслужила. Прикажу девиз выбить: «За любовь и отечество».

Екатерина вспыхнула. Если иной раз ей казалось, что царь охладевает к ней, что вершина их любви уже миновала, то после этих слов она поняла: нет, все еще впереди. И главное — впереди.

Припала к рукам царя, жадно их целовала: огромные огрубелые ладони, длинные пальцы. Слов не было, да и нужны ли были слова.

Петр глядел на нее с нежностью, благодарно. Потом сказал:

— Зело устал я, матушка. И кажется, спал бы да спал — после долгих бессонных ночей.

— Буду покой ваш оберегать, государь мой. Дабы опаматовались вы после сего испытания.

Армия шла как бы через турецкий строй: по приказу великого визиря устроено было провожанье. Предлог сказан был такой: оберечь от татарских бесчинств. Татарове и впрямь бесчинствовали — пытались отсечь сколько-нибудь от обоза, вихрем насакивали и тотчас отлетали.

На самом же деле устроили догляд.

— Высматривают Кантемира и Савву Владиславлева, визирь желает их изловить и представить в оковах султану, дабы преданы были мучительной казни — посажены на кол, — доложил боярский сын Тодорашко, из свиты Кантемира. Он был в тайных сношениях с одним из белюк-баши. Тот ему и выболтал: за оных господ назначена большая награда: кто укажет, получит пять тысяч червонных. А кто доставит их в турецкий лагерь, того озолотят.

Петр сказал Макарову:

— Прикажи всех людей Кантемира и Саввы надежно попрятать в обозе.

Макаров подсказал:

— Господаря Кантемира да Савву для надежности сугубой хорошо бы укрыть средь фрейлин государыни царицы. Турок на гарем не посягнет — он для него священ.

Петр усмехнулся:

— Стало быть, и у меня гарем, как у султана. Ну что ж, для сего случая и гарем полезителен. Ведь я дал слово князю Кантемиру сберечь его и не изменю, лучше уступлю туркам землю до Курска: мне останется еще надежда возвернуть ее, а коли слово нарушишь — того не возвернуть. У нас ничего собственного нет, кроме чести, коли ее потеряешь — перестанешь быть государем.

Шли скорым маршем: никого не надо было подгонять, бежали как от сраму. Кормились как могли. Варили диковинную кашу из сарацинского пшена, по-другому именуемого рис — прежде никто такой не едал, а был то визирский презент. Ели турецкие сухари. По-прежнему шла в котлы конина от палых и изможденных лошадей.

Кантемир, скрывавшийся среди семеновцев, водворился в одной из царицыных карет вместе с Феофаном, бывшим при нем за толмача. Решено было выдавать их за евнухов, стерегущих царев гарем, чем Петр немало потешался.

— Монаху быть оным евнухом пристало, но каково князю, столь чадолюбивому.

Турки же, стоявшие строем на всем пути отвода армии, как бы ненароком заглядывали в кареты и повозки, острыми глазами ощупывали ряды. Царицыны же кареты сопровождал конный эскорт. И турецким соглядатаям ходу туда не было.

Кантемир был защищен, бояре его, из тех, кто пожелал следовать за ним, перенаряжены в российское воинское платье. Савва загодя отправлен в польские пределы. Оставалось несколько потерпеть, когда турок отстанет, в крайности до тех же Сорок. От татар, досаждавших во все время пути, отбивались без потерь.

Меж тем пришла важная бумага от Шафирова, закреплявшая мир, — султанская грамота, собственноручно переведенная Петром Павловичем.

«Салтан Агметь, сын салтана Магметя, всегда победитель. Знак высочайший, пречестнейший, превысокий, императорский. Понеже славнейший первый министр, справитель, согласитель, обладатель народа, превысочайший везир, главный фельтмаршал и всесовершенную власть имеющий Мегметь-паша, которого всемогущий Бог да прославит веки и умножит его силу, со всеми моими победительными войсками при реке Пруте, на поле, именуемом Хуш, с московским царем и его войском сошелся, и был случай для бою, однакож выше-реченный царь с своей стороны прислал своих наместников полномочных для мирных переговоров, и помянутой мой наместник, всесовершенную власть имеющий, после многих мирных разговоров о пунктах, пактах и кондициях, помощью Вышнего между мною и моею Высочайшею Портою... и между царем московским... мир учинили... о том нашему императорскому величеству донесено. И нашему императорскому величеству оные пункты и пакты угодны суть...»

— А вот это и есть главное, — обрадовался Петр, прочитав бумагу, — что салтану сии пункты угодны суть! Сквозь многие словеса к сути еле продрался. А подканцлер наш, вижу, с визиром спелся. Что ж, сие нам во благо.

Наконец смог царь полностью распрямиться во весь свой саженный рост. Наконец душа освободилась от гнета. Сомнения, мучившие его во все время похода, нараставшие с каждым днем по мере приближения к турецким пределам, стали мало-помалу отсыхать, отпадать. Одно вывел изо всего случившегося: опасно быть легковерным. Опасно полагаться на других, объявляющих себя союзниками. Обман, все обман, если не сказать вероломство. И он, царь и великий князь, хорош: поддался словесным обольщениям, укрылся в бумажных

крепостях. Слова они и есть слова. Не более того. Одним словам веры нет.

Ощущение опасности отпало. Теперь Петр чувствовал себя обманутым. Ежели обманут простолюдин — это одно, в этом особой беды нет. Но был обманут он, царь, владыка могущественного государства.

Эта мысль точила его неотступно и невозбранно. Обман был ему всегда ненавистен. Он имел право на легковерность: это право государей, которых не дерзали обманывать ни подданные, ни другие potentаты: обманщика неизбежно ждало суровое наказание.

И вот его легковерие, даже доверчивости были по-срамлены. Равно и самоуверенность, явившаяся после Полтавы... Век живи, век учись — воистину так.

«Господь наказал меня за многие грехи, — думал Петр. — Ноне я выучился, всякий раз стану вспоминать Прутскую баталию. Но отчего же турок столь легко отступился? Не единой же ловкостью Шафирова, его дипломатическим даром то учинилось?»

Над этим он изрядно поломал голову со дня размена трактатами. Допрашивал Феофана, Кантемира, Головкина, Шереметева. Все сходились в одном: визирь-де опасался бунта янычар, равно и стойкость русских не давала надежды.

Некое прояснение можно было усмотреть в письме Луки Барки Савве Рагузинскому. Лука, находившийся в самой гуще политических событий турецкой столицы, знал многие обстоятельства, ибо сносился со знатными чиновниками Порты и послами европейских держав. И даже, говорят, был вхож к самому каймакаму, второму лицу после визиря.

Лука сообщал: «Везир... самому салтану доносил, что... неоднократно турки наступали и никогда устоять не могли, но назад утекали, и когда был у них бой с пехотою при реке Пруте, то уже турки задние начали было утекать, и ежели бы москвичи из лагеря выступили, то бы и пушки и амуницию турки покинули, и в том ссылается на вышних и нижних офицеров. Когда

во второй день рано велел и паки наступать, то и янычары все отказали, что они выступать не хотят и против огня московского стоять не смогут».

«Стало быть, они более нас испугались и готовы были отбой бить,— удивился Петр.— Поди знай! Воистину: у страха глаза велики. Но все едино: из той ловушки без великого урону было не выбраться. А уж о виктории и помышлять не приходилось».

Продолжала теснить его обида и грызть совесть, сколь ни пытался он всяко развеяться: и за шаховой игрой с Феофаном, и за утешными разговорами с Кантемиром и Макаровым, и за любовными играми с царицей.

Вдобавок стали вспоминаться разные досадения. Некогда драгоценную шпагу с золотой насечкой и индийским лалом в рукояти преподнес он как презент брату Августу. Знак то был особый, символ нерасторжимой дружбы. И что же? После Полтавы взяты были в трофеях некоторые вещи короля Карла. И среди них — та самая шпага!

Вот что удалось узнать от плененных шведских генералов. Брат Август, припертый Карлом, в угождение ему ту шпагу отдал. Вот тебе и союзник! Вот тебе и брат!

Такой он — Август. Сильный — слабосильный. Все на словах. Веры ему нет и более не будет. А отречься нельзя: политика. Отречься — союзником меньше станет в политических играх, кои стали не меньшее значение иметь, нежели игры военные. И потому в письмах к нему приходится блюсти политес, именовать его любовными словами.

А за всех союзников пришлось расплачиваться ему, Петру. Шереметев счел итог кампании — сполна испил чашу горечи. Всего померших и без вести пропавших насчитано было 27 285 душ. А павших в бою — всего 4 800. Скорбный итог: сверх двадцати двух тысяч без толку пропало!

На Пруте русских было: кавалерии — 6692, инфантерии — 31 554, итого — 38 246. Пушек было — 122. Молдаван — сверх пяти тысяч. С турецкой же стороны, как

писал Шафиров, ссылаясь на доверительное сообщение визирского секретаря Омера-эфенди, было конницы и пехоты 119 665 да 70 000 татар Девлет-Гирея, всего же войска 189 665 душ да пушек 469.

— С таковою машиною даже при полной неискренности турок нас запросто задавить мог,— сказал Петр себе в утешение.

— Верно, государь,— согласился Феофан, двигая пешку на королевском фланге.— Злоумышление турецкое славою российскою побеждено есть. Дерзнул сложить я стих в подражание знаменитым одописцам, коего список повергаю я к стопам вашего царского величества.

— К стопам, говоришь? А сам на стол кладешь,— усмехнулся царь.— Ну да ладно — чты своими устами.

Феофан прочистил горло и, словно проповедь, нараспев стал читать, позабыв сделать очередной ход:

За Могилою Рябою
Над рекою Прутовою
Было войско в страшном бою.
В день недельный от полудни
Стался час нам вельми трудный,
Пришел турчин многолюдный.
Пошли навстречь козацкие,
Пошли полки волосские,
Пошли загоны Донские...
Пришли на Прут коломутный:
Тут же был наш час смутный,
Тут же был бой окрутный...
Всю ночь стуки, всю ночь крики,
Всю ночь огонь превеликий,
Всю ночь там Марс шел дикий...
Не судил Бог Христианство
Освободит от поганства,
Еще не дал сбить поганства.
Магомете, Христов враже
Аще дальний час покажет —
Кто от чих рук поляжет.

— Складно сложил, Феофана,— Петр был тронут.

— Терцинами, в подражание великому италийскому поэту Данту.

— Не ведал за тобой дара пиитического. Однако твой ход.— Петр подождал, пока Прокопович сделает ход, а затем неожиданно спросил: — А дан ли тебе дар предвиденья?

— Вижу будущее,— уверенно отозвался Феофан.— Будущее великого царя, непобедимого владыки. Более, государь, такового афронта не потерпишь, ибо глупый-то киснет, а умный все промыслит. Промыслит царь Петр Алексеевич славу бессмертную, молвлю без боязни.

— Лстец ты, хоть и утешительны слова твои,— Петр махнул рукой.— Лесть надобна глупому, который, по слову твоему, киснет. А ведь и я кисну, стало быть, глуп. Кисну, ибо итог сей кампании покою не дает.

Аще дальний час покажет,
Кто от чиих рук поляжет,—

повторил Феофан.— Человек совестливый Богу угоден, и он его вознаградит.

— Твоими да устами мед пить,— вздохнул Петр.— А ведь сколь народу понапрасну полегло, вот что обидно. Понапрасну! С утерею прежде завоеванного. Войска жаль: оно еще на многие походы занадобится. Все, что у шведа побрали, все за Россией оставлено. Но за то грудью стоять придется, доколе брат Карл не подпишет окончательного миру. А он, коли выйдет из турок, снова начнет с нами войну.

— Король Карл либо еще кто принужден будет к миру победоносным оружием российским.

— Дай-то Бог, Феофане, дай-то Бог,— и Петр размашисто перекрестился.— Ибо не о себе радею — о царстве. Однако ходи, не забывай.

Сыграли четыре партии, счет был равный. Петр велел Феофану играть в полную силу и не угодничать. Феофан, знамо дело, старался, дабы в угодники не попасть, хотя и видел, как огорчался царь, когда проигрывал.

Петр был игрок сильный и прежде чаще всего выигрывал. Но сейча: пребывал в рассеянии, мысль его

блуждала в стороне от шаховой доски, и Феофан это видел и понимал. Всяк властитель самолюбив, и самолюбие его изнежено: не тронь, не наступи, не задень. Петр не был исключением: самолюбие его было уязвлено. Оно было подобно незаживающей ране. Кто же тот искусный врач, кто ее заживит? Время? Оно врачует простых смертных. Но Феофан понимал: Петр не из се-го ряда — не простой он смертный, не обыкновенный какой государь, а монарх великий.

Петр Великий! Через много лет он повторит с Сенатом и новопоставленным Синодом: Петр Великий и Отец Отечества.

Рана затягивалась снаружи, изнутри же все еще явила. За многими заботами царь о ней позабывал: тому способствовал быстрый и утомительный марш.

Попервости шли и ночью, дабы как можно далее уйти от места бесславной битвы. Шли, перемогаясь, побросали, пожгли все, что отягощало.

За русской армией, как шакалы, в надежде поживиться, следовали конные татары. Они охотились за отставшими, отбившимися по слабости. И царь приказал возглавить арьергард двум доверенным и надежным генералам: князю Михайле Голицыну и Адаму Вейде.

Татары все прибывали, становились все наглей. Голицын приказал кавалерии делать вылазки, стрелять и рубить без пощады. Шереметев, посетовавший визирю на татарское бесчинство, получил его благословение на расправу. И не менее пяти десятков зарвавшихся татар осталось лежать в поле.

...Небо заволокли тучи, жара спала. А потом пошел благословенный дождь. Мало-помалу он стал буйствовать, как все летние дожди в этом краю, и обратился в ливень с грозой. Молнии огненными пиками вонзались в землю где-то впереди, за крутой холмистой грядой, за лесом, они постепенно перемещались вправо, к Пруту и на другой берег.

Крестились, отгоняя небесный огонь чем-то разгневанного Ильи Пророка, омывались небесной влагой. И

оживали, оживали, подобно высохшим травам, люди и кони. Все оживало на глазах — омытое и очищенное, напоенное и накормленное. Колонны замедлили шаг. Одежда намочла — хоть выжми, но это не было в тягость.

— В баньку бы теперь, — по-простецки молвил князь Голицын. — На полоч да с веничком.

— Ох, ваше сиятельство, хоть бы ироды эти в речке дали искупаться, — вздохнул адъютант князя.

— Великое благо — дождь, — заметил капитан из княжеской свиты. — Инда высохли все.

— Размочил, размочил, — поддержал его князь. — И все окрест возрадовалось.

И тут, словно по мановению пророка Ильи, дождь перестал и в прогалы клочковатых облаков еще нерешительно выглянуло солнце. Разноголосый птичий хор возрадовался и тотчас восславил и дождь и солнце. Размокшая земля стала парить на взгорках. Колонны стали втягиваться в долину, где за несколько дней до битвы армия разбила свой бивак.

Турки продолжали сопровождать русских. Ими командовал двухбунчукный паша. Он объявил Шереметеву, что садразам повелел ему следовать с российским войском до самых границ турецких владений, ибо вся земля княжества Молдавского подчинена и принадлежит великой империи, как многие другие христианские земли, ибо на то была воля Аллаха. Эту божественную волю постоянно укрепляло турецкое оружие. А молдаване, валахи, сербы и другие неверные — всего лишь рая, то бишь стадо, пасомое мусульманами, верными слугами султана и ислама.

— Я не стану вмешиваться в ваши дела и в ваш распорядок, — заключил паша, когда было объявлено, что войско станет при долине на недолгий растах; долгий же роздых рассуждено было учинить в Яссах.

Эта весть обрадовала всех. Ибо в городских стенах только и можно привести себя в относительный порядок и как следует оглядеться. Царь принял это решение

по настоятельной просьбе Кантемира. Господарь полагал ускользнуть там из-под турецкого глаза и забрать с собою надежно упрятанные драгоценности.

Сопровождающий их паша был меж тем добродушен и словоохотлив. Он сносно объяснялся по-немецки, и это было многим на руку. И он, и его люди полагали излишней чрезмерную бдительность. И они несли свою службу спустя рукава, как все, кто удален от взоров главного начальства.

Паша с большей частью своего воинства следовал в арьергарде, остальные его подначальные сосредоточились на флангах. Все они получили приказ визиря отражать наскоки бродячих татарских шаек. Надо сказать, турки ревностно относились к этому: ловили и стреляли своих единоверцев, вязали изловленных и отправляли на суд и расправу в турецкий лагерь, все еще не трогавшийся с места.

Петр сказал Кантемиру:

— Княже, пока турки глядят вполглаза, ступай прежде нас в Яссы, собери свое семейство и всех ближних своих, кои согласятся уйти с нами, и будьте готовы к походу. В подкрепление даю две сотни драгун: пушай турок думает, что посылаем их на рекогносцировку, они и вовсе его заморочат. Мы же в город не войдем, а станем лагерем у стен его. И будем стоять сколь можно долго, пока люди опомнятся да пока все большие дыры залатаем.

Паша и его дозорные по-прежнему благодушествовали, и обвести их не составило труда. Впрочем, буде нагрянули бы проверщики, они не нашли бы никаких упущений в их службе. На привалах турки и русские устраивали, как водится, меновую торговлю к обоюдному удовольствию. А начальство смотрело на это сквозь пальцы: все человеки.

Кантемир с отрядом в считанные часы достиг Ясс. Город будто вымер: ни пешего, ни конного на улицах. Жители либо попрятались, ожидая пришествия турок и полного разорения, либо бежали в деревни. Тем паче

что сами турки среди своих эмиссаров распространили слух, что город будет отдан на разграбление.

Турки еще только намечали карательную акцию, а уж татары подступили к Яссам. Это были все те же бродячие шайки, которые рыскали в поисках поживы. Отчего-то в город они войти остереглись, зато собрали весь скот в округе и угнали его, захватив с собой и пастухов.

Со стесненным сердцем ехал господарь по улицам города, где он княжил немногим более семи месяцев, столицы княжества, которого он лишился. Отныне ему придется покинуть его навсегда. А будущее? Будущее смутно мерцало в дымке времени, контуры его были размыты.

Слутники его молчали. Молчал и господарь Димитрий Кантемир. Не напрасно ли подверг он себя столь тяжким и опасным испытаниям? Не проиграл ли он в той игре, которая именуется жизнь? Он думал и о бесчисленных опасностях, которые подстерегали впереди его и его семейство, равно и вверившихся ему бояр.

Он отдал свой меч, щит и перо русскому царю. Сколько он успел узнать его, услышать о нем из уст служащих ему иноземцев, царь был тверд и надежен в своих обещаниях.

Он, Кантемир, теряет княжество, доставшееся ему не только с трудом, но и с великими издержками. Пусть княжество вассальное, всецело зависящее от турок, как и господарство его от прихоти турецких вельмож, могущих сбросить его в любой день.

Увы, он познал искушение властью. Яд этого искушения растекся по всем жилам, проник во все поры. Только сейчас, едучи по безлюдным яским улицам, он в полной мере осознал, сколь велика его потеря. Он более не «домнитор», никто уже не скажет почтительно: «Суб домниа луй Думитру Кантемир...» Турки вычеркнули его имя из истории княжества да и из своей истории, где он оставил заметный след, а равнодушный народ, привыкший к непрерывной смене господарей, и

вовсе забудет его имя. Может статься, церковным иерархам прикажут предать его имя анафеме, и они покорно, а иные с истовостью станут проклинать его в церквях, яко изменника.

Но кому он изменил? Не родине, нет, а ее поработителям! Среди бояр не мало приверженцев турецкой партии. Зачем искушать судьбу, рассуждают они, коли так повелось от века. Лучше покорностью завоевать доверие турок, ибо нет у нас никакого другого оружия, кроме покорности. Турки умеренны-де в своем грабительстве, никто не знает, каково бы нам жилось под иным владычеством, хотя бы под русским, единоверческим.

Кантемир возражал: не грабили бы, довольствовались умеренными поборами, но, слыша резоны туркофилов, невольно задумывался. Сколько ни увещевал его царь Петр в посланиях своих оставить сомнения и колебания, сила-де за Россией, и вера за нею, и Господь над нею, и скоро все единоверные, сколько их есть на Балканах, подымутся за веру и примкнут к российским войскам, он продолжал колебаться. Властолюбие успело отравить его.

Перед приходом российских войск Кантемир замесался.

Надо выждать, думал он, так поступают все благоумные, все мудрые и искушенные властью. Похоже, так собирается поступить и недруг Кантемиров господарь Валахии Брынковяну.

Когда Кантемиру был вручен султанский ферман на княженье, визирь дал ему тайное поручение: захватить Брынковяну, подозреваемого в сношениях с царем Петром, и выдать его на расправу. Тогда-де и престол Валахии будет отдан Кантемиру.

Ох и велико же было искушение! Но по зрелом размышлении он отверг его. Брынковяну, как видно, был предупрежден либо догадался. Он прислал доверенного человека, с которым передал вот что: «Посулы всех владык мира искусительны, но мудрый внимает лишь

голосу разума. А разум велит быть осторожным». Это означало и совет и пример.

Господари обоих княжеств оказались меж молота и наковальни. Велико искушение сбросить ненавистное иго. А ну как Петр проиграет кампанию? Тогда княжества постигнет жестокая месть турок. А ежели выиграет?..

Вспомнилась Кантемиру Буриданова ослица, скончавшая жизнь меж двух охапок сена. Не в той ли он позиции? Надо принимать однозначное решение. Не только за себя — за всех.

Созвал бояр на совет. Как поступить, домнитор? Поднялся гвалт. Одни считали, что надобно податься в Фэлчуу либо в Бырлад. Другие — в Фокшань, на границу с Валахией, и там ожидать развязки и тогда предаться победителю.

Были и такие, кто требовал идти навстречу царю, были наиболее осторожные: они поспешили укрыться в своих имениях и там выжидать развития событий.

Среди строптивцев был митрополит Геден — духовный глава княжества, был и хатман Антиох Жора, были и другие бояре, твердо стоявшие за соединение с царем. Они послали к Петру своего человека с уведомлением: Кантемир-де водит за нос и царя и турок, ему-де опасно доверять...

Господарь про то проведал. Он отправил Петру покаинное послание. Кантемир писал: визирь ведет за собой четырехсоттысячную армию с пятьюстами пушек, что княжество разорено, что саранча пожрала посевы, что татары кучкуются на границе и готовы по первому сигналу разграбить Молдову.

Царь отвечал: жребий брошен, и обратного хода нет. А потому Кантемиру надо решительно отбросить колебания. За все припасы будет щедро заплачено, как заплачено господарю Брынковяну, который-де уже занят заготовкой провианта...

С царским письмом были присланы богатые подарки: осыпанная алмазами кавалерия святого мученика

Андрея Первозванного, драгоценный царский портрет в золоте и бриллиантах, соболя и иное.

Легко сказать — отбросить сомнения. Кантемир все еще пользовался доверием визиря, хана Девлет-Гирея, министров Порты... Оно дорогого стоило, это доверие. Взять так вот сразу и разрушить все, что он терпеливо строил всю свою сознательную жизнь?! С другой же стороны, господарство его ненадежно: явится охотник на престол с тугой мощной и перекупит его. А царь обещал закрепить за ним династические права.

Наконец его осенило: он испросил у визиря прикнуться другом русского царя, дабы выведывать его намерения. Согласие было дано. И Кантемир пока что мог вздохнуть свободно. Теперь он беспрепятственно сносился с Петром и его генералами.

Похоже, он перехитрил всех! Во всяком случае, пока. Он исправно поддерживал сношения с обеими сторонами. Слал малозначащие донесения визирю и исполнял его повеления. Одновременно получил письменное согласие царя на присоединение к княжеству земли между Прутом и Днестром, называемой некоторыми Бессарабией и прежде принадлежавшей княжеству. Было еще много лестных для Кантемира пунктов, и царь на все согласился: княжество будет свободно от дани, престол закреплен наследственно за родом Кантемиров, во время войны молдавское ополчение будет содержаться за счет русской казны; русские не смогут претендовать на сколько-нибудь высокие должности в княжестве; царь не заключит мира с турками на условии сохранения Молдовы под турецким владычеством...

Кантемир вел трудную и рискованную игру. Проиграть? Нет, он достаточно умен: если не выиграш — княжество, прирастившее свои пределы и свободное от турок, то, по крайней мере, и не проиграш: царь обещал ему два дворца в Москве, титул светлейшего князя, обширные поместья, денежные дачи, звание сенатора и иные почести. Не только ему, но и тем боярам и

служиторам, которые решат последовать за ним в случае неудачи похода.

Он выговорил все, что мог. И за спиной царя чувствовал себя надежней, нежели за спиною султана. Но пришло время, когда следовало оказать себя, свое истинное лицо — игре пришел конец. Ему донесли, что, узнав об измене, и визирь, и хан Девлет-Гирей поклялись изловить Кантемира и весь его род и одних посадить на кол, а другим отрубить голову.

Конечно, он долго их дурачил, зная при этом, что пощады не будет, и не только он, а и все Кантемиры будут беспощадно вырублены под корень.

Что ж, он сделал выбор — пожалуй, лучший из всех возможных. Если Всевышний сохранит его на тернистом пути из греков в варяги, он сможет заняться трудами философа. И тогда его единственным оружием станет перо, а полем битвы — бумага. Не будет суеты властителя, с которой он постоянно сталкивался в Яссах: разбора распрей между боярами, забот об умножении доходов княжества, а стало быть, и княжеских доходов, ибо надлежало возратить то, что было израсходовано на выкуп господарского стола.

Все, что ни делается, — к лучшему — вот афоризм, которым должно утешаться истинному философу. И это безлюдье, встретившее его на улицах Ясс, тоже к лучшему: горожане спрятались либо бежали. Не будет свидетелей и его бегства.

Кантемир предпринял попытку выкурить ясских турок — их было немало — еще тогда, когда российское войско подвигалось к пределам княжества. Он написал паше Бендер: русские переправились через Днестр у Сорок и движутся к Яссам, а потому можно опасаться набега их кавалерии и разорения Ясс: паша должен приказать правоверным отправиться под защищенье армии садразама.

Паша отвечал: успеется. И тогда господарь приказал распустить слух о скором пришествии русских. Они-де примутся истреблять турок. Подействовало! Часть турок

бежала, взявши лишь самое ценное. Остальные, особенно мелкие торговцы и ремесленники, видя выдержку молдаван, положились на волю Аллаха.

Тогда и он, Кантемир, еще служил двум богам — Аллаху и Христу. И трудно сказать, какому из них с большей истовостью. Как только передовые отряды русской кавалерии показались в виду Ясс, молдаване бросились грабить конаки богатых турок. Потом пришел черед остальных.

Господарь приказал остановить бесчинства. Но было уже поздно: избиение подошло к концу. Уже кое-где чернь принялась потрошить и своих богатеев. Приступали к конакам ненавистных бояр.

Тогда и он, господарь, принужден был принять предосторожность, ибо видел, что народное буйство обращается в неуправляемую стихию. С семейством и двором он переправился в укрепленный замок Четацуя, высившийся на холме на другом берегу Бахлуя. Отсюда он послал гонца к Шереметеву с призывом поторопиться самому либо послать наперед конных драгун числом не менее трех тысяч для умиротворения разбушевавшейся черни.

Драгуны во главе с бригадиром Кропотовым явились тогда, когда погром сам собою утас. И тогда Кантемир в окружении верных ему бояр-вел — логофета Николая Костина, ворников Иона Стурдзы и Иона Росети и вистияра Или Катаржи — выехал из замка и направился в урочище Цуцору навстречу Шереметеву.

Злые языки разнесли слух о том, что господарь-де самолично разрешил грабить турецкие лавки и конаки и побивать турок. Но это был досужий вымысел его недоброхотов. Известно: чернь при всякой перемене власти первым делом принимается за грабеж. Сначала грабят иноплеменников, а уж потом принимаются и за своих.

Первым, естественно, распустил слух предводитель ясских турок Мехмед Язаджи-эфенди, прежде чем сбегать. Он имел наглость требовать, чтобы Кантемир по-

вел ополчение на соединение с армией садразама. Кантемир отвечал осторожно: народ, мол, взбунтовался, он неуправляем, сам же он вместе со своими приближенными непременно отправится навстречу визирю с развернутыми байраками...

Да, пришлось испытать великие волнения. Выручала прирожденная находчивость и знание обстоятельств, что в свое время столь подкупало его высоких турецких покровителей.

От Шереметева он тогда получил все, что просил: двести мешков левков на содержание десяти тысячного ополчения. Офицерам было заплачено вперед и с той щедростью, которую предписал царь. Савва же Рагузинский вручил ему еще триста мешков — плату за скот для войска, — как провиантмейстер русской армии. Нет, ни у кого язык не повернется сказать, что пришествие российской армии обременило княжество: она расплачивалась за все, даже за посулы...

Все это чередой проплывало в памяти, когда он в полном молчании, смущавшем его спутников, ехал по улицам Ясс. Он отдирали от души вросшую было в нее привязанность к ним, к церквям и монастырям — святым местам его юности и зрелости. Улицы были по-прежнему безлюдны, а он помнил их иными — шумными, запруженными толпами приветствовавших его подданных...

Подданных у него больше не будет. Будут слуги, служиторы, будут крепостные — рабы, будет, наконец, малый двор из незначительных бояр. Будут деревни, которые пожалует царь, с крепостными людьми. Деревни эти потому и называются так, что построены из дерева, в котором утопает Россия. Его новое прибежище...

Замок Четапуя, где находилось его семейство, был обороняем верной стражей. Стоило его отряду приблизиться к затворенным воротам, как за стенами поднялась пальба.

— Что такое?! — переполошился Кантемир. — В кого стреляют?

Ворник Николай Костин с усмешкой предположил: — Пугают. Мы-де вот какие. Мы и застрелить можем. Он подъехал к воротам и забарабанил в дубовое полотно.

— Чине? Кто? — послышался глухой оклик.

— Дескиде поартэ! Домнитор Димитрие! — Открывай ворота, господарь Димитрий.

Переполох усилился. Ворота со скрипом отворились, и Кантемира и его спутников окружила восторженно вопиющая толпа женщин, монахов, прислужников.

Он торопливо взошел на крыльцо. Из приотворенной двери пугливо выглядывала голова старшей дочери Марии. За нею Смаранда, Матей, Костаке, Сербан и кроха Антиох — мал мала меньше. Они тотчас высыпали на крыльцо и чинно, не толкаясь, поочередно припадали к отцовской руке. Антиоха подвела Мария. Кантемир взял его на руки — малыш радостно задрогал ножонками — и нежно поцеловал в лоб и щеки.

Последней вышла княгиня Кассандра. Ей, как видно, неможилось: то и дело ее сотрясали приступы кашля, глаза слезились. Впрочем, может, то были слезы радости — за сгустившимися сумерками трудно было понять.

— Я все знаю, — грустно произнесла княгиня. — Нам придется уезжать, не правда ли?

— Увы, моя госпожа. У нас несколько часов на сборы.

— Уехать навсегда, — потерянно произнесла княгиня, и из глаз ее потоком хлынули слезы. Она была тонкокожа, княгиня Кассандра, как все женщины ее царского рода. Она была нервическою особю: восьмеро детей, из которых двое умерли во младенчестве, дались ей трудно.

Поначалу ей казалось: семья наконец обрела надежное пристанище, во всех смыслах подобавшее ей, поднялась на ту высоту, которой заслуживали ее происхождение, образованность, высокая одаренность ее главы. Кассандра только-только обжила в доме, который она уже привыкла считать своим. Каждый нашел тут свое место и радовался ему.

И вот все это кончилось. Жизнь в который раз приходилось начинать сызнова. А что там, впереди, в суровом северном краю, тонувшем в снегах, в лесах, в болотах?

Кантемир угадал ее мысли — их нетрудно было угадать. Продолжая обнимать ластившихся к нему детей, он напомнил:

— Мне, моя госпожа, привычна кочевая жизнь. Да и тебе тоже. Пятнадцать лет от роду я был аманатом в Константинополе. Вернулся, двух лет не прожил в Яссах, как снова погнали меня в султанскую столицу — почти на восемнадцать лет. Большая часть жизни прошла в турках. И каждый раз все приходилось начинать заново, ты знаешь...

— Знаю, — отозвалась она, смахивая ладонью слезы, обильно струившиеся по щекам.

— Они непредсказуемы, наши прежние хозяева, увы, хозяева, ибо мы с тобой были подневольны, как наши дети, — продолжал он. — Ты же знаешь, как все здесь неверно: сегодня я на престоле, а завтра... Завтра его перекупил другой. Или дань показалась мала визирю либо чиновникам Порты. Недруги оклеветают меня, плаха же уготована всем вам. Под рукою же царя Петра мы обречем надежное убежище...

— Ты уверен в этом? — перебила она его. Глаза ее были уже сухи.

— Знаешь, моя госпожа, — они говорили по-гречески, греческий был их обиходным, домашним языком, толпившиеся внизу служиторы их не понимали. — Я, быть может, впервой почувствовал себя уверенно.

— Что ж, тебе видней. Ты ведешь нас как поводырь, ибо мы слепы. Мы покорно идем за тобою.

Он отпустил людей. После всех тревожений последних дней, после их огромного трагического напряжения, не оставлявшего его даже здесь, у домашнего очага, среди семейства, ему захотелось полного покоя — усталость гнула его к земле, он еле передвигал ноги. Ему захотелось спать, спать, спать. Здесь он мог выспаться

впервые за много дней, здесь он был под полной и надежной охраной одну долгую ночь.

Веки его смыкались. И ничего не надо было объяснять. Одну долгую ночь: войско царя заперло долину Бахлуя, и ни татары, ни турки не нагрянут сюда этой ночью.

— Спать, спать, спать...

Господарь проснулся освеженный, легкий и сильный. Казалось, тяжкий груз, давивший и гнувший, свалился наконец с плеч; казалось, ему не тридцать восемь, а восемнадцать, и нету забот и обязанностей, а есть свобода и радость. Радость!

Но забот и обязанностей было ох как много. Пока что он все еще господарь земли Молдавской, а не князь Димитрий Константинович Кантемир, подданный царя Петра. Он все еще был — пусть формально — подданным и рабом султана.

Было затянутое облаками хмурое утро. Время от времени небо проливалось дождем. Он попросил вызвать вел-хатмана Иона Некулче — человека мудрого и надежного. Он доложит обстановку в городе и вокруг, все ли подготовлено к отъезду, достаточно ли экипажей и повозок, можно ли скрытно выбраться из Ясс, не лучше ли сделать это под покровом ночи.

— Что слышно, Ионе?

— Управились, господарь великий, — отвечал Некулче, употребляя обычную, но несколько усеченную формулу обращения к господарю.

— Кто с нами?

— Двадцать четыре высоких бояра собрались в дорогу.

— Назови.

— Постелник Савин Змунчилэ, маре-комис Павел Ругинэ, вел-пахарник Георгицэ, вел-ушерул Георге Аристархул, садар Могильдя, ворник деспре доамна Ион Абаза, ага Димитриу, житничер Моцок, камарашул Антиох, меделничер Костаке Пыркэлаб, вел-столник Санду

Стурдза, столник Митикэ, вистиар Стефан Лука, постелник Ноур Черул, баш-булюбаш Дима...

Велик придворный штат даже у правителя вассального княжества: он как бы зеркало былого величия. И несколько видоизмененная копия штата российских государей. Но ему, Кантемиру, в его новой жизни он будет без надобности. Слышно, и царь Петр отказался от громоздкого придворного штата, поступился вековой традицией, упростив всю придворную процедуру и прежние дворские церемонии.

— Его царскому величеству список бояр был подан, и он скрепил его своей высокой подписью, — продолжал Некулче, — положив каждому на дорожные издержки две тысячи рублей.

— Великие деньги, щедрая дача, — констатировал Кантемир. — Что еще?

— Прибыл от великого визиря капитан Банарул с повелением к боярам отправить в ставку депутацию с повинной.

— Награди его да поверни обратно. Пусть доложит визирю, что бояре-де в испуге разбежались кто куда.

— Еще купцы турецкие заперты в холодной.

— Отпустить, не чиня никакого насилия.

— Все, государь великий, — заключил Некулче.

— С Богом! Какой сегодня день?

— Понедельник.

— Да будет он счастливым для всех нас!

Они все-таки тронулись ночью. Нескончаемый обоз растянулся едва ли не на версту: к господарю примкнули тысячи его подданных, опасавшихся мести турок и желавших начать новую жизнь среди единоверцев. Кантемир им не препятствовал: вольному воля... Их сопровождал надежный эскорт: две сотни драгун да еще конные волонтеры и казаки молдавского ополчения.

Последнее прости городу, бывшему недолгое время его столицей. Монастыри-крепости Четацуя, Голия, Фрумоаса... Царь Петр был недаром восхищен искусством молдавских зодчих и строителей.

Казалось, все купола повернулись к нему и поклонились, посылая прощальный привет. И он, обратясь к ним, трижды истово перекрестился. Город его отчий и дедичей уходил навсегда из его жизни. Ни ему, ни детям его, ни внукам не придется больше увидеть эти берега...

Надо было торопиться. Переехали через прихотливую Жижию — старшую сестру Бахлуя, нахлестывали лошадей, не давали роздыха и себе. И нагнали арьергард русской армии уже в Загаранче.

Царь обрадовался Кантемиру. Безо всяких церемоний обнял его, приподнял легко, ровно мальчика, и так, на весу, поцеловал в глаза. Они были почти ровесники — Петр был старше на год.

— Все успел? — спросил он.

— Все, государь.

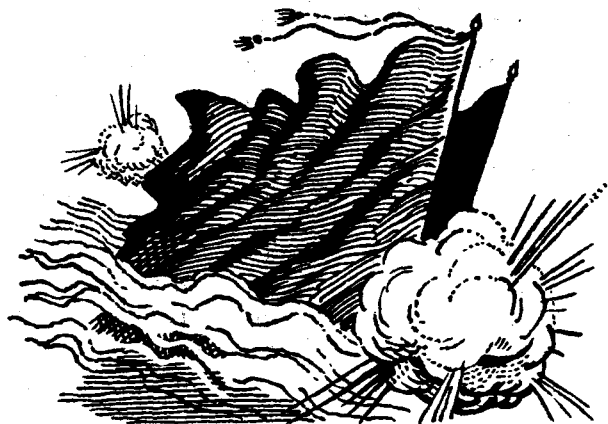
— И княгинюшка с детками с тобою?

Кантемир кивнул.

— Чего ж не представил? Веди сюда ее и деток.

Петр и госпожу Кассандру поднял, как давеча ее супруга, и точно так же, к великому ее смущению, поцеловал в глаза.

— Пущай переведут: крайней визирь не хотел подписывать без выдачи Кантемира. Так я ему за него три крепости отдал: Азов, Таганрог и Каменной Затон. Дорого мне твой супруг обошелся, княгинюшка. Да я о том нимало не жалею: человек он зело дорогой. Драгоценный человек.



Глава восемнадцатая
ПАС НА ИМЯ ПЕТРА МИХАЙЛОВА

И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся.

Книга пророка Исаии

Голоса: год 1711-й, июль—август

Петр—Шафирову

Лучше оставлю землю туркам до Курска, уступив оную; надежда мне остается паки ее возвратить; но нарушение данного слова не возвратно. Я не могу оного преступить и предать князя (Кантемира), оставившего свое владение из любви ко мне. Мы ничего не имеем собственного, кроме чести; отступить от нея, есть перестать быть Государем.

Головкин—Шафирову

Мой государь Петр Павлович... Реку Пруд будем переправлятца... И перешед ту реку, пойдем из сей земли х Киеву, а путь наш на Мёгилев, Немиров и Белую Церковь. И его величество изволит итти х Киеву при армии и изволит поджидать отпуску короля швецкого. А в том можете турок подлинно уверить, что никакого войска в Полшу введено не будет... При сем присылаю к вашей милости соболей одиннадцать сороков ценою на 5050 рублей... А к Москве с секретарем Степановым писано, чтоб тамо приготовили мехов черных лисьих и собольих добрых на 15000 рублей...

Петр—сестре Наталье

По получении сего письма изволь збиратца по первому пути ехать в Питербурх и з детьми. А дщерь мою, светлейшую княгиню, ныне немедленно отправь в Ригу, чтоб она прежде нас туды поспела и нас встретила.

Петр—Дм. Голицыну

Получили мы ведомость, что будто в Чернигове явилось моровое поветрие (чума), о чем уведомите нас чрез сего посланного немедленно, что правда ли то или пролгалось... Также уведомте нас, и в Киеве нет ли такой болезни...

Петр—сыну Алексею

Лошади и мартышки до нас в целости доведены, и за подарок благодарствую. Каким образом сия кампания и мир с турками учинен, о том реляцию посылаю к тебе при сем. Мы отъезжаем, управля войско, в Ярославль, а оттоль, чаю (если время допустит), в Карлсбад. И ежели так состоятца, то в Немецкой земле твою свадьбу совершим...

Петр — Шафирову

*Об отпуске короля шведского трудись куды б
нибудь, только сколько возможно, отговаривай,
чтоб не чрез Царьгород, ибо в том, мню, быть не
добру... О чем можешь ясно объявить, что ежели
турки его не отпустят, то и отдача Азова удер-
жана будет; о чем я писал к адмиралу... И для то-
го как войсками, так и не отдачей Азова их воз-
можно пристращать, что его скоряя отпустили и
не чрез Царьгород...*

Божией милостью мы, Петр Первый, царь и самодержец всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем чрез сие всем, кому о том ведать надлежит. Понеже дворянин наш урожденной Петр Михайлов отпущен в европейские государства и земли для своих потреб на время, того ради всех высоких областей дружелюбно просим и каждого по состоянию чина и достоинства, кто сим пасом употреблен быти имеет, благоволительно желаем, дабы помянутого дворянина нашего как туда едущего, так и назад возвращающегося, чрез которых места ему путь надлежати будет со обретающимися при нем людьми и вещми, везде свободно и без задержания пропускать повелили...

Во свидетельство того... дан ему сей пас за нашу печатью в обозе при Днестре августа — дня...

Огромное потное облако стелилось по земле. Оно медленно ползло на северо-восток, вздымая дорожную пыль и тучи полевых насекомых, пугая зверей и птиц, разбегавшихся и разлетавшихся при его приближении.

Облако было пешим и конным войском. Конное, уменьшившееся и истощенное, тащилось едва ли не со скоростью пешего. Царь с гвардейскими полками поспешал в голове облака, то отдаляясь от основной массы войск, то замедляя ход.

Армия переправилась через Прут, прошла спорную землю в междуречье Прута и Днестра и теперь приближалась к Могилеву. Турки, сопровождавшие войско, давно повернули вспять, татары более не осмеливались наскакивать, не раз получивши по рогам.

Возвращение было безрадостное, но и беспечальное. Кони уцелели в походе, благодарили Бога за милость — сызнова прибиться к родным берегам. Царь, приказавший при предмирной конфузии пожечь свою карету, теперь об этом жалел. Он часто удалялся в карету царицы — там ему покойно спалось, особенно днем. Хотелось выспаться за все время беспокойства — оно было долгим.

Петр возвратился к своим обычным занятиям. Писал письма, читал письма, увлекся шаховой игрой — с Феофаном, Кантемиром, реже с Головкиным: слаб был канцлер. Более всего жалел об утрате токарного станка: за точением дерева славно думалось, радовались глаза и отдыхала душа.

Странное дело: более всего отчего-то царь опасался козней короля Карла — козней непредвидимых, а потому и казавшихся опасными. Шведский король занимал в его мыслях и разговорах непомерно много места.

«Господин подканцлер, — писал Петр Шафирову, — письмо ваше получа, ответствуем, что посылка чрез Полшу короля швецкого не весьма безопасна, чего для, ежели так состоитца, то мы за благо разсудили нашему войску при Полонном содержатьца для страху поляков и быть до тех пор там, пока король швецкой пройдет смирно до Померании. А ежели пойдет в Царьгород подлинно, то дайте знать писмом своим фельтмаршалу и по том или по другому окончанию прохода оной тотчас пойдет в Киев. Також на время бытия у Полонного и другая есть две нужды: первое, чтоб людям от такова труднова маршу отдохнуть; другое, что в Чернигове подлинно явился пест...»

Пест, либо моровое поветрие, либо моровая язва, означал, как правило, чуму. Она наводила на людей

большой страх, нежели татары. Стало быть, Чернигов придется обойти стороной — изнеможенной предшествующими перипетиями армии это в тягость.

Король шведский был для царя ровно тот пест. Тем паче что известия об его движениях были весьма смутны. Главным источником были донесения Шафирова и младшего Шереметева, находившихся в что ни на есть самой турецкой гуще. Они писали наперебой, дабы удовлетворить старого фельдмаршала. Письма были адресованы в основном канцлеру Головкину, ибо он был главою Посольского приказа.

«Сиятельный и высокородный граф, — писали Шафиров и Шереметев, — превосходительный господин канцлер... чтоб мы в том не имели сумнения, чтоб они, турки, какое намерение к нарушению мира или к начатую какой ссоры имели, ибо как крайней везирь, так все вкуче везири и паши мир содержать склонны. И хотели о том о всем донести везирю, учинить мне о том подлинную резолюцию. Мы их спрашивали, что ежели король швецкой тем доволен не будет и с таким канвоем ехать не похочет, что они намерены с ним учинить? Они сказали, что везирь конечно положил так, что взять его и отвезти с собою в Цареград и оттуды до его морем спроводить...»

Царь был огорчен: все-таки в Царьград! Король там непременно напакостит! Неужто многоопытному и ловкому Шафирову не удастся каким-нибудь образом это отвратить?

Но Шафиров как ни старался, ничего отвратить не мог. Это с непреложностью явствовало из его донесений.

В обозе был князь Димитрий Кантемир — лучшего советника по турецким делам трудно было сыскать. Он был призван, и Петр стал допытываться:

— Может ли король Карл, будучи в Царьграде, заворот нашим делам содейть?

— Сколько я знаю нравы дивана и султанского дворца, короля примут с вежливыми почестями, однако

при этом соблюдут свой интерес, — отвечал Кантемир. И, уловив беспокойство царя, продолжавшего опасаться Карловых интрижек, прибавил: — Султан и визирь постараются поскорей выпроводить короля — он для них источник трат и беспокойства. А ни того ни другого они терпеть не могут.

— В самом деле, — подхватил Головкин, — взять-то им с него нечего, а союзник из него хреновый.

Однако Петр так и не успокоился, зная беспокойный и напористый характер шведского короля. Однако тема эта на время была отставлена.

Тем временем, пользуясь явным расположением Петра и не желая отлагать решение своих нужд в долгий ящик, тем более что стало известно об отбытии царя от армии, Кантемир подал Петру пространное прошение. Оно было основано на предварительных обещаниях царя и состояло из семи пунктов. «Дабы ему, государю, боярам и прочим офицерам определить место, где жить, и дать ему, государю, в Москве двор с каменными полаты, другой загородной и на пропитание дать бы вотчины в добрых местах; и где его пребывание будет, чтоб был гарнизон российской...» Говорилось в прошении и об издержках, которые претерпел государь в походе, и о том, чтобы служиторы его и крепостные были уволены от всяких податей, и о посылке сыновей его в знатные города и иные христианские страны для обучения языкам и наукам... «Быть бы ему, князю, в милости царского величества и титул светлейшего князя он и наследники его да содержат. И естли впредь Волоское княжество будет под державою его царского величества, чтоб кроме его самого и наследника его, иной никто не был допущен».

Позаботился бывший государь, а ныне просто князь, и о тех, кто последовал за ним в добровольное изгнание. «Чтоб народу волоскому, которой ныне за веру христианскую принуждены оставить отечество и едут в государство Российское, которых числом муже-

ска и женска полу болши 4000 душ, определить на житье ис каких слобод или маестностей».

Широко размахнулся Кантемир! Особенно много благ истребовал для себя и колена своего. Но царь его и не подумал укоротить. А пока в резолюциях своих удовлетворял так: «Дом и деревни ныне в Харькове даютца, а к тому будут приисканы более». Ибо заглазно Петр не мог определить, сколь можно по прошению устроить.

— Дам указ Сенату, дабы все разрешил ко всякому удовольствованию, — заключил он. — Ни ты, князь, ни бояры твои, ни холопы обижены не будут, а детки тем паче.

И царь погладил Кантемира по голове, как гладят послушное дитя, как гладил он свою любимицу дочку Лизавет, Лизхен, Лизочек, которую повелел послать встречу ему в Ригу.

Петр был благодушен. Было отчего: пришло известие из Царьграда: шесть дней кряду из всех оружейных мест и крепостей в городе, за городом и близ него трижды из пушек палили. И между турок великое веселие царило — так праздновали мир. Первый султанов стольник отправился к визирю со знатными подарками от султана. Да и самого султана поминают на всех перекрестках яко г а з и — победителя.

— Ладно, пушай будет победитель, — бурчал царь. — Ныне не попустил Господь. Однако ж придет и наш день. Главное же содеяно: руки у меня развязаны. Отныне теми свободными руками главные узлы развяжем, а они все ж таки в северной стороне.

Когда наконец удалось преклонить голову после тревожных и небывало тяжелых дней, сон сваливал его замертво и он спал как убитый, без сновидений. Но вот отошел и, вступивши в польскую Подолию, царь стал видеть сны. Сначала то были какие-то клочковатые видения. Смысла в них не было, да он и не доискивался.

А тут явился ему во сне не кто-нибудь, а родной батюшка, царь Алексей Михайлович. Гладит он его по голове словно отрока, гладит и приговаривает: «Ходи с умом да имей опасение, в опасении спасение, спасение же Спас угодно, — так все складно выговаривал. — Ты гляди на меня, гляди, я ведь жил без оплошки, надо мною был один Господь да патриарх Никон. И того я укоротил, ибо стал чрезмерен...» И весь светел батюшка ликом, ровно угодник Божий. Ведет он его куда-то и ласково приговаривает: «Иди, дитенок, предстань пред владычные очи». И вдруг прынул в небо — и нет его. Кликал Петр, кликал: «Батюшка царь, где ты, где?» А отзывается нету. Тут и проснулся.

Царице первой поведал сон — она под боком была и от крика повелителя своего тотчас всполошилась.

— Батюшка царь Алексей, вестимо, за сыночка своего желанного опасение имеет, — не задумываясь, растолковала Екатерина. И был так прост и ясен ее ответ, что показался он правым.

— Нет, Катеринушка, — отвечал он после недолгого размышления, — смыслу тут более того, о чем ты скажешь.

— Ну так попроси Феофана. — И Екатерина, пожав своими роскошными плечами, снова улеглась. — Он есть главный толковник царских снов. А я всего-то баба несмышленная.

За тяжкий этот поход они сильно срослись друг с другом, и, когда оставались вдвоем, и не только в любовных играх, Екатерина кликала его Петрушей, забыв о недавнем своем трепете. Она уже освоилась и вошла в образ царицы, правда несколько простодушной. Но простодушные это красило ее — и в глазах придворных, и в глазах самого Петра. Ему хотелось хоть малой порции домашности, уютной интимности, хотелось, чтобы хоть один человек в целом мире кликал его Петрушей, как некогда матушка Наталья Кирилловна.

Иноземцам Екатерина нравилась, они одобряли выбор царя, не задумываясь о ее происхождении. До то-

го, как им услужливо открывали истину, они нимало не сомневались в ее высоком происхождении. А узнав, не переменили отношения.

— Феофан растолкует, — ухмыльнулся Петр и, прикоснувшись губами к теплому плечу царицы, вышел в исподнем на крыльцо.

Они поместились в доме коменданта крепости Каменец гетмана Самборского. Каменец, крепость и посад почтенной древности, стоял на рубеже Подолья ровно страж, а потому на него зарились и турки, и русские. Владели же им поляки.

Каменец был крепостью первоклассной, как положено порубежному стражу. Царю сильно хотелось иметь во владении такой вот Каменец, каменный Каменец, но он был весь польский, католический, в костелах, менее в мечетях и совсем мало в православных церквях.

Петр с министрами, ведомый любознательностью, обошел его весь, печалуясь, что негде во благолепии отстоять службу, что не его это город-крепость, а должен бы, должен... Коли встал среди славянской земли да славянского же племени, со славянской речью и христианской верою.

Толкователь же Феофан, спрошенный насчет сна, нимало не затруднился и был скор на ответ:

— Тут все просто, государь милостивый. Опасение надобно иметь во всяком деле, особливо в воинском. И сон сей означает предостережение. Царю должно блюсти осмотрительность, ибо неверный шаг ведет к искривлению пути, а то и к поражению, чего государю терпеть не можно...

— Ну, пошел молоть, златоустый, — шутиливо оборвал его Петр. — Сие мне и без твоих толкований ведомо. А ты мне сокрытый смысл открой.

— Что сокрытый, что открытый — все едино: не суйся в воду, не зная броду. Не ходи в неприятельскую землю, не соразмерив силы и не взяв всяческой предосторожности.

— Э, песни твои прежде петы, — отмахнулся Петр. — Брат Карл в науке выучил под Полтавой. Да я тот урок не затвердил, вот и попался.

Феофан продолжал феофанить, то есть философствовать. Царь же казнился еще тогда, когда шел из Ясс берегом Прута и признавал себя покинутым всеми союзниками. Он сказал об этом Феофану, и живое его лицо, совсем не монашеское, а многоизменчивое, сложилось в сочувственную гримасу.

— Не попустил Господь, — со вздохом сказал он, как говорил много раз.

В тот же день Феофан отправлял службу в походной церкви для многих. Были там генералы, офицеры, министры во главе с канцлером, который не оставил сокрушений по потере двух возов с бумагами важного свойства Посольской канцелярии.

Феофан расточал врата красноречия, помня, что ахиллесовой пятой царя был король Карл.

— Зверь из моря есть король шведской, имеяй глав седьм главнейших генералов, который пройдя Польшу, Литву разорил дома Божии и обнажил, и дерзнул окаянный выйти в державу государеву. Лев, король шведской, рыскаше по вселенной, гордящийся о силе своей и о победах и торжествах над многими государствами... И хвалящийся со скимны своими, то есть с министрами и воинством, Россию нашу восхоти и поглотити, но воссиявши солнцу побеже лев, король шведской, не потрафив в ложе свое, но в турецкое...

Слушали его распялив рты, удивляясь либо позевывая, кто как. А он, севши на конька своего, прищпоривал и прищпоривал его.

— Пресветлый наш монархо! Ты есть истинное правило веры и образ. Ты еси воистину Петр непреодоленный, камень веры крепкий. Всяк, падый на сем камени, сотрется... Един только истинный подражатель Христов и пречистой девы Марии есть благочестивый государь наш, царь и великий князь Петр Алексеевич всея России; в нем точию едином сия мудрствуются,

яже и во Христе Иисусе и пречистой матери его... И Бог его превознесе, и дарова ему имя Петр, еже есть паче всякого имени...

Славил царя всяко, думая, что проливает елей на его израненную душу. Но Петр елеем этим уже не умащался. Да и лести не любил. Говаривал: неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит человечество.

Но церковная проповедь... Это как бы Богом освящено, и грех на то ополчаться и посягать.

— Многоглаголив еси, — в тон Феофану пропел царь, когда сошлись они после службы. — И сокровищницу ума своего яко ритор семинарский расточаши прещедро.

Улыбнулись оба. Улыбнулись и те, кто отстоял службу в церкви. Господа начальники, а их много было, сведались о планах царя.

Здесь, в Каменце, пути их расходились: главное войско под предводительством фельдмаршала, графа и кавалера Бориса Петровича Шереметева продолжало путь в российские пределы. Его царское величество желал изящно препровождать время с братом Августом, презрядным изменщиком, где-нибудь в Варшаве либо в саксонской столице Дрездене. Петр был полон желания выговорить Августу за его неверность, за бездействие и пустозвонство.

Планы были разнообразные, секрета из них не делал. Писал Шафирову доверительно:

«Мы дня 4-го отъезжаем по почте в Ярославль и оттоль водою до Торгау, а оттоль, ежели улучу время, в Карлсбад, в чем великую нужду для своей болезни имею. Ежели же упоздаю, то уже на весну туда поеду, а ныне чрез Элбинг в Ригу. Людей с нами подлинно больше 900 человек не будет, ежели турки станут спрашивать, и те в Полше не останутца. И для того пиши обо всем к фельтмаршалу о тамошних делах, и к нам писма чрез него посылай в Полонное...»

Во дни испытаний натура, будучи в сильнейшем напряжении, не пускала болезнь наружу. Ныне же недуг снова стал оказывать себя. На воды Карлсбада была сильная надежда, доктора ее укрепляли. Еще была неотложная нужда быть в саксонском Торгау для свидания с сыном Алексеем и родителями его невесты высокохудородными герцогами Вольфенбюттельскими. Там имеет быть церемония бракосочетания царевича, и он, царь и отец жениха, обязан почтить сию церемонию своим присутствием.

Женить, поскорей женить! Может, и умудрит Алексея женитьба. Может, станет наконец мужем, мужем во всех смыслах. Сын отпадал от сердца, и не отцова в том была вина: чужое семя, лопухинское возобладало, взяло верх над нарышкинским. И Алексей чуждался всего, что было любо ему, Петру, шел по иной, своей дорожке, которая лежала вдалеке от дел Петрова царствования.

Екатерина заняла место сына. И девочки, его дочери, в особенности Лизанька — вся его, Петрова. Токи были взаимны: Лизанька, вся светясь, кидалась к нему в редкие часы свиданий и повисала у него на шее, как на корабельной мачте. И он, умиленный, растроганный, целовал ее в нос, в лоб и в шейку, пахнувшую молоком. Она была резвушка, любила встревать в мальчишечьи игры, любила без робости всякое оружие и желала скакать на коне. Петр приказал добыть ей пони — маленькую шотландскую лошадку.

Ныне Катеринушка снова понесла — зачала в походе, и нужно быть сыну, наследнику. Скоро придется отправлять ее в покойное место — скорей всего, в Преображенское, пусть рождает там. Сестрица Натальюшка сбережет братнино семя, особенно ежели то будет наследник. Глядишь, и станет со временем продолжать его, Петрово, дело.

Царица носила и рожала легко, даже радостно. Она тотчас прониклась важностью детородства для государя и государства. Она во всем была легкий человек, и это

радовало Петра. Сейчас царь был озабочен: ехать ли ей с ним, будучи в тягости, либо отправиться с войском на покой.

— Ты, Катеринушка, вельми много перенесла, а я сему потворствовал. Пожалуй с войском на Москву — я спокоен буду.

— А ведь хотел, государь-батюшка, из армии меня отправить — ан не далась я. Теперь иное дело.

— Хотел, верно, да ведь великие не женские лишения претерпеть пришлось. А ныне надобно тебе поскорей к надежной пристани прибиться.

— Рано, государь, мне еще носить и носить, — перебила его с бесцеремонностью беременной Екатерина. — Я еще не созрела, еще долго легка буду. А к дороге — ваша царская милость сведома — привычна. Нынешняя-то дорога не прошлая — легкой будет.

— Верно, матушка, правду говоришь, — Петр легко согласился: царица стала ему необходима. Она стала его истинной половиной. С нею он не опасался пуститься в любую передрыгу: знал — она перенесет ее по-мужски, не жалуясь и не прося снисхождения, будет скакать за ним верхами, в непогоду, куда угодно. Да и как женщина она стала незаменимой: ему все еще нужны были дачи мужскому естеству.

Была большая пауза. Петр тогда забыл про все, испытывая сверхъестественное напряжение. Было не до объятий, его постель была одинокой. Тогда ему казалось, что вся армия возлегла на его плечах, и он был в ответе за каждый промах и каждый ее шаг.

Когда пошли в отвод, он все еще опоминался. А вот в Могилеве все вернулось, и было как в первые дни похода: жарко, неотрывно, протяженно. Оттуда-то все и возобновилось...

— В самом деле: как же я без тебя, Катеринушка? — согласился Петр, обнимая царицу. — Кто станет чулки мне штопать, рубахи чинить да стирать? И вообще...

Оба тотчас поняли, что означает это «вообще», и, обрадовавшись, согласно улыбнулись.

— Ваше царское величество, фельдмаршал граф Шереметев просятся, — доложил денщик. — Впустить?

— Вестимо, пусти, — кивнул Петр.

Нынешний поход сильно состарил Бориса Петровича. Морщины стали глубже, резче, глаза потускнели, подбородок грустно обвис. Последней каплей в чашу выпавших на его долю испытаний стала разлука с сыном. «Уж не чаю узреть более моего Мишу», — жаловался он. Петр, как мог, его утешал. Но оба понимали: то было прощание не только с сыном, но с военной карьерой: старый фельдмаршал одряхлел.

Пока же он старался держаться. Еще в Могилеве меж них зашел разговор об иноземцах в войске. Царь полагал дать им всем абшид за ненадобностью, а отличившихся наградить. Однако денег на выплату жалованья и наградных не было: Сенат собирал их без должного поспешания.

— Объявишь на растахе, когда я отъеду: более нет надобности. А расчет произведешь на Москве.

— Иных жаль, — уныло пробормотал Шереметев. — Алларта, Рена.

— Этих обнадежь. Их, буде возникнет нужда, призовем непременно. Своих надобно поболее выучить и в офицеры произвесть. Старайся, Борис Петрович. Ты у нас учитель знатный. На выучку денег не жалеть.

Казна, увы, была пуста: война питалась деньгами, а увеселялась кровью — по слову святителя Димитрия Ростовского. Сенат не оправдывал надежд царя — о деньгах радел слабо.

Петр был крут в своих намерениях. «Монастырские с деревень доходы употреблять надлежит на богоугодные дела и в пользу государства, а не для тунеядцев, — предписал он. — Старцу потребны пропитание и одежда, а архиерею довольное содержание, дабы его сану было пристойно. Наши монахи зажирили. Врата в небеси — вера, пост и молитва. Я очищу им путь к раю хлебом и водою, а не стерлядьми и вином. Да не даст пастырь Богу ответа, что худо за заблудшими овцами смотрел».

Оборонителем монастырей стал местоблюститель патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский. Прежде Петр ему благоволил, надеясь при его посредстве облегчить церковную реформу и укрепить связь церкви с государством. Стефан надежд не оправдал: он был смиренный богомолец, молещик, а не воитель. Эх, ежели бы на его месте был Феофан! Он мыслит сходно, весьма здраво и трезво, он укреплял Петра в мысли поприжать монашествующих.

— Господь надоумил упразднить патриаршество, — Феофан был тверд в этой мысли. — Ибо всякая власть от Бога, она едина и неделима — что духовная, что светская. На духовное правление есть архиереи, но и над ними — власть монарха. Власть и воля его закон для всех в государстве.

Царь все более привязывался к Феофану и прислушивался к его советам. Знал, однако, что не любила его церковная братия за вольнодумство, за суждения смелые и независимые. Было известно многим, что даже папа Климент XI обратил внимание на редкостно здравомысленного и красноречивого выученика знаменитого иезуитского коллегиума святого Афанасия в Риме. Царю была в общих чертах известна бурная жизнь Феофана, то обращавшегося в католицизм, то снова принимавшего православие в пору своих смелых пешеходных странствований по Европе. В конце концов он остановился в Киеве, где стал преподавателем богословия, питтики, риторики и философии в Киево-Могилянской духовной академии.

Сходны они были во многом — царь и Феофан. И смелостью, и решительностью суждений, и способностью низвергать устоявшиеся авторитеты. Петру нужны были единомышленники, как можно более единомышленников, одобрявших и утверждавших его в подчас крайних суждениях, которые пугали его министров и господ сенаторов. С Феофаном же они всегда и во всем сходились.

— Быть тебе, Феофане, отцом-ректором Киевской академии и игуменом Братского монастыря, — заключил Петр, прощаясь с Феофаном, отпросившимся в свой любезный «Киево». — Своей властью тебя поставляю, угоден ты мне.

Настала пора расставаний, ибо множество народу прибилося к царю в походе. В Каменце пути расходились.

Всего только пять месяцев длился Прутский поход. Сколько же всего вместил он! Сколько было пережито, прочувствовано, выстрадано.

— Чудеса, да и только, Катинька, — дивился Петр, когда они выехали наконец из стен Каменца. — Истинно чудеса: сколь протяжны были сии пять месяцев, сколь рознились они друг от друга, сколь были трудны, длинные и долги. Дивился, дивлюсь и буду дивиться!

— И я с тобою, государь мой и повелитель, — языком неверным отозвалась Екатерина — укачало ее в карете, несмотря на то что была она к ней привычна. Видно, оттого, что понесла. — Много с нами разного было. Но более всего доброго: вошла я в тебя вся, со всем своим естеством, и ты, государь мой великий, рабу свою не отторг и был с нею великодушен.

— Можно ль было иначе, Катеринушка. Сроднил нас сей несчастливый поход, стал для нас с тобою счастливым. Едина мы теперь плоть, — и он обнял и прижал к себе царицу.

Начинался новый этап их совместного странствования, которое так необыкновенно срастило их.

Война осталась за спиной и все отдалялась и отдалялась. Но в сердце... В сердце остался незаживающий рубец. Он неустанно вопрошал себя: мог ли он, царь Петр Алексеевич, великий князь и многая прочая, избежать столь непрезентабельного исхода? Нет, не мог, отвечал он себе, ибо султан турецкий развязал войну. Эта война была противна его, Петра, планам и замыслам, она на него как с неба свалилась. А потому он, царь и самодержец, не был к ней готов ни мыслью, ни духом,

ни телом. Никак! А всерьез изготавиться не было времени. Он многожды наказывал послу в Царьграде Петру Андреевичу Толстому, дабы тот елико возможно отвратить старался воинственный пыл турок — отвратить не только речами и декларациями, но и золотом, мехами и иными подношениями подкупая сильных министров Порты. Сколь ни был умен и ловок граф Петр Андреевич, сколь ни потратился на подкупы, все кануло понапрасну.

Не можно было отвратить эту войну, и худые предчувствия и сны посещали его не раз. За войною этой стояли короли: шведский, французский, английский и иные. Они из-под руки ласкали султана и подталкивали его. А все наделала Полтава, все она. Короли европейские стали опасаться непомерного усиления России.

«Сей мир с турком прочности не имеет,— размышлял Петр.— Надобно его всемерно укрепить. Пока. Расчет наш с султаном еще впереди. Далеко впереди. Не ведаю — удастся ли мне излечить прутскую рану».

Пока же — великая надежда на Шафирову с Толстым, на их ловкость да искусность. В одной упряжке они многое своротят. Когда имели рассуждение о том, кто ловчей да надежней всего вывезет переговоры о мире, Шафиров ли, Остерман либо сам Шереметев, Петр сказал канцлеру: «По мне, будь крещен либо обрезан едино, лишь будь добрый человек и знай дело».

Головкин тогда согласился: да, Шафиров к тому пригоден лучше иных прочих, переговорщик он изрядный, хоть и из обрезанцев.

Дурные предчувствия Петра не обманули. Выходит, предчувствиями нельзя пренебрегать? Выходит, так. Проигрыш был обидный. Обидней же всего было то, что король Карл мог позлорадствовать.

Надобно перетерпеть. Со стесненным сердцем написал адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину: «Хотя я б николи не хотел к вам писать о такой материи, о которой ныне принужден есмь, однако понеже так воля Божия благоволила и грехи христианские не допусти-

ли... положено все города у турков взятые им отдать, а новопостроенные разорить: и тако тот смертный пир сим кончился. Сие дело есть хотя и не без печали, что лишиться тех мест, где столько труда и убытков положено, однакож чаю сим лишением другой стороне великое укрепление, которая несравнительною прибылью нам есть».

Апраксин тотчас откликнулся: «...Указ вашего величества... принял. Не знали, что делать, рассуждали, что оной послан в жестокой тесноте... на которое вашего величества изволение доношу: что по тому указу в краткое время исполнить невозможно, хотя б было при нас 20 000 человек и 1000 будар. Одних пушек, кроме карабельных, в обеих крепостях и по гавану без мала тысяча, а и карабельных есть число немалое. Также и припасов карабельных многое число, и правянту от предбудущего генваря с лишком на год...»

Исполнить невозможно... Уж коли такой ревностный служака, как Федор Матвеевич, отписывает так, стало быть, так оно и есть. Будем тянуть. Дождаться, покамест турок не вышлет восвояси главного шведа. Зацепка не из важных, однако иной, сколь-нибудь покрепче, нет.

Меж тем Шафиров уведомил царя, что турки зело негодуют: вступили-де в Польшу в противность заключенному трактату. Туркам противно, а полякам озлобительно. «Непрестанные острые и угрожающие слова и поступки турецкие,— писал Шафиров,— опасность от разорвания мира, приводят меня до самой, почитай, десперации, и будучи в таких руках; и ежели придет до того, что постражду от них, прошу милостиво призреть на бедных моих сирых оставшихся мать, жену и детей».

— Извернется Петр Павлыч,— с некоторым злорадством промолвил Головкин, прочитав жалостливое письмо.— Он зело изворотлив и себе на уме. И до разорвания мира не допустит, не извольте сумлеваться, ваше царское величество. Особливо памятуя, сколь сей мир дорог и нужен его государю.

Пожалуй, прав Головкин: извернется Петр Павлович и сделает все, чтобы мир сохранить. Тут и его интерес, кроме государственного: отпустит его султан в свое отечество.

А канцлер продолжал рассуждать:

— Турок все более пугает, ибо силы в нем прежней не осталось, всю израсходовал. А новую вряд ли станет собирать. Слышно, главный их духовник сильно противился войне. И ноне на том стоит.

Петр и сам понимал, что султан все больше пугает, однако за его спиной стояли все те же короли-науськиватели. Вот отчего надо торопить турок с отсылкою Карла — он, почитай, главный смутитель, и султан, надо полагать, одно ухо к нему клонит. Ох, великая тут нужна игра, искусная, тонкая, дабы выйти без урону.

А Шафиров заворачивал все круче: «Ежели наше обязательство не будет исполнено, то мы безвозвратно пропадем и мир разорвется, а надобно разсудить, что и после нашей гибели будет: турки уже теперь ободрились и так пеняют на везиря, что до бою не допустил, и могут они собрать войска вдвое пред нынешним; в на кого у нас надежда была, те не посмеют ворохнуться от страха, и теперь все злы на нас и клянут, где увидят, ибо многим гибель приключилась...»

— Пугают, шибко пугают нашего Петра Павлыча, — успокоительно бормотал канцлер. — Он же не из храброго десятка. Не вижу резону нам опасаться.

— Отписать ему: пусть-де турок взвесит выгоды свои. Азова, Таганрога, Каменного Затона и прочего не видать им. Прикажу приостановить разрушение и сдачу. Пушай держит оборону стойко.

Как всегда, с отдалением от потрясших событий острота их в памяти все притуплялась и притуплялась. И уж казалось, что турку чрезмерно много уступлено, что мало торговались, что поспешили...

Теперь нет нужды в поспешении. Осмотрительность прежде всего, каждый шаг надо выверить. Шафирова наставлять в твердости и той же осмотрительности.

Внушить ему: особа посла ограждается государями и законом во всем подлунном мире.

Петр — он ныне по пасу не царь вся Руси и многая прочая, а всего только путешествующий дворянин Петр Михайлов, — выглянул в окно кареты. Осень пока еще робко оказывала себя. Под колесами потрескивали сухие листья: чем дальше на север, тем лиственный ковер все гуще, все плотней и цветастей. Но лето все еще держалось, все не хотело уступать. Деревья не торопились ронять листву. А воздух был чист и прозрачен под небом все еще летней выпцветшей голубизны.

В полях трудился народ. Завидев кортеж, люди разгибались и, приложив ладони к глазам, долго глядели вслед. Для них это было редкое и занимательное зрелище в их бедной зрелищами жизни. Его потом долго будут обсуждать и разгадывать.

Петр неожиданно высунул руку из окна и помаhal крестьянам. Ждал: оживятся и помашут в ответ. Но они оставались недвижими, словно этот жест относился не к ним либо не мог относиться к ним. В самом деле, им, как видно, и в голову не могло прийти, что некий вельможа приветствовал их из окна кареты: то были два полярных яруса — самый нижний и самый верхний. Они никогда не соприкасались. И на этот раз не могли и не хотели соприкоснуться.

Петра стали занимать дорожные картины. Любопытство, свойственное ему с малых лет и на время затупившееся под грузом тяжких событий, пробудилось и искало пищи. Зоркость его обострилась, и теперь он видел то, что еще недавно мелькало мимо взора.

Редколесье сменилось лиственным лесом, и хруст сминаемой колесами листвы стал громким. Деревья то стеной обступали дорогу, то разбегались в стороны. Карета то въезжала в зеленый коридор, и тогда эскорт почти вплотную прижимался к ней, оберегая собой особу царя, то выныривала на простор из-под лесного полога. И тогда взору открывались стремительно летев-

шие к укрытию круторогие олени либо семейка улепывавших кабанов.

Петр думал о предстоящем свидании с Августом. Ныне король вызывал в нем неприязнь, которую приходилось подавлять из политических видов: союзник. Пустословец, клятвопреступник, он вовсе вышел из веры. Обращение «брат Август» осталось, а братства меж них уж не было. Все осталось позади, в том числе и бражничество, совместные любовные игры, воспоминание о которых еще недавно вызывало у него дрожь в коленках. Последние их игры оставили в нем ощущение чрезмерности и пустоты. Катеринушка отдавала ему себя полной мерою, и теперь прошлое вспоминалось вяло.

Он полагал быть холоду при свидании с Августом. Но думал и о том, что этот лукавец его непременно разморозит: в нем была некая магическая обольстительность, которая укладывала женщин и полонила мужчин. Петр всякий раз ей поддавался, а отдалившись, корил себя за малодушность.

Август в ответ на упреки, на пени, как всегда, станет оправдываться: оправдания у него всегда наготове. Он выкладывал их, глядя прямо в глаза: взор его при этом был прям, незамутнен и честен.

Однажды он сказал Петру, что все уроки государственности заимствовал у итальянского мыслителя Никколо Макиавелли.

— Это великий мудрец, оставивший незаменимые наставления нам, государям. Я им неизменно следую и призываю ваше величество воспользоваться его бесценными наставлениями.

Август взял с бюро изящную книжицу в красном сафьяне с золотым тиснением и прочитал:

— «Государь не должен бояться осуждения за те пороки, без которых невозможно сохранение за собою верховной власти... Прибегая в отдельных случаях к жестокостям, государи поступают милосерднее, нежели тогда, когда от избытка снисходительности допускают

развиваться беспорядкам, ведущим к грабежу и насилию, потому что беспорядки составляют бедствие целого общества, а казни поражают только отдельных лиц».

— Каково? — подняв глаза от книги, спросил Август. Петр согласился: да, справедливо, ибо государя нельзя мерить одной меркою с простыми гражданами. Сказано: «что дозволено Юпитеру, возбранено быку» — эта древняя мудрость справедлива для всех времен.

— Читаю далее: «Предусмотрительный государь не должен, следовательно, исполнять своих обещаний и обязательств... — В этот момент Петру показалось, что король многозначительно глянул на него, — если такое исполнение будет для него вредно и все мотивы, вынудившие его обещание, устранены. Конечно, если бы все люди были честны, подобный совет можно было бы счесть за безнравственный, но так как люди обыкновенно не отличаются честностью и подданные относительно государей не особенно заботятся о выполнении своих обещаний, то и государям относительно их не для чего быть особенно щепетильными».

— Вашему величеству следовало бы приказать перевести эту книгу на русский язык, — и Август снова многозначительно посмотрел на Петра.

— Мне было бы любопытно сие сочинение почитать, а перевести... Нету особой надобности. Нашим боярам сия наука токмо во вред. Станут бесчестить своего государя да и государство. Мне же сии уроки не без пользы.

Август читал с увлечением: он, как видно, усвоил все заповеди Макиавелли:

— «Презирают только тех государей, которые выказываются нерешительными, непоследовательными, малодушными и легкомысленными». «Все необходимые жестокости должны быть произведены зараз, для того чтобы они были перенесены с меньшим раздражением; благодеяния же должно делать мало-помалу, для того чтобы подданные имели больше времени для их благодарной оценки».

— Что скажете, государь? — Август с улыбкой поднял глаза от книги. — Я хотел бы вытвердить ее наизусть. И уж во всяком случае ни на шаг не отходить от ее наставлений.

— Скажу вот что: многое из сего само собою из опыта правления пришло в ум. А вообще-то государю должно руководствоваться не книгою, а собственной совестью и обстоятельствами в государстве. Ибо никакая книга не может предвосхитить оные обстоятельства.

Вот Август и последовал советам итальянца — не исполнил свои обещания и обязательства, притом с легким сердцем, как обычно. А он, Петр, шепетил и не может словом своим пренебречь. Ежели нет совести, то и государство заколышет, тут и рассуждать нечего.

Августа совестить бесполезно. Он, видно, и в самом деле вытвердил этого своего итальянца и во всем следует ему.

Между прочим, Шафиров раздобыл ему эту книгу на итальянском языке, изданную во Флоренции более ста лет назад, и некоторые главы из нее перевел. Но вытверживать ее наизусть — помилуй Бог! Государь должен жить своим умом и сообразоваться с нуждами своего правления...

Заночевали в Гусятине. Потом было местечко Золочев, где пребывал на постое батальон Преображенского полка, ожидавший царя.

Тронулись все вместе. И вот невдалеке от Жолквы, именина коронного гетмана Сенявского, навстречу царскому кортежу высыпала туча всадников. Слышался гул как при приближении немалого войска, копыта вздымали клубы пыли.

Преображенцы изготовились к бою. Царь с царицей и со всеми бывшими при нем вельможами были взяты в охранительное кольцо.

— Не поляки ли вознамерились совершить диверсию? — предположил бледный от волнения Головкин.

— Ежели то разбойники — отобьемся с легкостью, — успокаивал Петр. — А дворянин Петр Михайлов — кому он надобен? Турок нас не взял, шляхта поостережется. — И со смешком добавил: — Король Август уже вручит.

Пыль мало-помалу рассеялась. Засверкало золотое шитье, заколыхались плюмажи на шляпах — сытые всадники на сытых конях.

Преображенцы расступились без команды. То был королевич Константин и с ним польские вельможи: гетман Людвик Константин Потей, сенаторы и две амазонки, две блистательные дамы — пани Сенявская и пани Потеева со многую свитой.

Петр вышел из кареты, всадники спешили и преклонили головы. Лишь дамы продолжали горделиво восседать на своих вороных конях.

— Премного благодарен за встречу, — с усмешкой молвил Петр. — Дворянину Петру Михайлову столь пышная депутация не положена. Видно, некий слух наперед меня бежал и сверх меры наплел. Ну да ладно: сказывайте, где же его величество король?

— Его величество король-отец недомогает, — отвечал Константин, — и не отважился пуститься в дальнюю дорогу. Он полагает за счастье лицезреть ваше царское величество в Варшаве.

— А пока милости просим в Жолкву! — звонко выкрикнула со своей высоты гетманша Сенявская.

Петр подошел к смирно стоящей лошади, неожиданно обнял молодую женщину за талию и бережно спустил на землю.

— О, ваше величество, вы, как всегда, непредсказуемы и прекрасны, — защебетала пани Сенявская, успевшая разомкнуть руки, которыми невольно успела обвить шею Петра. — Отныне я стану похвалиться, что русский царь носил меня на руках.

— К вашим услугам, пани, — галантно отвечал царь. — Готов носить не токмо на руках. Ведь мы с вами добрые знакомые.

— О да! И между нами не может быть церемоний, — задорно сверкая глазами, проговорила пани Сенявская, последней фразой давая понять, что благосклонность ее простирается столь же далеко, сколь и прежде. — Я не в силах забыть расположения вашего величества, равно вашего милостивого внимания. Жолква, которую вы успели полюбить, ждет вас.

Да, Жолква была весьма памятна царю. Здешний замок с многочисленными службами, с живописными окрестностями не раз привечал Петра в прошлые годы. Здесь царь сходил с Меншиковым, Шереметевым и Григорием Долгоруковым, сюда пожаловало великое посольство конфедератов: краковский воевода князь Вишневецкий, мазовецкий воевода Хоментовский, литовский маршалок Волович, здесь бил царю челом гетман Мазепа, еще только замышлявший свою измену.

Жолква помнила многое и напоминала о многом. Однако нынешний прием превзошел все прежние. Хозяйева старались вовсю улестить высокого гостя, как видно, по наущению короля Августа, и вели себя неприужденней против прежнего.

Царь ныне явился не триумфатором — весть о битве на Пруте, о том, что царю пришлось стать просителем и принимать условия мира, застав на его алтаре крепости и города, докатилась сюда и многожды перемывалась. Жаждали подробностей. Надеялись кое-что услышать из уст самого царя.

Но женщины... Более всех усердствовала пани Сенявская — изящная, ласковая, острая, обольстительная. Екатерина к столу не вышла — сказала недужною. Зная, сколь много у нее прекрасных соперниц, она решила уступить им поле битвы и доставить своему повелителю удовольствие. И то сказать: царица была на седьмом месяце.

Застолье было, как всегда, великокняжеским. Лакеи не попевали с переменами блюд. Коронный великий гетман Адам Николай Сенявский, председательствовав-

ший за столом, то и дело возглашал тосты за здоровье и благополучие высокого гостя и его окружения.

Петр отвечал немногословно. Он понимал, что хозяйева ждут от него хотя бы краткого поминанья о горестных обстоятельствах на Пруте. И злорадно думал: «Хрен вам, не помяну, не обмолвлюсь!»

Великая неловкость охватывала его при воспоминании об одном-единственном дне там, на Пруте. О нем он не вспомнит, а лучше сказать, ни за что не захочет вспоминать. Он похоронит его в своей памяти, в самых ее глубинах. Тому дню — дню его малодушия — осталось не более трех свидетелей: Семен Пискорский, Петр Павлович Шафиров и Алексей Макаров. Все трое будут немые. Все трое — верные люди.

Лишь один из них знает об его завещательном письме Сенату, где он предлагал выбрать себе преемника из достойнейших, ежели уделом станет плен. Слава Богу, он изъял его и сжег на костре, когда визирь согласился на мир.

Другой — Шафиров — ополчился, когда царь потерял голову и в своих письменных пунктах соглашался на любые уступки, даже на отдачу Пскова, не говоря уже о Лифляндах, Курляндах и прочих землях, отвоеванных у шведа; словом, на все, «кроме шклафства». Страшный призрак этого «шклафства» грозно маячил перед царем: он бы не перенес столь великого позорища. Слава Богу, Шафирову удалось выторговать мир с малыми потерями, и все обошлось.

Никогда никому не обмолвится он о той страсти. Свидетельства — бумажные — утонут в пучине архивных бумаг. Туда им и дорога!

Меж тем колкая пани Сенявская взялась, видно, его во что бы то ни стало разговорить. Она понимала: то, на что не решатся мужчины, может сотворить она, хозяйка, обольстительная женщина.

— Не знаю, слышали ль вы, ваше царское величество, в тех краях, откуда возвращаетесь, заповедь пророка Мухаммеда: женщина — земля, которую мужчина

может вспахивать как ему вздумается. Ваша царственная супруга, как говорят, могла бы подтвердить это, будучи в тамошних обстоятельствах. Я предлагаю не возвращаться более к разговору о военных обстоятельствах, ибо он, как я вижу, вам неприятен.

— Естественно, — торопливо подтвердил Петр.

— Так вот, предлагаю поговорить о пахоте, о мужской пахоте, ибо тема эта близка нам всем.

Петр невольно усмехнулся. «Ну и бестия! — подумал он. — Эта резвая штучка заставляет поеживаться своего осторожного супруга. А рогов-то у него, рогов, ровно у оленей в его охотничьих угодьях!»

Петр намеренно не торопился с ответом. Он вспомнил, как предавался сладостным утехам с прекрасной пани Зофьей. Тогда он и в самом деле пахал как хотел — женщина вызывала его на эту пахоту, она требовала: глубже, глубже, глубже.

Что ж, он ответит ей: его царица — достойная избраница.

— Господь милостив: он дал мне супругу по нраву, характером истинную царицу. Я вознагражден за все прежнее, а грехи отпущены иерархами церкви. К тому же то были маловажные, притом сладкие грехи с достойными моего внимания особами.

Сенявская испытующе глянула на него. Она, эта язва, понимала его намек, но вовсе не собиралась прикусить язычок.

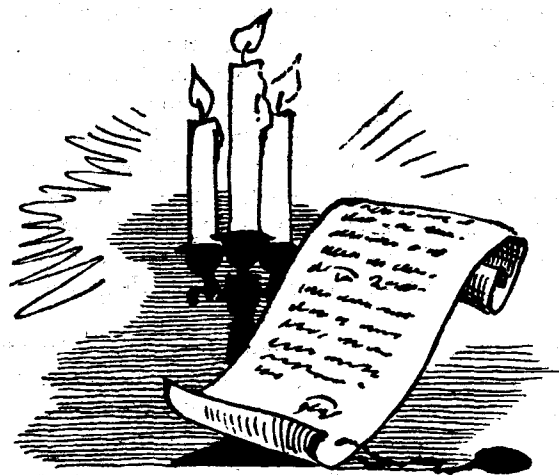
— Право, не знаю, что думать про обещания царствующих особ, — капризно произнесла она. — Шведский король Карл обещал устроить нашим дамам пышный бал в столице России, и как только мы собрались в дорогу, сбежал к туркам в Бендеры. Ваше царское величество обещали нам, что Константинополь будет у наших ног. И что же?! Чем все это кончилось?!

Истинно бесовка! Петр невольно залюбовался Сениявской: она, раздумываясь, ослепительная в своем вызове, дерзко глядела на него в ожидании ответа. Что ж, он ответит как должно.

— Ежели бы вы, сударыня, ясновельможная пани Сениявская, облачились в генеральский мундир, мы бы с вами бессомненно завоевали Царьград. Но у меня, к великому сожалению, были такие ненадежные союзники, как, например, его величество король Август, как ваш почтенный супруг да и слишком многие прочие. Потому и претерпел жестокую конфузию. И получил урок: сколь опасно полагаться на союзников. Особенно на тех, кои большею частью полагают вести битву не на ратном поле, а на поле любви. Они же на нем и сеют, и пахут, и жнут. А теперь, дамы и господа, позвольте откланяться: дорога зовет.

С этими словами царь вышел.

Впереди лежала дорога. Одна ли? Нет, великое множество дорог, звавших и манивших непрестанно.



Глава девятнадцатая СУДЬБЫ

Кому повем печаль мою...
Покаянья отверзи ми двери...

Из песнопений

Прутский мир долго колебался.
То и дело он грозил рухнуть.

Его старались поджечь со всех сторон: король Карл, дипломатические агенты европейских держав, более же всего Франции, соперники и недоброжелатели великого визира Балтаджи Мехмед-паши.

Да, вначале были торжества по случаю заключения мира, победы на Пруте. Визирь был обласкан султаном.

Потом начались трения. Царь требовал высылки короля Карла. Турки требовали сдачи Азова, Таганрога и других крепостей. Нашла коса на камень.

Сильную оппозицию против мира и визира возглавили зять султана, духовный глава шейх-уль-ислам и

смотритель гарема: самые важные персоны в Османской империи, они вершили ее политику.

Балтаджи Мехмед-паша был смещен. Великим визирем стал глава янычарского корпуса на Пруте Юсуф-паша.

Вскоре высокий диван отменил Прутский мирный договор. Приближенным Балтаджи Мехмед-паши, способствовавшим его заключению, — кяхье (кетхуде) Осману и секретарю Омеру-эфенди отрубили головы.

Шафиров и Шереметев были заточены в Семибашенном замке, где уже томился посол Петр Андреевич Толстой.

Партия войны и партия мира боролись с переменным успехом. Спустя без малого два года победу одержала последняя: мирный трактат был наконец подписан 13 июня 1713 года в Адрианополе-Эдирне.

Спустя год русские послы, они же аманаты-заложники, возвратились на родину. Впоследствии Шафирову и Толстому пришлось претерпеть от «полудержавного властелина» Меншикова — оба были сосланы: Толстой в Соловецкий монастырь, где и умер в один год с Меншиковым, сосланным в Березов; Шафиров в Сибирь, а затем в Новгород, откуда был возвращен Екатериной и назначен президентом Коммерц-коллегии, в каковом звании умер семидесяти лет от роду.

Царь Петр Алексеевич увеселялся в Карлсбаде, где пил целебную воду, а затем на свадьбе сына Алексея. В следующем году в Петербурге, во дворце Меншикова была с куда большей пышностью и при великом многолюдстве отпразднована свадьба Петра и Екатерины. Тогда она была торжественно провозглашена царицей, а спустя двенадцать лет Петр самолично возложил на нее корону императрицы. После смерти своего повелителя взойшла на трон, но царствование ее было всего два года, и умерла она в 1727 году сорока трех лет от роду от многих излишеств.

Дмитрий Кантемир был обласкан царем, получил титул светлейшего князя, стал сенатором и тайным советником, награжден деревнями в Харьковской губернии, пожалован вотчиной под Москвой и двумя домами

в Москве, а затем и в Петербурге. Годы жизни в России — годы расцвета его творчества. Писал он в основном на латыни, из-под его пера вышло множество трудов по философии, истории, этике, политике, в том числе «История возвышения и падения Порты Оттоманской», переведенная впоследствии на все европейские языки, «Описание Молдавии», за которую был удостоен звания почетного члена Берлинской академии наук. В 1722—1723 годах был при Петре в Персидском походе главным советником по восточным делам. Умер в 1723 году в пятидесятилетнем возрасте и похоронен в самом центре Москвы в Заиконоспасском монастыре, где была семейная усыпальница Кантемиров. В тридцатых годах нашего столетия его прах был перенесен в Яссы и захоронен в Трехсвятительской церкви. Его сын Антиох стал крупным дипломатом и политическим деятелем в царствование Анны Иоанновны и вошел красной строкой в историю русской словесности.

Король Карл продолжал интриговать против России, ссорился с турками, пытавшимися его выдворить. Ссора перешла в «калабалык» — по-турецки «свалка». То было форменное сражение, в котором король доблестно бился, потерял два пальца и часть уха, однако принужден был покориться и коротал дни в деревушке под Адрианополем. Оттуда ему удалось бежать в Швецию. И он снова начал воинственные походы, ибо война была его призванием. Он и погиб в бою во время похода на Норвегию: было ему тогда тридцать шесть лет.

Граф Иосиф Понятовский, верный слуга короля Карла и его ставленника Станислава Лещинского, после гибели шведа стал служить Августу II, а после его смерти, в 1733 году, снова Станиславу Лещинскому. Он стал отцом последнего польского короля Станислава Понятовского, которому одно время покровительствовала Екатерина Великая. Отец последнего польского короля прожил восемьдесят пять лет, оставил после себя интересные воспоминания и умер, окруженный почетом.

Остальные герои этого повествования, работая над которым автор старался неукоснительно следовать ис-

торическим фактам и коллизиям, закончили свою жизнь в основном благополучно. Трагичной оказалась лишь судьба господаря Валахии Константина Брынковяну. О его судьбе следует сказать особо.

На протяжении нескольких лет он поддерживал оживленные сношения с Петром, был одним из первых (в 1700 году, по учреждении ордена) награжден орденом священномученика Андрея Первозванного и искренно желал подпасть под руку России. Государь просвещенный, много сделавший для украшения своей столицы Бухареста и развития наук, он тем не менее устращивался сделать решительный шаг и (подобно Кантемиру) выжидал, на чью сторону склонится военное счастье.

Когда же войско визиря вошло в пределы княжества, он передал весь провиант, предназначенный для Петра и им оплаченный, туркам и объявил о своей полной покорности.

Это его не спасло. В 1714 году Константин Брынковяну со всем семейством был привезен в Царьград — Константинополь — Стамбул. На его глазах палач поочередно отрубал головы четверем его сыновьям. Последней упала с плахи голова обезумевшего отца.

И в заключение несколько необходимых строк о знаменитом «Завещании» Петра — его письме Сенату с предложением выбрать из своей среды «достойнейшего» на царство в случае его плена или гибели (текст приведен в книге). Оригинал этого письма не сохранился, что дало основание многим историкам усомниться в его подлинности.

Однако если сравнить его текст с письменным наказом Шафирову во время переговоров о мире, разрешавшим тому идти на любые жертвы и уступки, кроме «шкляфства», то есть рабства, то в этом свете «Завещание» выглядит вполне правдоподобно.

КОММЕНТАРИИ

ГОРДИН РУФИН РУФИНОВИЧ — российский прозаик, автор нескольких исторических романов: «Колокола опалы и свирель любви» (1984) — об опале «полудержавного властелина» А. Д. Меншикова; «Под звездой Кутузова» (1987), «Под пушкинской звездой» (1989). По признанию самого автора, он «строго следует историческим реалиям, помня крылатое выражение Цицерона: «История — учительница жизни».

Стр. 12. *...батюшкой Алексеем Михайловичем...* — Имеется в виду отец Петра I — царь Алексей Михайлович (1629—1676), сын царя Михаила Федоровича. При Алексее Михайловиче усилилась центральная власть и крепостное право; подавлено восстание под руководством С. Т. Разина, произошел раскол русской церкви.

...Иваном Васильевичем с иными прочими не их романовского корня. — Петр I противопоставляет царской династии Романовых, начавшей править в 1613 г., с избранием на престол Михаила Федоровича Романова, представителей более древних княжеских родов, в том числе правящего рода Рюриковичей.

Стр. 14. *И Полтава осталась позади.* — 8 июля 1709 г. под городом Полтава русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение

привело к перелому в Северной войне (1700—1721) в пользу России.

Стр. 19. *...учителя на Кукуе, особливо Франц Лефорт...* — Франц Лефорт (1655—1699), один из ближайших сподвижников Петра I, швейцарец, поступивший в 1678 г. на русскую службу. Лефорт оказал огромное влияние на царя-реформатора, командовал флотом в Азовских походах, в 1697—1698 гг. — один из руководителей Великого посольства.

...когда отпринул Авдотью, когда приняла она монашеский обет... — Имеется в виду первая жена Петра I — Евдокия Федоровна Лопухина (1669—1731), она была воспитана в семье бояр Лопухиных — приверженцев старины и противников преобразований. Разлад между супругами завершился ссылкой Евдокии Лопухиной в Суздаль, где она в 1698 г. была пострижена под именем старицы Елены.

Стр. 20. *...посадили на трон его с Иваном. ...Поделились на партии Милославских да Нарышкиных...* — Отец Петра I — царь Алексей Михайлович был женат первым браком на М. И. Милославской, матери царя Ивана V и царевны Софьи, вторым браком царь Алексей Михайлович был женат на Н. К. Нарышкиной — матери Петра I. После смерти царя Федора Алексеевича (1682) Нарышкины провозгласили царем младшего царевича Петра (будущего императора Петра I), отстранив старшего брата Ивана Алексеевича (1666—1696), болезненного и неспособного к государственным делам. Во время стрелецкого бунта 1682 г. Иван V Алексеевич был посажен на престол и утвержден Земским собором в качестве «первого» царя; его младший брат Петр стал считаться «вторым» царем, а царевна Софья Алексеевна — регентшей при обоих царях. Царствование Ивана V было номинальным: до 1689 г. фактически правила царевна Софья Алексеевна, затем Петр I.

Стр. 38. *...она, Катерина, главная ныне царева полюбовница...* — Имеется в виду будущая императрица всероссийская Екатерина I Алексеевна (1684—1727). Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского. В Мариенбурге попала в русский плен и вскоре стала фактической женой Петра I. Церковный брак оформлен в 1712 г.; в 1724 г. состоялась коронация.

Стр. 44. *Затянула Монсовна...* — Имеется в виду любовница Петра I — Анна Монс, с которой он познакомился в Немецкой слободе в Москве.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПРУТСКОГО ПОХОДА ПЕТРА I В 1711 ГОДУ

- Январь* — были отражены набеги буджакских и крымских татар на Украину и разбит польский отряд сторонников Станислава Лещинского.
- 13 апреля* — был заключен тайный договор с молдавским господарем Димитрием Кантемиром о независимости Молдавии под протекторатом России.
- Весна* — валашский господарь Брынковяну, обещавший России помощь войском и продовольствием, выдал русские планы туркам, а затем перешел на их сторону.
- 27—30 мая* — конница Б.П.Шереметева переправилась через Днестр и двинулась на юг.
- 18 июня* — турецкая армия великого визиря Балтаджи-паши (около 120 тысяч войск, свыше 440 орудий) переправилась через Дунай и двинулась по левому берегу Прута, где соединилась с 70-тысячной конницей крымского хана Девлет-Гирея.
- 25 июня* — к Яссам подошли главные силы Петра I (46 тысяч русских войск, 120 орудий и 5 тысяч войск Кантемира).
- 30 июня* — Петр I выступил из Ясс, направив на Браилов 7-тысячный конный отряд генерала К.Э.Ренне.

- 7 июля* — главные силы русской армии (38 тысяч русских и 5 тысяч молдаван, 114 орудий) подошли к Станилешти.
- 8 июля* — русские войска южнее Станилешти отбили атаки турецко-татарской конницы и отошли в укрепленный лагерь у Нов. Станилешти.
- 9 июля* — турецко-татарские войска окружили лагерь и предприняли его штурм, который был отбит с потерей до 8 тысяч человек у врага; русская армия потеряла 3 тысячи человек.
- 12 июля* — был заключен мир, по которому русские войска получали свободный выход из Молдавии.
- Состояние войны продолжалось до 1713 г., так как султан предъявил дополнительные требования, на которые Россия не согласилась. Адрианопольский мирный договор 1713 г. был заключен на условиях договора 1711 г.